

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн.18
Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский,
О.И. Губарь. — Одесса: "Друк", 2004. — 324 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д $\frac{4702640204}{2004} + \frac{0503020902}{2004}$

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский
(заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:

Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский,
Игорь Коваль, Татьяна Липтуга,
Григорий Поженян (Москва), Игорь Померанцев (Прага),
Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань,
Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий,
Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.

Фото:

Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:

Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy,
Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogonyan (Moscow),
Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York),
Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg),
Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin),
Karmella Tsepkoenko.

Photos by:

Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirkii

ISBN 966-8099-99-0

© Авторство художественных текстов, 2004

От редакции

В канун 210-летия города мы решили отказаться от традиционной редакционной "врезки" и предложить вниманию читателей подобающий случаю

Календарь памятных дат "Одессика-2004"

255 лет назад (1749) родился Иосиф (Хосе) Дерибас. (Другие источники дают 1751 и др. г. р., но эта дата наиболее привычна).

215 лет (1789) — взятию Хаджибея российскими войсками.

210 лет (1794) Одессе.

205 лет назад (1799) таможня получила право брать пошлину со всех товаров; одесситы дали "взятку" апельсинами императору Павлу.

200 лет назад (1804): начата постройка Городского театра; учрежден Одесский строительный комитет; открыта коммерческая гимназия; помимо рынков появились торговые ряды: кузнечный, рыбный, дегтярный, садовый; Ришелье выписал из Марселя первого французского булочника.

195 лет назад (1809) открылся Городской театр; освящена Николаевская соборная церковь (главный престол во имя Преображения Господня).

190 лет назад (1814) герцог Ришелье оставил Одессу, чтобы занять пост премьер-министра Франции; учреждена Городская типография.

185 лет назад (1819) реально открыта первая черта порто-франко (учреждена в 1817-м); основан Ботанический сад: граф Ланжерон посадил первое дерево; открыта Одесская контора Коммерческого банка; началась деятельность торгового дома Родоканаки.

180 лет назад (1824) Пушкин удален из Одессы; завершено строительство каменного Новикова моста по ул. Почтовой; учрежден сбор с винных погребов и установлен акцизный сбор на кофе; заложена старая кирха (лютеранская церковь св. Павла) в конце Дворянской ул.

175 лет назад (1829) Одессу постигла очередная чумная эпидемия, унесшая жизни 2458 душ; учреждена Публичная библиотека (первая в провинции); начато строительство Биржи; открыто Заведение искусственных минеральных вод; открыта крупнейшая экспедиционная контора по торговле зерном братьев Вучина; состоялись первые Новороссийские скачки (при участии 17 всадников, прошедших два круга по три версты); основано Одесское женское благотворительное общество под председательством графини Е.К. Воронцовой.

170 лет назад (1834) окончено сооружение Биржи; открыто первое лечебное заведение на Куяльницком лимане; Женским благотворительным обществом выпущен альманах "Подарок бедным", к участию в котором приглашался и А.С. Пушкин; пущен первый в городе литейный завод; состоялся первый пробный пароходный рейс ("Нева") в Стамбул; открыто Одесское отделение коммерческого совета; основана торговля часами и мастерская А. Вайсе.

165 лет назад (1839) основано Императорское Одесское общество истории и древностей.

160 лет назад (1844) М.С. Воронцов назначен наместником Кавказа и главнокомандующим кавказских войск (сохранив и все прежние должности); тот же Воронцов предложил первый проект конно-железных дорог (составлен П.Я. Марини), осуществленный лишь несколько десятилетий спустя; при Обществе сельского хозяйства Южной России учрежден комитет поощрения шелководства; окончательно отделан Пале-Рояль; окончено строительство корпусов Старого базара; учрежден литейный завод фон Рестеля и шляпная мастерская Калло.

155 лет назад (1849) учрежден ежегодный Крестный ход в память дня основания Одессы; учреждена сберегательная касса при Одесском приказе общественного призрения; устроена первая в городе паровая мельница (Гомма); родился С.Ю. Витте.

150 лет (1854) со дня нападения союзного флота в ходе Крымской кампании; по высочайшему повелению в городе введено спиртово-скипидарное освещение; открылся завод сельскохозяйственных орудий Хёна (будущий ЗОР) и знаменитая оружейная мастерская Иенча; М.С. Воронцов по болезни освобожден от всех своих постов.

145 лет назад (1859) отменено порто-франко; открыл свои действия Комитет устройства мостовых и водостоков; одессит Иосиф-Карл Мигурский издает первый в городе учебник практической фотографии; родился Шолом-Алейхем.

140 лет назад (1864) в Одессе:

- сформировано Одесское общество инженеров и архитекторов (в дальнейшем — отделение Русского технического общества);
- основана частная гимназия Гауэншильд (нынешняя СШ № 50);
- доставлена первая импортная землечерпательная машина, которая благополучно затонула близ Карантинного мола;
- основана паровая мельница Лазариди и Гони;
- впервые появились стеариновые свечи, копировальная бумага, первая металлическая барная стойка (в магазине иностранных вин Фердинанда Гаже в Пале-Рояле), вошел в обиход термин "шарлатан" применительно к "уличным хлыщам и мазурикам".

135 лет назад (1869) окончено сооружение Успенской церкви на Преображенской ул., впервые поступили в продажу: велосипеды (именовавшиеся самокатами и впервые привезенные в город в 1868 году), керосин или ксеротин (американский петролеум) и "киндер суп Нестле"; тогда же при мельнице Бродского появилась первая паровая механическая прачечная; в продажу поступило первое краеведческое издание — "Одесская старина".

130 лет назад, (1874) устроены первые в городе фонтаны: на Тираспольской площади, в Пале-Рояле, на Екатерининской; частный дом Великанова на ул. Греческой (бывший хлебный магазин Рафаловича); перестраивается в Русский театр; основана гостиница "Центральная" на ул. Преображенской; основан завод минеральных масел Бален-де-Балю; на Де-рибасовской появился первый газетно-журнальный лоток; первая (деревянная) афишная

тумба установлена на бульваре, напротив Биржи; в книжном магазине Белого поступили в продажу первые барометры; вышла скандальная книга "Одесские катакомбы", изданная бывшим одесским полицмейстером В.М. Антоновым под псевдонимом В. Правдин; в Одессе родился будущий сотрудник британских спецслужб Сидней Рейли (З.Г. Розенблюм).

125 лет назад (1879) основан Одесский учетный банк; начато сооружение городских конно-железных дорог; в Одессе арестована знаменитая аферистка Софья Блювштейн (Золотая Ручка).

120 лет назад (1884) открыты городские скотобойни; устроен первый опыт масштабного электрического освещения — на проходившей в Одессе сельскохозяйственной выставке; основана фабрика мраморных изделий Менционе.

115 лет назад (1889) в Одессе родилась Анна Ахматова; на даче Маразли открыта Школа садоводства; построен Дом Либмана; в продажу впервые поступили переводные картинки.

110 лет (1894) со дня рождения Исаака Бабеля, Александра Довженко и Георгия Шенгели; построены: тюремный замок (нынешняя тюрьма!) и здание местного отделения Русского технического общества; создано Одесское общество любителей эсперанто (Л.Л. Заменгоф).

105 лет назад (1899) родился Юрий Олеша; построен "Пассаж".

100 лет назад (1904) — встреча героев "Варяга" и "Корейца", в Одессу доставлено тело генерала Кондратенко, руководившего обороной Порт-Артура (его имя получила улица Полицейская); к 50-летию нападения англо-французской эскадры на бульваре установлена пушка с парохода-фрегата "Тигр"; в Одессе родился Г.А. Гамов, знаменитый автор теории "горячей Вселенной".

85 лет назад (1919) в Одессе умерла Вера Холодная.

80 лет назад (1924) родился Михаил Водяной.

70 лет назад (1934) родился Михаил Жванецкий.

65 лет назад (1939) родился Роман Карцев.

60 лет назад (1944) Одесса освобождена от оккупантов; умер профессор П.С. Столярский.

50 лет назад (1954) умер Петр Лещенко.



Из истории педагогического университета*

Южноукраинский государственный педагогический университет ныне является признанным центром педагогического образования в юго-западной Украине. Он, как и другие педагогические учреждения, начинает свою историю с самых первых образовательных организаций в Одессе.

История образования в Одессе тесно связана, естественно, с ее становлением как крупнейшего экономического и культурного центра края. Уже в 1790-е гг. дворяне, чиновники, богатые негоцианты стремились давать своим детям домашнее образование с помощью учителей-иностранцев. А в 1800 г. было основано первое частное училище, которое просуществовало три года. От 40 до 70 мальчиков в нем изучало русский, греческий и итальянский языки. Вскоре были открыты два частных пансиона для мальчиков и девочек. Однако до 1804 г. в Одессе фактически не существовало гражданских школ — каждая национальная или религиозная община обучала лишь своих детей самостоятельно. Так, в 1802 г. было открыто парафиальное училище при римско-католической церкви.

Реформы в области образования, проведенные в начале XIX в. Александром I, предусматривали создание четырехступенчатой системы (приходские, уездные училища, гимназии, университет). В Одессе и крае эти реформы стали претворяться в жизнь под руководством градоначальника герцога Э. де Ришелье с учетом местных условий. А эти условия были таковы, что в 1803 г., когда герцог прибыл в Одессу, в ней проживало "едва ли 4500 душ", строения имели "самый жалкий вид" и утопали в грязи, а вокруг "на расстоянии 40 лье ни одного кусочка обработанной земли, ни одного колодца, острая нехватка питьевой воды, отсутствие леса для топлива и строительства. Сама Одесса "более напоминала пиратскую колонию, нежели порядочный город". Казенные строения, которые простояли несколько лет, были частично разрушены, собор был недостроен, а портовое оборудование не отвечало никаким требованиям.

Поэтому жизнь требовала, прежде всего, все новых и новых специалистов и образованных служащих для сельского хозяйства, промышленности и торговли. Именно в соответствии с такими требованиями жизни герцог Ришелье видел свою задачу по созданию в Одессе системы образования. Ясно, что в тогдашних условиях об университете не могло быть и речи. Прежде всего, нужны были "кадры" для строительства и обустрой-

*Публикуется с сокращениями.

ства города и порта, налаживания промышленности, торговли и сельского хозяйства в крае. Поэтому в 1804 г. была открыта коммерческая гимназия. В этой гимназии, по замыслу герцога, должны были преподаваться, помимо основных предметов, специальные дисциплины (коммерческое и морское право, бухгалтерский учет и т. п.). Гимназия должна была содержаться лишь за счет частных дотаций. В ней могли обучаться все желающие, независимо от конфессий и сословий. Дети купцов, солдат, чиновников, мещан и пр. изучали в ней философию, право, коммерцию и военные науки. Известно, что император Александр I был приятно поражен качеством преподавания в гимназии.

В такой коммерческой гимназии Ришелье видел зародыш всей упомянутой четырехступенчатой системы образования — от начального, приходского училища до университета. Так оно, в конечном счете, и получилось. Сначала были открыты годичное приходское и двухгодичное уездное училища, в которых могли обучаться представители всех слоев населения, прежде всего "недостаточного состояния". Эти училища образовали специальное отделение коммерческой гимназии.

От женского Благородного института до Высших женских курсов

Другое отделение гимназии сначала, в 1804 г., состояло из Института знати, предназначенного для детей представителей высших классов, которые могли бы платить за обучение значительные суммы. Этот Институт вскоре, в 1805 г., выделился в самостоятельное учебное заведение и был разделен на два Благородных института — мужской и женский. В 1814 г. будущий директор мужского Благородного института и, затем, Ришельевского лицея аббат Николь написал "Начертание правил воспитания в обоих одесских Благородных институтах".

Как известно, из мужского Благородного института был в 1817 году образован Ришельевский лицей, в состав которого, наряду с начальным и двумя средними училищами, входил и педагогический институт¹ на 24 воспитанника, которые после окончания курса оставались при лицее и занимали должности воспитателей, адъюнктов и наставников. Впоследствии, в 1865 г., на базе лицея был создан Новороссийский университет.

Судьба женского Благородного института оказалась иной. Он, как и мужской, был задуман для обслуживания высших классов. Однако для

¹Термин "педагогический" понимался в полном соответствии с античной традицией, согласно которой педагог (воспитатель) был обязан постоянно находиться при своих воспитанниках и надзирать за ними в свободное от учебы время.

того, чтобы он стал доступен и для обучения девушек разных сословий, изначально на его содержание бароном Штиглицем было пожертвовано 100 тыс. рублей. Эти девушки получали, по сути, педагогическое образование, поскольку по завершении обучения могли работать по соответствующим рекомендациям в семьях, а также учительницами в низших училищах. Полный курс обучения слагался из четырех классов с двухгодичным обучением в каждом.

Поэтому подлинным первым и прямым предшественником Южно-украинского педагогического университета можно считать именно женский Благородный институт, который был основан герцогом Ришелье в 1805 году как самостоятельное учебное заведение.

Во главе этого института — изначально женского аналога коммерческой гимназии — стал итальянец де Подзис со своей женой — русской по происхождению. Позднее, в 1817 г., уже после того, как Ришелье покинул Одессу, в правление графа Ланжерона богатый купец Яков Протасов преобразовал его в новую женскую школу для всех сословий — Городское девичье училище. Это училище находилось под опекой правительства и содержалось всем богатым купечеством Одессы. Тем самым открывался широкий доступ к обучению в этой школе для девушек всех сословий. Эти девушки получали полноценное по тем временам педагогическое об-

разование — они здесь обучались десяти заповедям, языкам, географии, истории, искусству, музыке, танцам, вышиванию, рисованию и ведению домашнего хозяйства. Около 70% учениц были выходцами из семей дворян и духовенства, преимущественно небогатых, а остальные — из мещан и разночинцев.

Спальные помещения (дortуары) и учебные классы девушек городского училища в 1820-е гг. располагались в одном дворе с учебными помещениями Ришельевского лицея (ныне дом Вагнера). Это двухэтажное строение начала XIX в. сохранилось и сегодня*. Известно, что его посещали выдающиеся исторические персонажи — Пушкин, который неоднократно "заходил в старшие классы", Мицкевич, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Волконская, а также Ланжерон, Кобле, Воронцов и др.

В первые годы правления князя М.С. Воронцова для девушек из более богатых или аристократических семей в 1828 г. был создан в Одесский институт благородных девиц, также на базе бывшего женского Благородного института. По сути, он являлся женским аналогом Ришельевского лицея, где девушки продолжали обучаться согласно "начертаниям правил" аббата Николя. Эти правила предусматривали иезуитскую систему воспитания, которая основывалась на строжайшем надзоре за "институтками". Покидать институт можно было лишь в праздничные дни. Все свободное время должно было быть посвящено обучению.

С 1831 г. Институту благородных девиц, как не имеющему своего здания, были отведены "места вдоль дороги, ведущей к плантациям" на Молдаванке. Тем самым его топографическая история оказывается прямо связанной с размещением будущих учебных корпусов ЮГПУ — (корпус ППД, главный корпус и пр.). Институтская территория стала занимать огромный участок между улицами барона Штиглица (Ворошилова, ныне композитора Нищинского), Институтской (Дидрихсона) и Внешним бульваром (Мечникова). На деньги, пожертвованные тем же Штиглицем, было начато строительство и благоустройство "высшей школы для девиц благородного звания". Тогда же был заложен институтский сад — один из лучших и богатейших в городе. Первый корпус девичьего института был спроектирован архитектором Боффо. Это здание простояло до конца 1850-х гг. А в 1859 г. на его месте было построено новое здание, сооруженное по проекту архитектора А. Шашина. В его аудиториях до сих пор за-



Первое здание Института благородных девиц. — К. Боссолли. Литография 1837 г.

*В 2003 г. экспедиция ЮГПУ провела здесь археологические раскопки. Найдены детали предметов туалета и украшений воспитанниц Городского женского училища. Хранятся в Музее археологии Одессы ЮГПУ.

нимаются студенты. Сохранились старинная чугунная ограда перед фасадом главного корпуса и фрагменты каменного забора, обрамляющие институт со стороны улицы Штиглица (ул. Нищинского). В продолжение истории здания добавим, что в 1890-х гг. к его южному крылу были пристроены актовый зал с музыкальными классами, а также столовая и кухня, вошедшие в комплекс расположенного сейчас здесь Морского университета (автор построек — архитектор Ю.М. Дмитренко). А участь богатейшего институтского сада оказалась печальной — на его площади ныне разместились корпуса Морского университета, а также Морской и Строительной академий.

К середине 1830-х гг. население Одессы уже достигало 50 тыс. человек. Поэтому сеть народного педагогического образования в городе еще более расширилась. Были открыты приходские училища на окраинах города — Молдаванке, Усатовских хуторах, Большом Фонтане), а для детей мещан и небогатого купечества — уездное училище. Приходское училище на Молдаванке — наследник самого первого приходского училища города — было предназначено лишь для детей "недостаточного состояния". Это училище состояло из двух классов и находилось в доме титулярного советника Г.П. Кольчевского (адрес не установлен). В 1890-м году оно помещалось на Почтовой (Жуковского) улице. Ему собирались присвоить имя основателя Одессы адмирала Иосифа Дерибаса.

В 1840-е гг. число жителей Одессы продолжало резко возрастать и достигло 80 тыс. человек. Поэтому значительно увеличилось число учащихся в единственной в то время Ришельевской гимназии, которая уже не могла принять всех желающих. В связи с этим в 1848 г. была открыта Вторая мужская гимназия (ул. Преображенская угол ул. Бунина), впоследствии поместившаяся в нынешнем главном корпусе ЮГПУ (Старопорто-франковская, 26). В 1848-1850 гг. в ней учился выдающийся украинский историк В.Б. Антонович. А в 1900-х гг. во 2-й мужской гимназии учился знаменитый филолог К.В. Мочульский, сын известного слависта В.Н. Мочульского (жил в собственном доме по Садиковской, 18), который стал впоследствии профессором Софийского университета и Сорбонны и признан лучшим литературным критиком русского зарубежья XX столетия.

В эти же годы в городе развивалась сеть национальных начальных учебных заведений, особенно еврейских. В 1845 г. в них обучалось около 1150 учеников. Это естественно — в 1840-50-е гг. еврейское население составляло 15-19% общего числа жителей города. В 1827 г. открылось ев-

рейское училище светского типа, которое сначала подчинялось одесскому градоначальнику, а с 1835 г. — Министерству народного просвещения. Такие национальные учебные заведения стали именоваться "казенными" и начали распространяться в России по образцу одесских училищ лишь в 1840-е гг. Одесское еврейское казенное училище имело два отделения: мужское (на правах уездного училища) и женское (на правах приходского). Количество детей, которые желали в них обучаться, постоянно возрастало: в 1852 г. в Одессе было уже одно женское и три мужских казенных еврейских училищ. В 1847 г. община караимов также открыла свое светское, "казенное" общеобразовательное училище — в нем изучались математика, история, география и иностранные языки.

Через год после перенесения в Одессу православной архиепископской кафедры, в 1838 г. была открыта одесская духовная семинария, а также духовные приходское и уездное училища. Первым ректором духовной семинарии стал профессор Ришельевского лицея архимандрит Порфирий Успенский. В одесской семинарии получила образование большая группа болгар и сербов.

В середине 1850-х гг., к концу правления графа Воронцова, в Одессе существовали Ришельевский лицей, две гимназии, институт благородных девиц, уездное училище, 25 частных пансионов, 9 приходских училищ и широкая сеть национальных учебных заведений.

В 1860-х гг. в городе, помимо национальных школ, существовали 144 школы с 387 учителями, 3764 учениками и 1080 ученицами. Из них непосредственную подготовку девушек к последующей педагогической дея-



Новое здание Института благородных девиц в начале 1870-х гг. Худ. В. Вахренев.

тельности осуществляли институт благородных девиц, городское девичье училище, а также женское училище для глухонемых.

В 1870-90-е гг. четная сторона Старопортофранковской улицы по обе стороны нынешнего главного корпуса ЮГПУ — тогда 2-й мужской гимназии — становится как бы эпицентром престижных городских педагогических и учебных заведений среднего уровня. Здесь располагались вторая женская гимназия (Старопортофранковская, 18), городское девичье училище (Старопортофранковская, 32, ныне СИШ № 26) и шестиклассное училище Эфруси (Старопортофранковская, 40). В 1879 г. на средства главы банкирского дома И.Л. Эфруси было построено двухэтажное здание (архитектор Оттон), фасад которого выходил на Малую Арнаутскую улицу. Со временем к нему пристроили новые помещения, и к 1917 г. училище занимало уже целый квартал у пересечения Госпитальной, М. Арнаутской, Старопортофранковской и Новорыбной (Пантелеймоновской) улиц.

Другие здания по четной стороне Старопортофранковской, которые ныне заняты факультетами ЮГПУ, занимали иные учреждения. Так, здание нынешнего худ.-граф. факультета (дом № 8) было построено для Приюта призрения сирот имени П.И. Коцебу. А корпус факультета начальных классов был возведен в 1896 г. одесским мещанским обществом. Здесь размещалась мещанская управа (Старопортофранковская, 36). Рядом с ним тогда же была построена Вознесенская (мещанская) церковь. Церковь на тогдашней Новоконной площади не сохранилась. В те же годы было сооружено и здание "дома призрения для инвалидов-мещан" (Старопортофранковская, 34) — ныне факультет иностранных языков ЮГПУ, — примыкавшее к северной стене мещанской управы по проекту архитектора Дмитренко. А Николаевская церковь находилась в верхнем (тогда втором, третий этаж был достроен значительно позднее) этаже здания по Старопортофранковской, 26 (ныне — главный корпус ЮГПУ). Она была устроена при переводе 2-й мужской гимназии в собственное, вновь построенное здание и освящена 28 сентября 1889 г. В 1894 г. при 2-й женской гимназии (Старопортофранковская, 18) была открыта церковь святителя Григория Богослова и святой мученицы Марии. Она частично сохранилась и ныне отреставрирована. При институте благородных девиц была основана еще в 1834 г. церковь мученицы царицы Александры. Храм занимал второй и третий этажи правого крыла Морского университета, выгодно отличаясь большими венецианскими окнами, смотрящими на север, в сторону улицы Штигилица (Ворошилова, Нищинского). Сейчас в перестроенном девичьем институте находит-

ся Морской университет, а в нижней части, перекрытой потолком домо-вой церкви, была библиотека.

Заботы городского управления о народном образовании не исчерпывались одним лишь открытием школ, а выражались и в устройстве просветительских учреждений. В 1893 г. была построена Городская народная аудитория (разрушена, ныне — кинотеатр "Родина"), зал которой вмещал до 1000 человек и использовался для чтения "лекций для народа". Эти лекции — по литературе, истории, химии, анатомии, космографии и т. п. — проводились под руководством специального лекционного комитета, куда входили ведущие преподаватели одесских гимназий и Новороссийского университета и читались бесплатно. Здесь же имелись хорошо оборудованные кабинеты для практических занятий по физике, химии, истории, а также книжный магазин дешевых изданий. Здесь праздновался 100-летний юбилей Одессы.

Отметим, что в деле народного образования (низшие и средние школы) Одесса к концу XIX в. стала занимать одно из ведущих мест в Российской империи, расходуя на эти благородные цели десятую часть городского бюджета. В городе, где тогда проживало более 400 тыс. жителей, насчитывалось 63 приходских народных училища, которые содержались из



Здание мещанской управы. Старопортофранковская, 36 (ныне — факультет нач. классов) и Вознесенская (Мещанская) церковь на Новоконной площади

местного бюджета, частное мужское и пять женских училищ. Кроме того, существовали 4 мужских и 4 женских училищ 2-го разряда, 14 училищ 3-го разряда (для обоих полов). Функционировали 6 гражданских училищ, сеть частных еврейских училищ 1-го разряда (1 мужское) 2-го разряда (3 женских), 3-го разряда (14 мужских, 7 женских), а также гимназии и специальные училища: садоводства, огородничества, торгового мореходства и др. В здании училища торгового мореходства (Канатная, 8) ныне находится учебный корпус историко-филологического факультета ЮГПУ. Также существовали вторая прогимназия, 2 реальных училища, 2 коммерческих училища министерства финансов, 4 женских гимназии, а также училища при церквях — армянской, греческой, лютеранской, римско-католической и др.

Все это требовало значительного увеличения числа педагогических кадров высшей квалификации, достаточного числа которых не мог обеспечить Новороссийский университет. Многие преподаватели университета работали в других учебных заведениях города. Они же выступили инициаторами развития в городе высшего женского педагогического образования. Это стало возможным после того, как в 1870-е гг. высшее образование, в том числе и педагогическое, становится доступным женщинам. В России начинают открываться Высшие женские курсы — женские аналоги университетов.

Первые высшие женские курсы в Одессе

Высшие женские учебные заведения возникли в России под влиянием революционно-демократического движения 1860-х гг. Молодые женщины — выпускницы институтов благородных девиц и женских гимназий, — не имея доступа к высшему образованию, стремились попасть в Швейцарию или в Германию, где с 1867 г. Цюрихский университет, политехнический институт, а также лицей Виктории в Берлине впервые в Европе открыли прием женщин. Поэтому правительство было вынуждено разрешить открытие высших женских курсов (ВЖК) в крупных городах России с тем, чтобы иметь возможность контролировать их слушательниц.

В 1872 г. в Москве были открыты двухгодичные ВЖК во главе с профессором В.И. Герье. В 1878 г. ВЖК во главе с профессором русской истории К.Н. Бестужевым-Рюминым были учреждены в Петербурге. Они получили название Бестужевских курсов и состояли из словесно-исторического и физико-математического факультетов. Их выпускницы получали право преподавать в женских средних учебных заведениях. В том же, 1878 г. ВЖК в составе таких же двух факультетов были открыты в Киеве.

В 1879 г. открылись и первые Высшие женские курсы в Одессе. На них записалось 215 желающих получить образование. Эти курсы были учреждены по инициативе профессора Новороссийского университета А.С. Трачевского и содержались преимущественно за его счет. Министерство народного просвещения, которое и до того всячески тормозило выдачу разрешения на открытие ВЖК, не выделило на них никаких средств. Поэтому первые одесские ВЖК финансировались лишь на частные пожертвования, которых явно не хватало. У курсов не было ни собственных помещений, ни своих преподавателей и профессуры. В первые годы выделенные для занятий классы вмещали едва ли треть слушательниц.

Поэтому первые одесские ВЖК просуществовали очень недолго. Тем более что в начале 1880-х гг. правительство берет курс на закрытие всех ВЖК в стране. Так, в 1886 г. по распоряжению Министерства народного просвещения прием на все ВЖК был отменен, и несколько позднее все курсы были официально закрыты. Лишь в результате многочисленных ходатайств в 1889 г. ВЖК были снова разрешены в Петербурге. И только в 1900 г. они вновь были открыты в Москве, причем с рядом существенных ограничений (повышена плата за обучение, слушательницам разрешалось проживать только у родных и в общежитиях и т. п.).

Одесские женские педагогические курсы

К началу XX в. число жителей Одессы достигало почти 500 тыс. человек. По мере роста населения резко расширяется сеть учебных заведений, увеличивается их число. В 1900 г. в гимназиях, реальных и коммерческих училищах всего обучалось 7250 лиц. Так, в 1908 г. в Одессе действовали 31 гимназия (в том числе одна украинская), 4 реальных училища, 52 еврейских образовательных учреждения разных типов. Кроме того, в городе насчитывалось более 20 частных средних и начальных и более 10 средних специальных учебных заведений, а также несколько спецшкол: для незрячих, глухонемых и т. п. Быстро развивалось и женское образование. Если в 1894 г. действовали 4 женских гимназии, то в 1909 г. — 12, а в 1915 г. — 23. Потребность в учительницах с высшим университетским образованием все более возрастала.

В связи с этим в Одессе попытки восстановить высшее женское учебное заведение на правах университета предпринимались довольно настойчиво. Так, попечительство Одесского учебного округа сначала в 1895 г., а затем в 1900 г. возбуждало ходатайства перед Министерством

народного просвещения о разрешении открыть в Одессе институт высшего женского образования. Причины были теми же: "число оканчивающих полный восьмиклассный курс в женских гимназиях Одесского учебного округа достигало ежегодно цифры не менее 600 лиц, из которых многие, жаждущие дальнейшего научного образования, отправлялись в заграничные высшие школы"

Осенью 1902 г. попечительство Одесского учебного округа поручило профессору Н.Н. Ланге² составить проект женских педагогических курсов, который был представлен в Министерство народного просвещения. Министерство, со своей стороны, предложило образовать из будущих

¹Лазурский В. "История Одесских Высших женских курсов" (рукопись), не датирована, но написана после 1920 г. [ТАОО. — Фонд № 334, опись № 3, дело № 7528 (на 24 листах)] (Лазурский Владимир Федорович (1869-1943) — историк западноевропейской литературы, в начале XX в. воспитатель в семье Л.Н. Толстого, после революции преподавал в вузах Одессы, профессор Одесского университета. Его лекции были "мало содержательными, поверхностными и проникнутые каким-то слащавым тоном" [Добролюбовский К.П. — 1944]. В политике "разбирался плохо, был очень недалеким человеком" (проф. Е.Н. Щепкин). В период оккупации Одессы сотрудничал с румынской и немецкой администрациями).

²Ланге Николай Николаевич (1858-1921) — выдающийся психолог и историк философии, создатель первой в России лаборатории экспериментальной психологии, профессор Одесского университета. Его лекции были "выше всех по своей содержательности". Человек "честный" и "достойный", хотя он при этом "считался одним из представителей наиболее реакционной части профессуры" [Добролюбовский К.П., 1944].



Главный корпус ЮГУ (бывшее здание 2-й мужской гимназии).
Старопортофранковская, 26

преподавателей курсов комиссию для составления проекта "Положения" о курсах и подробных программ преподавания на них. Такой проект, разработанный комиссией под председательством проф. Н.Н. Ланге, был представлен. 12 июля 1903 г. последовало Высочайшее соизволение на учреждение Одесских женских педагогических курсов. Они открывались "в виде опыта", на 6 лет при одной из частных гимназий Одессы, исключительно на местные средства, с целью "сообщения лицам, имеющим аттестат или свидетельство об окончании курса женской гимназии, высшего научного образования и педагогической подготовки, нужной для учительниц гимназий".

Согласно проекту, женские педагогические³ курсы были задуманы как трехгодичные и разделялись на пять отделений: 1) историческое; 2) русского языка и словесности; 3) французского языка и словесности; 4) немецкого языка и словесности; 5) математическое. Третий год обучения должен был посвящаться, по преимуществу, педагогической теории и практике.

21 сентября 1903 г. состоялось торжественное открытие курсов, которое товарищ министра народного просвещения С.М. Лукьянов назвал "добрым общепользным начинанием местных деятелей, ревнующих о нуждах женского образования", и указал на желательность общественной помощи делу курсов⁴.

Курсы были открыты на Торговой улице, при женской гимназии Е.С. Пашковской в квартире, нанятой за 2000 руб. в год. Е.С. Пашковская, кроме того, предоставила в пользование курсам зал своей гимназии в часы после окончания гимназических уроков. Она же стала инспектором курсов. А их первым директором был назначен ординарный профессор⁵ Императорского Новороссийского университета Н.Н. Ланге. Он же возглавил и Совет курсов, который ведал всеми вопросами, "касающимися учебной части". В его состав входили все преподаватели и инспектор.

Устройство и заведование курсами в хозяйственном отношении возлагалось на особый попечительный комитет, состоящий из директора, трех членов совета по избранию и инспектора.

Средства содержания курсов образовывались из платы за учение, ко-

³Термин "педагогический" предусматривал современное его понимание — обучение наукам в процессе воспитания и образования.

⁴Циркуляр по Одесскому учебному округу. — № 11. — 1903 год.

⁵Ординарный профессор — высшее профессорское звание, доктор наук.

торая была определена в 150 руб. в год⁷. А профессор А.С. Трачевский — учредитель первых одесских ВЖК в 1879 г. — пожертвовал новым курсам сумму в 6059 руб. 50 коп., которая сохранилась у него от первых ВЖК.

Учащиеся на курсах разделялись на слушательниц и вольнослушательниц. В слушательницы допускались лица, достигшие 17-летнего возраста и имеющие аттестат или свидетельство об окончании курса женской гимназии или равноправного с нею женского учебного заведения. Вольнослушательницами могли быть лица, которые имели право быть слушательницами, а также лица не зависимо от полученного ими образования, по преимуществу из тех, кто занимался педагогической деятельностью, но с особого каждый раз разрешения попечителя учебного округа.

Из лиц, подавших прошения (около 450), совет курсов принял 300, лучших по отметкам аттестатов. Из них, однако, 60 человек было зачислено в вольнослушательницы ввиду того, что совет не мог гарантировать практических педагогических занятий большему числу, чем 240 человек. К концу 1903 г. осталось 237 слушательниц и 59 вольнослушательниц, всего 296. Из них на историческом отделении — 128, на отделении русского языка и словесности — 71, на математическом — 50, на французском — 32 и на немецком — 15. Из них же было: православных — 158; католичек — 13; протестанток — 9; армяно-григорианок — 5; караимок — 2; иудеек — 109. Из них же было: девиц 286, замужних — 8, вдов — 2. Подавляющее большинство слушательниц окончило женские учебные заведения Одесского учебного округа — 238.

За первое полугодие существования курсов при плате за учение (75 руб. в полугодие) было получено 21440 руб.; израсходовано на жалование администрации, преподавателям и служащим, найм и содержание квартиры, меблировку, библиотеку и т. д. — 10873 руб. 98 коп. Значительный остаток (более 10000 руб.) дал возможность начать строительство собственного здания для курсов по Торговой улице, рядом с гимназией

⁷Для ориентации в жизненном уровне того времени отметим, что с 1890-х гг., после введения С.Ю. Витте "золотого" рубля, цены до Первой мировой войны существенно не менялись. В первые полтора десятилетия XX в. 150 руб. в год — немалые деньги. Квалифицированный рабочий зарабатывал 25-30 руб. в месяц, работающие женщины — 10-12 руб. Снять дешевую комнату с табльдотом можно было за 10 руб., а угол — за 3-5 руб. в месяц. Основные продукты питания стоили: булка хлеба — 2-3 коп., картофель — 50 коп. за пуд, мясо — 8-9 коп. за фунт, куры — 50-80 коп. за пару, утки — 80-90 коп., молоко — 10 коп. кварта, брынза — 15 коп., сметана — 35 коп., масло — 40 коп. за фунт, свежая рыба — 10-12 коп. фунт, колбасы и окорока — 15-30 коп. за фунт, яйца — до 25 коп. десятков и т.п. Для сравнения, деликатесы: индюки — 3-4 руб., рябчики — 1 руб., осетрина — 60 коп., икра — 2 руб. 50 коп. за фунт. Дешевые книги и брошюры стоили 10-15 коп., дорогие — до 5-10 руб. [см.: Губарь О. 100 вопросов "за Одессу". — Одесса: Полином, 1994. — С.14-16].

Е.С. Пашковской, по специально выработанному комитетом плану, с обязательством платить ей по 11000 руб. в год. Уже с осени 1904 года педагогические курсы перешли во вновь построенное обширное и вполне приспособленное для них помещение. В нем было 12 аудиторий, из которых одна на 300 человек, 2 на 200, одна на 100, 4 на 70, и 4 остальных меньшего размера. На курсах преподавали многие известные ученые: историки И.А. Линниченко, А.С. Трачевский, Г.И. Танфильев, Е.Н. Щепкин, археолог Э.Р. Штерн, лингвист А.И. Томсон, физик Е.А. Кириллов, математик И.В. Слешинский и мн. др. Большинство из них в первые годы существования курсов читали свои лекции бесплатно, а также отдавали на нужды курсов свои заработки от публичных лекций (так, профессор И.А. Линниченко пожертвовал 1250 руб. 75 коп.).

Благодаря этому в течение 1904 года также значительно расширились "вспомогательные учреждения" курсов — библиотека и физический кабинет. На пополнение библиотеки было израсходовано 2589 руб. 98 коп. Кроме того, она пополнилась за счет пожертвования от семьи директора Феодосийской учительской семинарии Тучурова (184 сочинения в 439 томах, преимущественно по русской истории). На оборудование физического кабинета ("для приобретения различных инструментов по электричеству") было потрачено 2236 руб. 56 коп.

16 августа 1904 г. Министерством народного просвещения были утверждены "Правила для слушательниц Одесских женских педагогических курсов". Они содержали дополнения к действовавшим до тех пор временным правилам, а именно: 1) в слушательницы курсов допускались девицы в возрасте от 17 лет до 23 лет; 2) число вольнослушательниц полагалось не свыше 2% общего числа слушательниц; 3) число слушательниц иудейского вероисповедания не должно было превышать 20% общего числа слушательниц.

По этим "Правилам", с осени 1904 года было принято на 1-й курс 292 слушательницы и 2 вольнослушательницы, из них "лиц иудейского вероисповедания" — 64. Это превысило 20% норму. Поэтому для зачисления 20-ти слушательниц иудейского вероисповедания возбуждалось особое ходатайство. Оно было удовлетворено Министерством⁸. Почти все вольнослушательницы 2-го курса были перечислены в слушательницы, как имеющие на это право.

К концу 1904 года на отделениях Одесских женских педагогических

⁸Министерство народного просвещения вынуждено было считаться с тем, что в 1897-1904 гг. число евреев среди населения Одессы достигало 33-34%. Кроме того, количество еврейских девушек, оканчивавших гимназии, было в процентном отношении куда большим из-за большого количества еврейских учебных заведений (52) в городе.

курсов всего состояло 482 слушательницы и 5 вольнослушательниц, из которых учились: на историческом отделении — 231, русского языка и словесности — 128, математическом — 79, французского языка — 41, немецкого языка — 8. Можно видеть, что по своей изначальной структуре и организации педагогические курсы в зародыше содержали структуру будущего ЮГПУ.

Между тем в новом, 1905 году слушательницы так и не приступили к занятиям. Как известно, после "кровавого воскресенья" 9 января 1905 г. началась первая русская революция. Студенческие волнения начались по всей стране. Уже 16 января студенты Новороссийского университета организовали демонстрацию протеста. В революционных волнениях студенчества "курсистки" принимали самое активное участие. Поэтому в течение 1905 г. и весеннего полугодия 1906 г. занятий на Одесских женских педагогических курсах не было — как, впрочем, и во всех других высших учебных заведениях России.

Одесские высшие женские курсы

Весной 1906 г. Совет Одесских женских педагогических курсов ходатайствовал перед Министерством народного просвещения о реорганизации курсов и возобновлении их работы. И 27 мая 1906 г. педагогические курсы были преобразованы в Одесские высшие женские курсы (ОВЖК). Их официальное открытие было объявлено 26 августа 1906 г. Слушательницам бывших педагогических курсов, которые желали продолжить обучение на высших курсах, следовало лишь подать о том заявление.

Директором вновь возрожденных Одесских высших женских курсов снова стал профессор Н.Н. Ланге. Они состояли из двух факультетов: историко-филологического и физико-математического, деканами которых были избраны: историко-филологического — экстраординарный профессор¹ Новороссийского университета А.П. Казанский, физико-математического — ординарный профессор того же университета П.Г. Меликов. Состав преподавателей, перешедших из педагогических курсов, был пополнен избранием новых преподавателей из числа профессоров и приват-доцентов² Новороссийского университета. Казначеем и заведующим здани-

¹Экстраординарный профессор — младший профессор — первое профессорское звание, доктор наук. С 1884 г. на эту должность могли зачисляться также магистры наук (кандидаты наук).

²Приват-доцентами могли быть магистры и доктора наук. Каждый, кто претендовал на эту должность, должен был прочесть на заседании факультета две лекции — одну на избранную им тему, а другую — на тему, предложенную факультетом.

ем курсов избрана бывший инспектор педагогических курсов Е.С. Пашковская. Вместо попечительного комитета педагогических курсов был организован хозяйственный комитет, в состав которого входили: директор курсов, оба декана и три профессора по избранию совета.

Историко-филологический факультет состоял из исторического и словесного отделений. Также из двух отделений состоял и физико-математический факультет: математического и естественного.

К концу 1906 г. на ОВЖК было 614 слушательниц и вольнослушательниц. Из них на историко-филологическом факультете: слушательниц — 355, вольнослушательниц — 3, всего 358, в том числе на историческом отделении — 327, на филологическом отделении — 31. На физико-математическом факультете слушательниц всего — 256, в том числе на математическом отделении — 45, а на естественном отделении — 211. Их распределение по вероисповеданиям отражено в таблице.

Курсы были задуманы как четырехгодичные. По этому плану работали все отделения (историческое, словесное, романо-германское и математическое), за исключением естественного отделения физико-математического факультета.

К концу 1907 года общее число слушательниц и вольнослушательниц еще более возросло — до 960. Из них на историко-филологическом факультете слушательниц 509, вольнослушательниц 5, всего 514, в том числе на историческом отделении — 448, словесном отделении — 53, романо-германском отделении — 13. На физико-математическом факультете слушательниц всего было 443, вольнослушательниц 3, всего 446. Из них на математическом отделении училось — 57, на естественном — 358.

В начале 1908/9 учебного года профессор Н.Н. Ланге отказался от должности директора. Совет курсов избрал директором профессора Э.Р. фон Штерна³, который был утвержден Министерством народного просвещения.

Взросшие финансовые возможности ОВЖК позволили открыть при них новый факультет — юридический. Общее число слушательниц и вольнослушательниц к концу 1908 года также возросло до 1206. Из них, на историко-филологическом факультете 586, в том числе на историческом отделении 501, словесном отделении — 63, романо-германском — 22. На физико-математическом факультете было 550 слушательниц, в том числе на математическом отделении — 66, естественном отделении — 484.

³Штерн Эрнст Романович — профессор Новороссийского университета, видный ученый-археолог, в 1896-1911 гг. главный хранитель Одесского музея древностей.



Профессор Е.Н. Щепкин.

На юридический факультет поступило 72 слушательницы и 1 вольнослушательница.

Значительное повышение доходов позволило совету ОВЖК установить плату профессорам и преподавателям на недельную лекцию в 200 руб. и на треть повысить жалование лаборантам. В отдельных случаях преподавателям за чтение лекций назначалось увеличенное вознаграждение. Такое вознаграждение, с ежегодно возобновляемого разрешения совета, было назначено проф. Е.Н. Щепкину*.

В течение 1908 года библиотека курсов продолжала пополняться — всего было куплено книг на сумму 4026 руб. 85 коп.

На оборудование лаборатории количественного анализа было затрачено 7177 руб. 87 коп., на приборы для физического кабинета 4419 руб. 37 коп. Физико-математический факультет выработал планы преподавания по естественному отделению на последние два курса. Из-за слабой начальной математической подготовки слушательниц в средней школе первый семестр на математическом отделении был посвящен почти исключительно элементарной математике. Специально под лаборатории было арендовано новое здание.

Хотя ОВЖК были открыты с осени 1906 г., но бывшие слушательницы педагогических курсов были зачислены на 2-й курс. Поэтому весной 1909 г. состоялись первые выпуски. Всего курсы окончили 89 слушательниц по отделениям: историческому — 55, словесному — 13, французскому — 4, немецкому — 2 и математическому — 15.

В 1909 году физико-математический факультет нашел нужным разделить естественное отделение на два подотдела: химический и биологический.

Весной 1910 года состоялся второй выпуск ОВЖК. Всего курсы окончили 143 слушательницы, по отделениям: историческому — 61, словесно-

*Щепкин Евгений Николаевич (1860-1920) — профессор Новороссийского университета до 1905 г., крупный историк, общественный деятель, депутат Государственной Думы. Член партии кадетов. С 1920 г. — член РКП(б). "Большой эрудит, умелый руководитель, талантливый лектор, интересный собеседник и хороший старший товарищ". С 1906 г. ему было отказано в штатной работе в Новороссийском университете за участие в революционном движении и подписание Выборгского воззвания. Поэтому он состоял штатным профессором ОВЖК в 1906-1917 гг. Возглавлял Совет комиссаров высших учебных заведений Одессы в 1919 г.

му — 5, французскому — 1, немецкому 1, математическому — 1, естественному — 64.

С 1910 года начинается понижение числа слушательниц. Если к концу 1909 года на курсах состояло 1.278 слушательниц, то к концу 1910 года их было всего 915. В 1909 году вновь поступило 430, в 1910 году — всего 251.

Было ясно, что основной причиной уменьшения числа курсисток стало отсутствие у ОВЖК университетского статуса. А это означало более низкие заработки выпускниц. О получении такого статуса руководство курсов неоднократно ходатайствовало. В первые годы существования курсов с университетской программой у слушательниц сохранялась надежда на такие права. Поэтому количество поступающих все возрастало. Однако после второго выпуска курсистки этих прав так и не получили и, следовательно, не могли преподавать в старших классах женских гимназий. Поэтому девушки, по возможности, стали переходить с Одесских курсов на петербургские Бестужевские или Московские высшие курсы.

В том же, 1910 году, было выпущено всего 55 слушательниц, в том числе по отделениям: историческому — 27, словесному — 6, французскому — 1, немецкому — 1, математическому — 6, естественному — 14.

Из упомянутых 915 слушательниц ОВЖК на историко-филологическом факультете училось 439, из них на историческом отделении — 316, на словесном — 87, романо-германском — 36. На физико-математическом отделении было всего слушательниц — 377, из них на естественном отделении 337, на математическом — 40. На юридическом факультете было 99 слушательниц.

Календарный 1910 год закончился дефицитом в 7210 руб. 83 коп. Поэтому при составлении сметы на 1910/11 учебный год были уменьшены вознаграждения преподавателям за годовую лекцию до 150 руб.; сокращено жалование администрации курсов, а также сокращены ассигнования на учебно-вспомогательные учреждения курсов.

Упомянутый дефицит объяснялся не только общим уменьшением числа слушательниц, но также и волнениями на курсах и "нарушениями правильной академической жизни" в ноябре и декабре 1910 года. Так, запрет властей почтить память умершего Л.Н. Толстого вызвал студенческие волнения во всей стране. В Одессе в ноябре-декабре были массовые демонстрации студентов, многие были арестованы и исключены из университета. Черносотенцы убили студента Иглицкого. Волнения продолжались в течение зимы-весны 1911 г.

Это прямо сказалось на бюджете ОВЖК, поскольку основные плате-

жи за обучение слушательницы делали в экзаменационное время. Но в декабре 1910 года многие девушки отказались сдавать экзамены из солидарности со студентами других высших учебных заведений. Такое неожиданное уменьшение поступлений перед самым составлением годового отчета и оказалось причиной дефицита — его не могла предвидеть смета предыдущего года.

В конце 1910 г. профессор Э.Р. фон Штерн отказался от должности директора в связи с отъездом в Германию (университет в Халле). С 1 января по 1 июля 1911 года и. о. директора ОВЖК был избран заслуженный профессор П.Г. Меликов. В жизни курсов весеннее полугодие этого года было особенно тяжелым, так как в конце января и начале февраля произошли очередные волнения в связи с беспорядками в других высших учебных заведениях.

С сентября 1911 года новым директором курсов был избран заслуженный профессор А.П. Казанский*, утвержденный в этой должности Министерством народного просвещения. Деканом по историко-филологическому факультету был избран проф. Б.В. Варнеке**, деканом физико-математического факультета — проф. А.К. Медведев.

В 1911 г. курсы закончили 60 слушательниц, из них: по историко-филологическому факультету 35, по физико-математическому — 25. По отделениям историко-филологического факультета: историческому — 27, словесному — 5, французскому — 2, немецкому — 1. По отделениям физико-математического факультета: математическому — 4, естественному — 21.

19 декабря 1911 года вышло "Постановление" Министерства народного просвещения "об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительницы средних учебных заведений". Это означало, что слушательницам ОВЖК, получившим выпускные свидетельства, предоставлялось право подтвердить университетский статус своего образования в испытательных комиссиях при университетах. Руководство ОВЖК ожидало усиления интереса к курсам среди поступающих слушательниц. Однако в первый год применения закона от 19 декабря 1911 года надежды эти не оправдались, и число слушательниц на курсах продолжало уменьшаться.

*А.П. Казанский — профессор Новороссийского университета, специалист по международному праву. Исповедовал откровенно черносотенные взгляды.

**Варнеке Борис Васильевич (1874-1944) — крупный филолог-антиковед, историк и театровед, профессор Новороссийского и Одесского университета. В годы войны сотрудничал с оккупантами. Умер в больнице НКВД от истощения.

В 1912 году впервые прошли такие испытания в Новороссийском Университете и удостоены дипломов следующие выпускницы ОВЖК:

Атлас Доротея*, Бабайцева Зоя, Гросман Софья-Магдалина, Клейнер Сарра (дипломы 1-й степени по историческому отделению); Фидровская Ольга (диплом 2-й степени по словесному отделению); Эпштейн Фейгла-Фаня (диплом 1-й степени по математическому отделению); Абрамович Бронислава (диплом 1-й степени по естественному отделению), Пилнвер Елизавета, Фихтенгольц Сарра (диплом 2-й степени).

Остальные слушательницы (53) получили выпускные свидетельства ОВЖК: по историко-филологическому факультету 28, из них по историческому — 26, французскому — 2; По физико-математическому — 25, из них по: математическому — 6, естественному — 19. По юридическому факультету выпуска не было.

Совет ОВЖК снова возбудил ходатайства перед Министерством народного просвещения о признании свидетельства о прослушании круга наук на курсах равным выпускным университетским свидетельствам. Планы преподавания на всех факультетах были вновь пересмотрены для большего согласования их с планами университетскими. Лишь на германо-романском отделении они оказались не соответствующими университетским требованиям. Прием на это отделение был прекращен. Усилено было на всех факультетах значение практических занятий.

В 1913 году Министерство народного просвещения, рассмотрев учебные планы курсов, утвердило порядок применения к ним "Положения" от 19 декабря 1911 г. "об испытании лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений". По "Положению" слушательницы, представившие удостоверение об окончании ОВЖК, допускаются к испытаниям в комиссиях при университете без особого разрешения Министерства, но должны экзаменоваться по всем предметам, которые входят в состав университетского курса соответствующего факультета и отделения. При этом учебные планы ОВЖК должны быть полностью согласованы с университетскими программами. Это означало, что ОВЖК фактически обрели статус университета.

В 1913 г. директор ОВЖК профессор А.П. Казанский отказался от своей должности. Новым директором курсов был избран профессор А.Я. Шпаков.

*Атлас Доротея Генриховна — стала впоследствии выдающимся историком Одессы. Ее студенческие работы "Старая Одесса, ее друзья и недруги" и "Старая Одесса и русский народ" оказались классическими пособиями по истории города. Впервые опубликованы в "Трудах слушательниц Одесских высших курсов". — Одесса, 1910, под ред. проф. И.А. Линниченко. Переизданы (Одесса, 1992). Погибла во время фашистской оккупации.

По своей организационной структуре ОВЖК в годы своего расцвета соответствовали нынешней структуре ЮГПУ. Крупнейшими факультетами были историко-филологический и физико-математический. Наиболее привлекательными для курсисток являлись историческая и естественно-научная подготовка. Очевидно значительное преобладание слушательниц именно на этих отделениях. Следующим по популярности с 1908 г. становится юридическое образование.

С конца 1914 г. статистические данные о составе ОВЖК не сохранились. Однако ясно, что в связи с началом мировой войны, а также постепенным нарастанием революционной ситуации в России, учебный процесс все более деструктурируется. Соответственно, неуклонно уменьшается число курсисток, которые все более склоняются к участию в нарастающих студенческих волнениях. Сокращаются и денежные средства курсов.

Распределение курсисток по вероисповеданиям, представленное в таблице, отражает, надо полагать, общий конфессионально-национальный состав всего населения Одессы в начале XX в. Очевидно явное преобладание православных и иудеек. Последнее объясняется тем, что евреи составляли треть населения города.

Одесские высшие женские курсы. Распределение слушательниц и вольнослушательниц по вероисповеданиям (1903* — начало 1914 гг.).

Вероисповедание	1903	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
Православные	158	344	488	431	472	369	279	271	264
Католики	13	14	23	28	27	23	18	16	16
Протестанты	9	7	14	14	12	4	6	11	7
Армяно-григор.	5	8	12	20	22	15	12	7	9
Караимы	2	15	13	17	18	9	9	6	4
Иудеи	109	226	409	690	727	496	361	283	321
Всего:	296	614	960	1206	1278	915	685	594	621

*Привлечены сведения за 1903 год по Одесским женским педагогическим курсам.

Итак, за все эти годы при ОВЖК была заложена превосходная для того времени самостоятельная материально-техническая база — естественнонаучные лаборатории и кабинеты. На курсах преподавали крупнейшие ученые и педагоги. Издавались "Труды слушательниц Одесских высших



"Дома призрения для инвалидов-мещан" (Старопортофранковская, 34) — ныне факультет иностранных языков ЮГПУ, — примыкавшее к северной стене мещанской управы.

женских курсов". Также была создана великолепная библиотека университетского уровня.

Однако при этом резкое сокращение доходов вынудило руководство курсов отказаться от большинства своих помещений. Для продолжения учебного процесса в 1916 году были сняты две квартиры в доме № 21 (15) на углу Херсонской и Торговой улиц за 4000 руб. в год. Хотя значительная часть материально-технической базы была утрачена.

Февральская революция 1917 г., последующий октябрьский переворот и начавшаяся гражданская война привели сначала к немецкой оккупации, а затем,

до апреля 1919 г. к постоянной смене властей в городе. В этих условиях ОВЖК могли работать лишь нерегулярно и эпизодически.

10 марта 1919 г. отдел высшей школы Наркомпроса УССР утвердил "Временное положение... об управлении высшими учебными заведениями" (постановление № 8), которое вносило радикальные изменения в организацию управления высшей школы и сосредоточили все руководство ею в руках советской власти. В конце апреля 1919 г. в Одессу прибыл уполномоченный Наркомпроса Украины Малий, который возглавил здесь Совет комиссаров высших учебных заведений (СКВУЗ) и приступил к реализации мероприятий Наркомпроса по реорганизации высшей школы в городе. В 1919 году в Одессе было, кроме консерватории, пять высших школ (университет, высшие женские курсы, высший международный институт, политехнический и сельскохозяйственный институты). С целью внедрения единой системы во всех вузах и концентрации всего дела высшего образования, сил и средств, равномерного использования всех учреждений, помещений и персонала СКВУЗ Одессы, руководствуясь указаниями Наркомпроса Украины, принял решение объединить все вузы Одессы в один университет, состоящий из многих факультетов. Поэтому с 20 июня 1919 г. все слушательницы



Профессор К.П. Добролюбский,
1930-е годы

ОВЖК должны были переводиться на соответствующие факультеты университета. Но этого не произошло — агония ОВЖК длилась еще год.

Несмотря на распоряжение председателя СКВУЗ Одессы профессора Е.С. Щепкина от 18 июля 1919 г. передать в казначейство Новороссийского университета кассу, все текущие счета и чековые книжки, принадлежавшие ОВЖК, казначей курсов Е.С. Пашковская его не выполнила и передала в университет лишь часть средств (4450 руб. в советских денежных знаках). Их большую часть (15760 руб.) она попыталась спасти в Нарбанке и, тем самым, сумела продлить существование ОВЖК еще почти на год. Курсы фактически продолжали работать. Так, из Нарбанка по ассигновке Губнаробраза от 21 мая 1920 г. было получено 136000 руб. на выдачу

двухмесячных авансов служащим за май 1920 г. Известно, что учебные курсы по истории Средних веков и по новой истории там читали профессора Е.Н. Щепкин и К.П. Добролюбский*.

Но уже 16 июня 1920 г. по распоряжению зав. подотделом высшей школы Одессы Е.С. Пашковская вынуждена была сдать казначею Новороссийского университета кассу, все денежные документы и чековые книжки. Так Одесские высшие женские курсы закончили свое существование. Впрочем, к тому времени (май 1920 г.) Новороссийский университет также был закрыт*.

Закрытие Одесских высших женских курсов происходило параллельно и даже синхронно с усилиями советской власти по созданию новых структур высшего педагогического образования в Одессе взамен старых. Так, 16 июля 1919 г. Комиссия уездного отдела народного образования хо-

*Добролюбский Константин Павлович (1885-1953) — профессор Новороссийского и Одесского университета, виднейший одесский историк, ученик Е.Н. Щепкина, создатель и декан исторического факультета ОГУ. Преподавал в последний год существования ОВЖК, в ИНО, а также в Одесском пединституте в годы его эвакуации.

**Преемник Новороссийского университета — Одесский государственный университет — был открыт лишь в 1933 г. на базе двух подразделений расформированного в 1930 г. Института народного образования (Педагогического) — Института профобразования и физико-математического института. На базе третьего подразделения — Института социального воспитания — в том же 1933 г. был открыт Одесский государственный педагогический институт (с 1994 г. — Южноукраинский государственный педагогический университет).

датайствовала перед Губотделом "о необходимости открыть в Одессе Украинский учительский институт". Однако этот институт был открыт по приказу Губнаробраза лишь 1 апреля 1920 г., после окончательного установления советской власти. Его заведующему, профессору Р.М. Волкову, было поручено "спешно разработать вопрос об организации при институте курсов для подготовки учителей в школы по ликвидации безграмотности".

Украинский учительский институт просуществовал четыре месяца, параллельно с агонизирующими Высшими женскими курсами. По сути, он так и не приступил к работе, и в августе 1920 г. был преобразован в "новый Институт Народного Образования (Педагогический) с отделениями для подготовки учителей для учреждений дошкольных, внешкольных и школьных". Его ректором был назначен профессор Р.М. Волков, а к преподаванию привлечены крупные ученые и педагоги — профессора Н.Н. Ланге, К.П. Добролюбский, Д.К. Доброседов, А.Г. Готалов-Готлиб, С.С. Дложевский, Д.К. Третьяков, В.Ф. Каган, Г.И. Танфильев, Е.А. Кириллов и мн. др. В состав студентов ИНО, помимо контингента учительского института и студентов университета, влились и все слушательницы Одесских высших женских курсов. Можно видеть, что ИНО (Педагогический) унаследовал высокие образовательные стандарты Одесских высших женских курсов и Новороссийского университета. Учебные корпуса ИНО располагались в двух зданиях — по ул. Манежной, 32, и по ул. Старопортофранковской, 26 — там, где и сегодня расположен главный корпус ЮГПУ.

Таким образом, высшее педагогическое образование в Одессе имеет 200-летнюю историю. Оно же имеет и органичную генеалогическую преемственность педагогических учреждений, "генетическая линия" которых является непреложным фактом и прослеживается совершенно отчетливо. Его корни соответствуют самым лучшим педагогическим образцам европейского образования XIX века. Из женского Благородного института, созданного в 1805 г. герцогом Э. де Ришелье, были образованы Городское девичье училище и Одесский институт благородных девиц. На базе этого училища и института выросли Одесские высшие женские курсы, которые фактически стали педагогическим университетом. Не случайно структура курсов и состав их факультетов предвосхищает будущую структуру ИНО и ЮГПУ. Официальный университетский статус курсы получили в 1912 г. Они же оказались непосредственным дореволюционным предшественником Украинского учительского института, Института народного образования (педагогического), Одесского педагогического института и нынешнего Южноукраинского государственного педагогического университета.

Под углом в 45 градусов

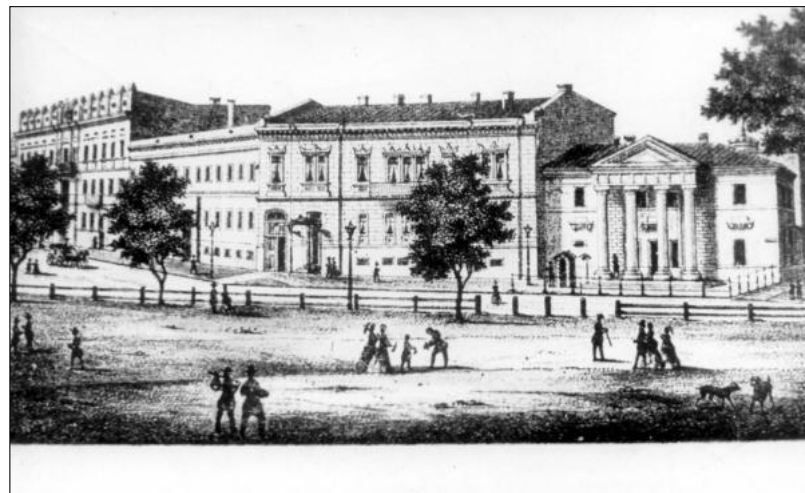


Серия публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом, продолжается. Неизменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. На этот раз речь пойдет об исторической застройке улиц, примыкающих к Преображенской.

Как известно, исторический центр Одессы складывается из двух сеток кварталов: "прямоугольной" — от улицы Преображенской в направлении Крепости (Военный форштадт) и "угольной" — от той же улицы к Новому базару (Греческий форштадт). Видный историк градостроительства В.А. Чарнецкий справедливо отмечал, что у молодой Одессы по существу не было единого общественного центра, вокруг которого бы "послойно" формировались различные в социальном отношении жилые районы. На самом деле таких полюсов было несколько: площади Старого, Нового и Греческого базаров, Соборная, Лютеранская, Екатерининская, позднее — Прохоровская и другие. Непосредственно на площадях и поблизости строились состоятельные негоданты, крупные чиновники и представители нобилитета, а иногда и преуспевающие цеховые мастера, на периферии — мелкие торговцы, ремесленники, разночинцы.

Упомянутое пограничье двух форштадтов и сопутствующие обстоятельства в значительной мере определили функциональное назначение и облик прилегающих к Преображенской "угольных" улиц. С одной стороны они выходили как бы на агору — к Дерибасовской, Казенному саду, Спасо-Преображенскому собору, Успенской церкви, к магистралям, ведущим в Карантинную и Практическую гавани, а с другой — примыкали к Херсонской и Безыменной площадям, ремесленным "слободам" и дорогам на предместья. И если удаленные от моря кварталы в направлении Привозной площади сделались средоточием складских помещений, заведений оптовой торговли, разнообразных мастерских, мелких фабрик и заводов, пекарен, рюмочных, ночлежек и, прямо скажем, сомнительных домов (Кривая, Пионовская, Кузнечная, Дегтярная, Нежинская и другие), то улицы Садовая, Херсонская, Елисаветинская, Софиевская превратились в так называемый "тихий центр", весьма притягательный как для родовой аристократии, так и для нуворишей.

Еще в эпоху Ришелье огромный участок земли, от начала будущего Нарышкинского спуска и почти до самой Торговой принадлежал графине Софье Потоцкой, имя которой и получила улица Софиевская. Как свидетельствуют мемуаристы, в ее особняке, который называли дворцом (теперь на этом месте корпуса ювелирной фабрики), собиралась вся тогдашняя одесская элита: сам Дюк, его адъютант граф Рошешуар, граф Растиньяк, граф Сен-При, генерал Кобле, барон Штиглиц, австрийский консул фон Том, Феликс Дерибас, барон Рено и др. Название Нарышкинский спуск (ныне — спуск Маринеско) появилось много позднее и репрезентует построенный в 1828 году дворец Льва Александровича Нарышкина, пушкинского знакомого, основателя первого в Одессе завода шампанских вин. Впоследствии дворец перешел к Юрьевичам, а затем им владел Г.Г. Маразли, который и подарил его городу под Музей изящных искусств. Уже в первой половине XIX столетия в числе домовладельцев Софиевской и другие видные фигуры региональной истории: Дитерихсы, Ризо, Мещерские, Домбровские. Во второй половине позапрошлого столетия, помимо перечисленных, тут обитали семейства известнейших предпринимателей и благотворителей Посохова, Рафаловича, Когана, Сепича, находились дома графа Толстого (на повороте к Преображенской), Сабанского, барона Стурта, Кирьякова, Синицыной и др.



Угол Садовой и Преображенской улиц
на рубеже 1860-1870-х годов

На Елисаветинской (Щепкина) с давних пор обосновались авторитетные в свое время Шемиоты, Инглези, Сафоновы, де-Азарта, позднее — знаменитый устроитель Одесско-Балтской железной дороги барон Унгерн-Штернберг, Лишины, Росси и другие небезызвестные одесситы. Славные имена одесской биографии запечатлены в каменной летописи Херсонской (Пастера) улицы. Наиболее известное сооружение — особняк Фундуклея, на пересечении с Торговой улицей: в 1823-1827 годах его арендовал граф М.С. Воронцов, поскольку дворец на бульваре еще строился. Здесь нередко бывали Пушкин, Раевский, Казначеев, братья Сафоновы, Стемпковский, Марини, Бруннов, Херхеулидзе, Киселев, Нарышкины, Рено, Сикар, Бларамберги, Бутурлин и многие другие лица из окружения Воронцовых, проходили маскарады, приемы, журфиксы. Дом, надстроенный третьим этажом, вполне сохранился, теперь в нем размещается физический факультет ОГУ. В 1820-х целый квартал по нечетной стороне улицы, между Дворянской, Елисаветинской и Преображенской, занимали дома известного в одесской пушкиниане семейства Ризнич.

В разные годы на Херсонской располагались дома Потоцких, Стифелей (владельцев одного из лучших "Английских магазинов"), Лопухиных, генералов Пуцина и Кандыбы (внучка последнего открыла здесь хорошую частную гимназию, при которой, между прочим, жила семья Гамовых), Гааза (хозяина знаменитой фортепьянной фабрики), Дурьяна (содержателя лучшей в городе пекарни; его наследники владели и большим пивоваренным заводом); в доме купца Кошелева, на пересечении с улицей Конной, квартировал с семейством одесский градоначальник граф Гурьев, супруга которого оставила изумительные мемуары о пушкинской Одессе — этот дом Пушкин тоже посещал; тут помещалась площадка для катания на роликовых коньках, гостиницы "Виктория", "Гранд-Отель", "Савойя", медицинские клиники университета, Городская больница, театр Сибирякова и многие другие научно-учебные учреждения.

Множество лучших по тем временам домовладений находилось и на самой Преображенской. В их числе сохранившийся до сих пор дом купца Варфоломея Коклена на пересечении с Казарменным переулком и с фамильным петухом в картуше. На месте нынешней Научной библиотеки ОГУ был театр, устроенный князем Павлом Гагариным, впоследствии купленный известным предпринимателем Вильямом Вагнером, который перестроил его в гостиницу "Европейскую". А далее Вагнер променял свою гостиницу на старое здание Ришельевского лицея, выходящее сразу на три улицы — Дерибасовскую, Екатерининскую и Ланжероновскую, —

где устроил крупный торговый центр. В прежней гостинице сначала проживали преподаватели и сотрудники лицея, а после его преобразования в высшее учебное заведение здесь была построена университетская библиотека и механические мастерские.

Одним из самых заметных строений в этом районе был дом солидного негоцианта и общественного деятеля М.А. Крамарева на пересечении Преображенской и Дерибасовской. Он приобрел его в 1822 году и основательно перестроил. В этом доме, кстати говоря, в это самое время и даже в 1823-м размещалась знаменитая ресторация воспетого Пушкиным Цезаря Отона. Много лет это сооружение принадлежало вдове Крамарева, а затем отошло к не менее известному семейству Синицыных, владевших смежным домом по Преображенской. Как свидетельствует замечательный краевед Ростислав Александров, колоссальный дом Крамаревых, обращенный фасадом к Соборной площади, демонстрировали в качестве городской достопримечательности еще императору Николаю I.

Здесь же, перейдя Дерибасовскую, когда-то можно было видеть одноэтажные корпуса дипломатической канцелярии новороссийского генерал-губернатора и бессарабского наместника: тут-то и было "рабочее место" Пушкина, каковое он, по правде сказать, чрезвычайно редко занимал. В 1870-м году это, тогда уже "пустопорожнее городское место", взял в аренду популярный фотохудожник Александр Хлопонин и выстроил дом, который после известного срока эксплуатации передал городу. Сейчас в нем размещается греческое консульство.

Наиболее, может быть, занимательна градостроительная история улицы Садовой. Когда-нибудь в нашей рубрике появятся более обстоятельные сюжеты о приписанных к ней зданиях и сооружениях: Ришельевской гимназии, цирке Санценбахера, главпочтамте, саде развлечений купца Алексеева, домах Репниной, Рокко, Фиса, Гека, Лаубаха, Германсона, барона Стурта, Руссова и Либмана. В данном случае отметим только, что знаменитый дом Либмана на углу Соборной площади и Преображенской, описанный Куприным, Буниным, Катаевым, Славным, был возведен в 1889 году на месте обветшавшего здания Управления военного коменданта, в просторечии именовавшееся гауптвахтой. Дом строил выдающийся зодчий Э.Я. Меснер, которому помогали архитектор А. Ниес и инженер И. Моргулис, а заказчиком был известнейший фурман (хлебопек) и кондитер немецкого происхождения Бернгард Либман, "папаша Либман", как его величали, поскольку дело продолжили сыновья — Макс и Пауль (Павел). В течение многих лет тут находилось одно из самых по-

сещаемых и аристократических кафе-кондитерских, снабженное собственной пекарней.

Не менее славен и соседний дом Руссова, в первом этаже которого с конца XIX века размещается популярная "Аптека Гаевского". Он построен в 1897 году архитектором, преподавателем, художником В.И. Шмидтом по заказу почтенного мецената А.П. Руссова. Александр Петрович, обладатель весьма значительного состояния, заключавшегося в обширных земельных угодьях, неисчислимых стадах тонкорунных овец, предприятиях, банковских бумагах, недвижимости, более всего известен как коллекционер произведений искусства, прежде всего, живописи и графики, устроитель первой общедоступной галереи в Одессе. Помимо легендарной аптеки А. Гаевского и А. Поповского, перебравшейся сюда из упоминавшегося дома Синицыной (Крамаревой), здесь квартировали: ресторан "Южный", представительство "Южнобережных вин в Алушке", представительство и склад Дитятковского товарищества писчебумажных фабрик, отделение крупнейшего торгового дома "В. Нурик", занимавшегося реализацией медицинских препаратов и техники, элитарный магазин кожаных изделий М.Э. Ваккер (кошельки, портмоне, бумажники, папки), салон дамских рукоделий Р. Циммерман и др.

Как свидетельствуют первоисточники, в доходных домах, когда-то построенных на Коблевской, Садовой, Княжеской, Херсонской, Елисаветинской, Софиевской и примыкающей к ним части Преображенской, селились преимущественно представители интеллектуальной элиты: успешные врачи и адвокаты, инженеры и архитекторы, литераторы и художники, высокопоставленные чиновники и военные, преподаватели университета, высших женских курсов, классических и престижных частных гимназий, просвещенные коммерсанты. Именно тогда в просторечии и утвердилось словосочетание "тихий центр", ныне прочно вошедшее в обиход агентов по реализации недвижимости. Достаточно заглянуть во дворы упомянутых улиц, а равно пересекающих их Дворянской, частично — Торговой, Конной, Ольгиевской и др., чтобы убедиться, сколько многообещающих предложений регулярно расклеивают желающие приобрести жильё именно здесь. Лежащие под углом в 45 градусов к громогласному эпицентру, тихие аристократические улочки, кажется, сохраняют неторопливый темп, щадящий здоровье режим младенчества Южной Пальмиры.



Дома моего детства

Из книги воспоминаний

Мои первые детские впечатления связаны с домом на углу улиц Островидова и Красной Гвардии, теперь Новосельского, 43. В этом доме я прожил до семилетнего возраста, и память сохранила лишь куски жизни того времени.

Комната, в которой мы жили, видится мне смутно. Небольшая, квадратная и вся какая-то серая, кажется, сырая. Хорошо помню только окно из-за его необычности. Величиной оно было в половину обыкновенного среднего окна, располагалось под самым потолком и выходило на крышу соседнего более низкого дома. Оно запечатлелось потому, что я, много болевший, часто вместо прогулки сидел на широком подоконнике, смотрел на облака, на пролетавших птиц, на то небольшое, что было видно над крышей и до стены следующего, более высокого дома.

Я почти явственно вижу окно и потому, что оно участвовало в повторяющемся в детстве кошмарном сне, — через него с крыши въезжал в комнату большой черный фыркающий легковой автомобиль, грозивший раздавить меня и уничтожить всех и вся в комнате. Странно, что сновидение, как я его теперь вспоминаю, было похоже на кадры кинофильма: машина стремительно надвигалась, заполняя собой все окно, как экран кинотеатра, надо мной нависали бешено крутящиеся передние колеса и... я просыпался с криком и плачем. В кино меня тогда не водили. Да и не знаю, пользовались ли в середине 30-х годов подобными приемами в киноискусстве.

Может быть, мастерам кинематографа снились подобные сны? Да и вообще: исследована ли тема "Сновидения и кино"?

Двор дома я помню куда лучше, чем комнату. Может быть, потому, что там проходила более активная и самостоятельная часть моей жизни.

Восстанавливая сейчас зрительные образы двора, мне удастся наиболее отчетливо увидеть его мощение. Как и все маленькие дети, я смотрел больше вниз, чем по сторонам и вверх. Маленький рост позволяет малышам увидеть под ногами много интересного: букашек, мелкие красивые камешки и многое другое. Если повезет, можно найти блестящий металлический шарик, денежку. Так вот, наш двор, как и другие дворы старых домов, был покрыт сизыми квадратными туфовыми плитами, а в центре, на небольшом холмике, выложенном разновеликим и разноцветным бу-

сещаемых и аристократических кафе-кондитерских, снабженное собственной пекарней.

Не менее славен и соседний дом Руссова, в первом этаже которого с конца XIX века размещается популярная "Аптека Гаевского". Он построен в 1897 году архитектором, преподавателем, художником В.И. Шмидтом по заказу почтенного мецената А.П. Руссова. Александр Петрович, обладатель весьма значительного состояния, заключавшегося в обширных земельных угодьях, неисчислимых стадах тонкорунных овец, предприятиях, банковских бумагах, недвижимости, более всего известен как коллекционер произведений искусства, прежде всего, живописи и графики, устроитель первой общедоступной галереи в Одессе. Помимо легендарной аптеки А. Гаевского и А. Поповского, перебравшейся сюда из упоминавшегося дома Синицыной (Крамаревой), здесь квартировали: ресторан "Южный", представительство "Южнобережных вин в Алушке", представительство и склад Дитятковского товарищества писчебумажных фабрик, отделение крупнейшего торгового дома "В. Нурик", занимавшегося реализацией медицинских препаратов и техники, элитарный магазин кожаных изделий М.Э. Ваккер (кошельки, портмоне, бумажники, папки), салон дамских рукоделий Р. Циммерман и др.

Как свидетельствуют первоисточники, в доходных домах, когда-то построенных на Коблевской, Садовой, Княжеской, Херсонской, Елисаветинской, Софиевской и примыкающей к ним части Преображенской, селились преимущественно представители интеллектуальной элиты: успешные врачи и адвокаты, инженеры и архитекторы, литераторы и художники, высокопоставленные чиновники и военные, преподаватели университета, высших женских курсов, классических и престижных частных гимназий, просвещенные коммерсанты. Именно тогда в просторечии и утвердилось словосочетание "тихий центр", ныне прочно вошедшее в обиход агентов по реализации недвижимости. Достаточно заглянуть во дворы упомянутых улиц, а равно пересекающих их Дворянской, частично — Торговой, Конной, Ольгиевской и др., чтобы убедиться, сколько многообещающих предложений регулярно расклеивают желающие приобрести жильё именно здесь. Лежащие под углом в 45 градусов к громогласному эпицентру, тихие аристократические улочки, кажется, сохраняют неторопливый темп, щадящий здоровье режим младенчества Южной Пальмиры.



Дома моего детства

Из книги воспоминаний

Мои первые детские впечатления связаны с домом на углу улиц Островидова и Красной Гвардии, теперь Новосельского, 43. В этом доме я прожил до семилетнего возраста, и память сохранила лишь куски жизни того времени.

Комната, в которой мы жили, видится мне смутно. Небольшая, квадратная и вся какая-то серая, кажется, сырая. Хорошо помню только окно из-за его необычности. Величиной оно было в половину обыкновенного среднего окна, располагалось под самым потолком и выходило на крышу соседнего более низкого дома. Оно запечатлелось потому, что я, много болевший, часто вместо прогулки сидел на широком подоконнике, смотрел на облака, на пролетавших птиц, на то небольшое, что было видно над крышей и до стены следующего, более высокого дома.

Я почти явственно вижу окно и потому, что оно участвовало в повторяющемся в детстве кошмарном сне, — через него с крыши въезжал в комнату большой черный фыркающий легковой автомобиль, грозивший раздавить меня и уничтожить всех и вся в комнате. Странно, что сновидение, как я его теперь вспоминаю, было похоже на кадры кинофильма: машина стремительно надвигалась, заполняя собой все окно, как экран кинотеатра, надо мной нависали бешено крутящиеся передние колеса и... я просыпался с криком и плачем. В кино меня тогда не водили. Да и не знаю, пользовались ли в середине 30-х годов подобными приемами в киноискусстве.

Может быть, мастерам кинематографа снились подобные сны? Да и вообще: исследована ли тема "Сновидения и кино"?

Двор дома я помню куда лучше, чем комнату. Может быть, потому, что там проходила более активная и самостоятельная часть моей жизни.

Восстанавливая сейчас зрительные образы двора, мне удастся наиболее отчетливо увидеть его мощение. Как и все маленькие дети, я смотрел больше вниз, чем по сторонам и вверх. Маленький рост позволяет малышам увидеть под ногами много интересного: букашек, мелкие красивые камешки и многое другое. Если повезет, можно найти блестящий металлический шарик, денежку. Так вот, наш двор, как и другие дворы старых домов, был покрыт сизыми квадратными туфовыми плитами, а в центре, на небольшом холмике, выложенном разновеликим и разноцветным бу-

лыжником, находилась цистерна – неременная принадлежность одесских домов доводопроводной поры.

Одним из моих главных занятий во дворе было бегать вокруг цистерны по скосу холмика, по округлым и скользким камням, стараясь не упасть. В этом заключался первый в моей жизни спортивный интерес. Больших успехов в этом виде спорта мне добиться не удалось. Я бесконечно падал, колени были сплошь покрыты кровью и сукровицей, но к удивлению дворового населения, это меня не смущало. Соседи не знали, что в раннем детстве я был почти совершенно нечувствителен к боли.

После одного печального приключения моя выдающаяся болестойкость дала повод родителям гордиться мной, а во мне зародила тщеславие. А случилось вот что. Мне подарили игрушечный барабан, и я его вскоре поломал. Отец кое-как починил барабан, используя скрепки от скоросшивателя, имеющие довольно длинные и острые металлические язычки. Все время бить в барабан мне было скучно, и я попытался развлечься при его помощи иначе: поставил на ребро и постарался стать на него. Барабан покатился вперед, я упал и угодил головой на починенное место. Скрепки вспороли мне кожу на лбу, так что она повисла лохмотьями и стала видна кость. Помню, как отец бежал со мной на руках на станцию скорой помощи, а я с любопытством смотрел, как крупные капли крови, падая на тротуар, разбивались красными звездами.

Когда хирург стал зашивать мне кожу на лбу, я поинтересовался, какими нитками он это делает: шелковыми или простыми. За мужество (которое вовсе не было мужеством, а странной нечувствительностью к боли в сочетании с детской глупостью) врач подарил мне две запаянные стеклянные ампулы, в которых в "зеленке", намотанные на вырезную фанерную дощечку, находились шелковые нитки, такие же, как в наложенных мне швах. Нитки были довольно толстые, и вероятно, поэтому у меня на лбу до сих пор большой, с пятикопеечную монету, шрам. Ампулы хранились у нас в доме до самой войны, и отец, хотевший, чтобы я был во всех отношениях необыкновенным ребенком, показывал их родным и знакомым, рассказывая всю эту историю.

Взрослея, я постепенно и незаметно стал реагировать на боль и вид крови, а сейчас мою реакцию, увы, можно назвать даже повышенной.

Двор нашего типично одесского двухэтажного дома постройки 30-40-х годов XIX века был опоясан на уровне второго этажа галереями. Они как бы стекали в дворовой многоугольник несколькими широкими деревянными лестницами. На ступенях этих лестниц девочки играли

в свои "женские" игры; готовили обед, баюкали детей, наряжали их. Мальчики расставляли в боевом порядке оловянных солдатиков, стреляли из игрушечных пушек.

Дом был густо населен, и детей было много. Но запомнились мне почему-то только три девочки: Тамара, Бэба и Саррочка. Первые две были старше меня, а Саррочка – моя ровесница. У Бэбы, живой и острой на язык, был большой лоб. У Тамары – спокойной, медлительной – бросались в глаза толстые, тяжелые косы. Она обещала вырасти в русскую красавицу кустодиевского типа.

Не помню, как зашел у меня с отцом несколько странный, учитывая мой возраст, разговор о красоте дворовых девочек. Но когда отец услышал, что, по моему мнению, Бэба красивая, а Тамара нет, он был очень удивлен и огорчен и долго и горячо доказывал, что большой выпуклый лоб, пленивший меня в Бэбе, вовсе не красит женщину.

Эмоциональная реакция отца по столь незначительному поводу объяснялась тем, что отец всецело посвятил себя моему образованию и воспитанию и хотел, как многие родители, чья жизнь не задалась, чтобы я добился того, чего не удалось добиться ему. Его заветной мечтой было стать писателем. Писателя из него не получилось. Оставалось надеяться, что писателем стану я. И вдруг такое отсутствие эстетического вкуса!

Саррочка была вся какая-то мелкая – и телосложением, и чертами лица, очень обыкновенная, но по-детски милая и, пожалуй, даже хорошенькая. Играть и разговаривать мне приходилось в основном с ней, т. к. других детей моего возраста во дворе не было. Иногда мы с ней ссорились, а однажды я столкнул ее с лестницы. Покатившись по лестнице, Саррочка зацепилась ноздрей за торчавший из починенной ступеньки гвоздь. Со слезами и воплями (моей болестойкости у нее не было), закапанная кровью, она помчалась жаловаться родителям. Те подняли скандал, кричали, что я изуродовал их единственную дочь, будущую красавицу, требовали, чтобы меня сильно наказали. Но отец не очень поддался нажиму и ограничился каким-то формальным наказанием. Тем более, что Саррочкин нос сильно не пострадал.

В начале пятидесятых годов я под влиянием мгновенного sentimentalного импульса зашел во двор, о котором сейчас пишу. Галереи и лестницы, цистерна и мощение – были на месте и, казалось, не очень поддались времени. Не было только крошечных узких клумб с настурциями, оживлявших когда-то двор.

Повидал я во время этого визита в раннее детство и Саррочку. Заму-

ченное косметикой лицо, закомплексованность: уже за двадцать, а нет ни мужа, ни образования. Возобновлять знакомство мне не захотелось.

Для моей семьи годы, прожитые на Островидова, были временем убожества и острой нужды. Отец работал счетоводом, получая соответствующую мизерную зарплату (жалованье, как тогда еще по-старому говорили). Мать не работала, сидела со мной дома.

О нашем жизненном уровне может дать представление с позволения оказать мебель, которую я помню лучше, чем одежду и еду. Мебель в комнате была таким же моим миром, как цистерна и лестницы во дворе. В непогоду и во время болезни я прыгал и кувыркался на кровати, прятался под столом, скакал на стуле – делал все то, что делали и делают другие дети. Кроме названных предметов, в комнате стоял еще грубо сколоченный из сосновых досок книжный шкаф – каркас и полки, покрытые красной политурой, без дверцы, без ножек. Полки этого вместилища были задернуты ситцевой занавеской, чтобы книги не пылились. Книги большого формата, в том числе роскошно изданная "Коронация Елизаветы" со множеством гравюр, а также с десятков гравюр на отдельных листах, хранились в кушетке. Из верхней, мягкой части кушетки сквозь прохудившуюся дерюгу сыпались опилки, которые приходилось сдувать, когда хотелось посмотреть на книжные сокровища.

Теперь это кажется забавным. А тогда контраст между великолепными фолиантами и окружающим убожеством не замечался. Книги радовали, а на быт не обращали внимания.

Я бедности нашей семьи совершенно не замечал, окруженный любовью и заботой родных и близких. Страдал я от болезней, даже не столько от болезней, сколько от неприятных процедур, входивших в систему лечения. Особенно ненавидел я мокрые согревающие компрессы, которыми лечили тогда столь частые у меня ангины.

И еще донимала меня скука.

Были у меня и игрушки, и книжки с картинками, и сказки мне рассказывали, и песенки пели. Но мне нужно было разнообразие и острые ощущения. И отцу приходилось придумывать для меня развлечения.

Когда мне было лет 5-6, мне пришлось несколько дней пролежать в больнице. Тускло, серо и уныло было в палате. Не радостно было и за окном – стояла слякотная одесская зима. Я впервые попал в больницу и сильно тосковал. Радость приходила только под вечер, когда за окном, идя с работы, появлялся отец.

Эгоистичный и эгоцентричный, как все дети, а может быть, даже больше других, я не мог осознать и оценить фанатичную любовь ко мне отца. Но что-то, что было в его взгляде, улыбке, я все же чувствовал, воспринимал и неизменно радовался его приходу. Двойные рамы больничного окна не позволяли нам поговорить, не позволяли отцу развлечь меня, что он делал изобретательно и неутомимо, когда я лежал больной дома.

И все же он нашел способ порадовать меня. В один из его приходов я увидел за окном костер. Огонь горел на небольшой дощечке, которую отец держал в руках, на уровне моих глаз. Время от времени он подбрасывал в огонь щепочки, которые заранее припас и насовал в карманы пальто. На дворе уже стемнело, а костер все горел и горел. И это запомнилось на всю жизнь.

В 1937 году мы перебрались в дом № 29 по улице Подбельского. Этот дом находился через дом от цирка, и когда я объяснял, где живу, я неизменно так и говорил: "Подбельского, 29, квартира 6, через дом от цирка".

Я говорил так не только для того, чтобы легче было найти этот дом, но и потому, что благодаря близкому соседству с цирком дом этот в моих глазах был не совсем обыкновенным.

В этом большом доме – три этажа и подвальный, около пятидесяти квартир, – многие сдавали комнаты циркачам. По двору сновали лилипуты, через окно подвальной квартирки прачки тети Луши можно было наблюдать, как известный в то время акробат Лурих учит своим головоломным трюкам сына, Луриха-младшего. Все жившие в доме цирковые артисты были одеты нарядно, ярко, женщины (особенно лилипутки) носили немыслимо экстравагантные шляпы, мужчины – броские галстуки. Мы, дворовые дети, находились все время в приподнятом, возбужденном состоянии. В доме как будто жил праздник.

Но и не зависимо от цирковой экзотики во дворе было весело и интересно. Дом был населен самыми разными людьми – так что, просто сидя летом на железных перилах, опоясывающих весь двор (они ограждали окна подвального этажа), можно было не скучать.

По двору проходили, иногда останавливаясь, чтобы переброситься парой слов со случайно встретившимися соседями, известный партизан Голубенко – большой мужчина, черноволосый, с тяжелой головой, обычно сопровождаемый женой – высокой, очень худой женщиной с неизменной папирсой в зубах, которая прямо с порога парадного хода могла войти в кадр кинофильма о гражданской войне, и, не переодеваясь, не гримируясь, ни в чем не изменяя своего облика и поведения, изображать комиссара.

Однажды утром по двору прошел слух, что ночью Голубенко "взяли". Несколько дней его не было, а потом он появился, и дети шепотом рассказывали друг другу, что его били большой бутылкой по голому животу (чтобы не осталось следов, – объяснил кто-то), добиваясь чего-то, а чего – я, семилетний мальчик, понять не мог.

Неосознанное эстетическое удовольствие доставлял нам, детям, красавец-артист Гороховский, когда легкой, быстрой походкой, элегантно одетый, выходил по вечерам из угловой парадной и пересекал двор. Восхищенными завистливыми взглядами провожали мы редко появлявшегося во дворе капитана дальнего плавания Кнаба – небольшого роста, крепкого сложения, еще довольно молодого. Он щегольски носил безукоризненно пригнанную, отутюженную морскую форму. Проходя по двору, капитан неизменно дружелюбно, понимающе улыбался ребятам.

Конечно, дом был населен не только партизанами и капитанами. Жила в нем и прачка тетя Луша, колченогая, еле передвигавшаяся, с узловатыми руками и неестественно бледным лицом. Не украшал дворовой пейзаж и ее муж, мрачный алкоголик. Обычно подавленно спокойный, и, что особенно поражало, не отвечавший ни на вопросы, ни на приветствия, – глухо молчавший, он вдруг впадал в состояние дикого необузданного гнева. Через окна, сплошно закрывавшиеся ставнями тетей Лушей и сыном этой четы Володей, слышался вполне членораздельный мат, что-то падало, разбивалось.

Не зрительно, а обонятельно помню дворника, дядю Алексея. Запомнился он запахом навоза, в те годы еще щедро рассыпаемого лошадьми на улице перед домом. Целый день ходил дядя Алексей с большим дворничьим совком и метлой, убирая дары битюгов и извозчичьих лошадей. Может быть, он сушил навоз и потом топил им? Или продавал?

В центре двора росло шесть или семь деревьев – акаций и каштанов. Они были ограждены невысокой ажурной решеткой из проржавевшего железа. И вот однажды кто-то из детей постарше предложил устроить внутри ограды цветник. Для того чтобы это осуществить, нужно было перекопать и разрыхлить затоптанную за десятилетия землю и купить рассаду.

С землей мы, шумная орава исходящих энтузиазмом мальчиков и девочек, справились быстро. А вот сбор денег на рассаду (самую лучшую, самую дорогую, как мы решили) с жильцов дома, обязательно с каждой семьи, затяннулся и превратился в увлекательную и отчасти поучительную затею.

Прежде всего открылось давно известное в этом мире, но нам не знакомое: богатые далеко не всегда щедрей бедных. Столкнувшись с этим, мы

были поражены, обескуражены, много говорили, спорили об этом психологическом феномене.

Весело гоняя по лестницам, перепрыгивая через ступеньки, упорно звоня и стуча во все квартиры, мы, в конце концов, заставили хоть что-то пожертвовать на общее благо даже упорно скупых, застали дома самых неуловимых.

Цветник получился на славу, хотя просуществовал не очень долго. Наибольший урон сразу же стали наносить ему кошки (в доме было много "кошачьих мам"), для борьбы с которыми мы устраивали дежурства. Гоняя кошек, некоторые дежурные в ажиотаже наносили им увечья. Это вызвало недовольство неформально существовавшего во дворе Общества защиты животных. Нарушали табу, наложенное на цветы, и некоторые дети.

А главное, постепенно иссяк энтузиазм.

Устройство цветника было единственным совместным действием дворовых ребят. А вот разделялись они на группы и партии – постоянно. То это были "казаки" и "разбойники", то дружина Александра Невского и немецкие "псы-рыцари".

Игра "Ледовое побоище" возникла под влиянием фильма "Александр Невский", и в ней я, благодаря отцу, был главным действующим лицом.

На работе у отца мне сделали из дерева и фанеры меч, щит (с геральдическими изображениями) и копье, подобные тем, какими был вооружен русский князь в кинофильме. Затруднения возникли с плащом – неизвестно, какого цвета он был у Александра Ярославича. Доступные отцу книги не внесли ясность в этот вопрос. Тогда мы отправились по церквям, тем немногим, которые еще действовали, отыскивая икону святого Александра Невского. В одном из одесских храмов мы ее нашли. На иконе плащ был красным. Отец понимал всю апокрифичность, условность иконописного образа, но за неимением более авторитетного источника мне был сделан красный плащ из какого-то списанного по этому поводу кумачового флага.

Экипированный и вооруженный таким образом, я оказался вне конкуренции и изображал прославленного полководца, стоя на куче канатов, завезенных во двор в ожидании предстоявшего ремонта. Нагромождение свернутых канатов считалось Вороньим камнем, стоя на котором, новгородский князь руководил битвой.

В этой игре мне досталась почетная, но скучная роль: участвовать в сражении я не мог, так как вмиг от моей бутафории ничего не осталось бы. Так и торчал я на куче канатов неким символом.

В эти годы кино разными путями оказывало влияние на нашу детскую

жизнь. По много раз мы смотрели такие фильмы как "Ледяной дом", "Ку-карача", "Три поросенка", позже – фильмы с участием Любови Орловой, не производившие, впрочем, на нас большого впечатления. Кроме этого прямого и в целом благотворного воздействия, развитие кинематографии имело неожиданным следствием бурную детскую коллекционно-коммерческую деятельность.

Неизвестно, как и почему в 1938-1939 году началось повальное увлечение так называемыми "кинами", то есть вырезанными из киноленты кадрами. Почти никто из тех, чье детство пришлось на эти годы, не избежал этого увлечения (в № 16 "Альманаха" о "кинных" пишет Б. Резник). "Кины" покупались и продавались, обменивались, на них играли в "чет и нечет". Различались простые "кины" и "знатные". "Знатными" считались кадры цветных или особенно популярных кинолент. Одна "знатная кина" равнялась трем простым. Шли в дело и пустые или испорченные "кины". Из них делали, складывая особым образом, пишалки и ракеты.

Для того чтобы изготовить ракету, пачку "кин" заворачивали в несколько слоев бумаги так, что округлый продолговатый пакет имел с одной стороны небольшое отверстие, а с противоположной – утолщение. Поджигали ракету с узкого, имеющего отверстие конца. Выходящие с этого конца газы заставляли ракету двигаться: скакать и кружиться, иногда отрываясь от земли. Удушливый дым и стойкое зловоние вызывали, естественно, гонения на ракетчиков, так что эта забава была редкой, и потому особенно соблазнительной.

Мне удалось собрать довольно много "кин" – около семисот, и хранил я их, время от времени пересматривая и пересчитывая, в кожаной австрийской офицерской сумке – единственном трофее, сохраненном отцом от времени первой мировой войны.

Предметом особой гордости были для меня, уже почувствовавшего тягу к коллекционированию, неизвестно как попавшие в обращение, безусловно очень редкие и "знатные" цветные "кины" с изображениями сцен из жизни какого-то королевского двора со множеством рыцарей, придворных дам, замковых интерьеров. Фильм, где были такие кадры, у нас не шел, и отец по каким-то признакам определил, что это из немецкого фильма на тему "Песни о Нибелунгах".

Конец "кинным" развлечениям положило вмешательство милиции, начавшей решительную борьбу с хищениями кинолент киномеханиками и другими причастными к кинофикации лицами.

Вот главное, что запомнилось мне из дворовой жизни предвоенного

времени. Начавшаяся война все изменила. Дворовая жизнь в первые месяцы войны сосредоточилась на крыше и в подвале.

На крыше, конечно, было гораздо интересней, чем в подвале. На крыше можно было надеяться схватить специальными щипцами "зажигалку" – немецкую зажигательную бомбу – и бросить ее в специально заготовленные большие ящики с песком. Но не помню, чтобы это хоть раз произошло. Взрослые загоняли нас, детей, в подвал, как только объявлялась воздушная тревога. А вот осколки бомб или зенитных снарядов мы находили на крыше довольно часто. Осколки обычно попадались небольшие, бесформенные и оплавленные, но иногда кто-нибудь оказывался счастливым обладателем осколка, похожего на кристалл, хотя и с неровными, зубчатыми гранями. Такие осколки имели темный, почти антрацитовый блеск, были по-своему красивы. Нашедший подобный осколок очень им гордился, всем показывал и, несмотря на зачастую солидный размер и вес, все время таскал в кармане.

Много времени, особенно вечернего, мы проводили в подвалах, т. е. в подвальных квартирах, куда, кроме их постоянных обитателей, набивалось еще несколько десятков человек.

В полутьме, тревожно прислушиваясь к взрывам и стрельбе, взрослые тихими голосами пересказывали друг другу последние известия с фронта, а больше всевозможные слухи о разбомбленных кораблях с эвакуированными, о том, что скоро совсем не будет воды, и о многом другом. Дети же, облюбовав один из углов подвальной комнаты, рассказывали друг другу сказки. Но чаще играли в карты (в "простого" или "подкидного" дурака), хотя из-за светомаскировки с трудом можно было рассмотреть масть и достоинство карты.

Мы, дети, совершенно не испытывали страха. Скорей приятное возбуждение, вызванное необычностью обстановки. Отсутствие страха объяснялось не только особенностями детской психики, но и тем, что в первый месяц войны жилые кварталы города мало подвергались бомбежке, убитых и раненых мы не видали.

Ровно через месяц после начала войны отца мобилизовали. Фашисты приближались к городу. Появилась угроза блокады. Началась массовая эвакуация.

Отец, прощаясь со мной и матерью, настоятельно советовал нам уехать. Он очень боялся, что если мы останемся в Одессе, которую раньше или позже оккупируют, он, находясь в армии, ничего не будет знать о нас. Для него это было непереносимо. И хотя многие родственники и друзья советовали остаться, решено было эвакуироваться.

Кончилось одесское довоенное детство.

"Мы, одесситы, сидим, словно в мешке..."**Из записок 1941-1944 гг.***

Сейчас нас всех гвоздит одна мысль, где надежнее спрятаться от бомб. В первые дни войны я гордился нашими сараями-убежищами; они мне казались настолько солидными, с толстыми сводами под двухэтажным домом, где можно было совершенно спокойно спрятаться от снарядов. И правда, когда прилетали первые германские разведчики, мы большую частью стояли у окна и любовались разрывами наших снарядов зенитки. Но позже мы уже залезали в наши убежища.

В ночь на 22-е июля т. е. ровно месяц с начала войны с Германией, часов в 9 был первый крупный налет и бомбежка нашего города. Сначала было сброшено большое количество зажигательных снарядов, и сейчас же были сильные взрывы. Вся наша улица была как бы иллюминирована горящими огнями на небольшом друг от друга расстоянии. Горело какое-то вещество сначала небольшим огнем, а потом разгоралось и принимало довольно большие размеры, и если такой снаряд падал на крышу, то пробивал железо, и тут же начинался пожар. К счастью для нашего дома, нам удалось немедленно потушить. На чердаке в разных местах мы нашли три очага огня и тут же потушили, во дворе тоже 3-4, и также быстро засыпали песком. Но против нашего дома 4-х этажное здание, где, очевидно, упал такой снаряд на крышу, немедленно начало гореть. Через короткое время вся почти крыша уже была в пламени. Передать ту панику и душераздирающую сцену, когда жители спасали свое имущество, те истерики и вопли, это мрачное пламя пожара, да и не одного дома, т. к. на следующем квартале и на Успенской уже видно было море огня, невозможно.

Наконец прибыла одна часть команды и, поработав несколько часов, залила начавшийся пожар. Мы еще ничего не знали, что делалось в городе. Передавали только, что в центре валяются десятки трупов.

В это время, 5 ч. дня, когда я пишу эти строки, делают тревогу. Жена собирает кое-какие необходимые предметы: пальто, одеяло, белье, чтобы в случае пожара не остаться буквально без ничего, но, заслышав тревогу, все бросает и бежит во двор. Сердце стучит молотком в груди, руки трясутся, а голос изменяет свой звук.

Итак, на следующий день, 23-го утром, я отправился в город на фабри-

*Отрывок из воспоминаний

ку. Здесь, на Пушкинской и в центре, я увидел нечто ужасное, непередаваемое. Останавливаться над каждым разрушенным домом и описывать его разрушения не стоит, т. к. все они разрушены до основания. На целые кварталы выбиты стекла, вырваны оконные рамы, согнуты шторы у магазинов, и все превращено в груды мусора и пепла. На углу Ришельевской и Греческой снаряд зарылся на 7 метров в глубину и не взорвался. Но когда я увидел несколько воронок размером, пожалуй, в 10 метров в диаметре и глубиной чуть ли не в два роста человека, тут я сразу похоронил свои иллюзии относительно нашего домового убежища. Это готовая могила. Признаюсь, я упал духом. Диаметр и глубина воронки мне не дают покоя, и точно гвоздем засели у меня в памяти.

Сколько жертв в день 22-го и еще утром 23-го июля, конечно, никому не известно, но очень много. Гуляющей публики в этот вечер было очень много, когда этот огненный и снарядный вихрь разразился. Думается мне, что домов 20-30 уничтожено, частью от огня, но больше от снарядов. До 22/VII граждане еще чувствовали себя довольно сносно. Городская жизнь ни на минуту не прекращалась, заводы работали, магазины и базары торговали, а публика довольно беззаботно ходила. Но день 22/VII сразу оборвал жизнь нашего города. Еще с первого дня войны с Германией, т. е. с 22-го июня я все собирался писать дневник своих личных впечатлений. Но события так сразу нахлынули, что всякую волю к каким-либо действиям парализовало, а в особенности к дневнику.

Стрелка часов близится к 8-ми, как раз в это время вчера, 27-го, вдруг раздалась первые выстрелы. Мы поспешно оделись и вышли на лестницу, и в это мгновение где-то вблизи жутко просвистел снаряд, и мы тут же услышали где-то взрыв. Зенитки и пулеметы заработали вовсю, мы тотчас залезли в свой сарай, и там отсиживались до наступления полной тишины и отбоя.

Часов в 10 вечера при полной темноте на Канатной ул. появились бегущие люди со своими пожитками. Слышны были их взволнованные громкие вздохи. Я спросил одну из этих бегущих групп, оказалось, что снаряд упал на М. Арнаутскую, 2. Сегодня утром мы пошли туда и снова увидели ужасную картину разрушения. Попали три снаряда, а рано утром еще один. Разрушен тубсанаторий, есть убитые и раненные. Разрушен также дом напротив, детские ясли, но детей там не было.

29-го. Сегодня я был на фабрике с 10-ти до 5. Удалось получить всего 20 руб. Фабрика окончательно стала, что будет дальше — неизвестно. Был опять налет, говорят, зажгли одну цистерну с нефтью, был виден пожар. Наш дом окончательно опустел, всего осталось 5 жильцов. Центр города

почти целиком выехал на окраины, большое количество населения выехало эшелонами по железной дороге и пароходами. Жизнь в городе почти совсем замерла. Уже не видны вереницы убегающих людей со своими пожитками, не мчатся военные грузовики с грузом, как будто все или почти все эвакуировались. Главные заводы уехали давно. Соль нашей земли — коммун. давно подмазали пятки и благополучно улизнули. По этому поводу всюду и везде возмущенные разговоры. Спекулятивный элемент, а их немало, также своевременно улупетнул, осталась одна голытьба и рабочий класс, и мелкие служащие. Многие жители на ночь уходят в каменоломни и на окраины города. После поголовного первого бегства после 22-го июля со своих дач, публика снова хлынула на дачи и занимает их без разбора и самочинно.

30-го. Ночь прошла совершенно спокойно. Я спал на своей кровати, а Тося не может решиться на это, она целые дни проводит в подъезде, и когда раздаются выстрелы, бежит в наше убежище. Я приготовил там на всякий случай лом и лопату, — если в лучшем случае засыплет, то, может быть, удастся откопаться. Там проведено электр., принесены скамьи, стулья, есть где сидеть. В первое время в нашем убежище было полно народа и детей, а сейчас всего 3-4 чел. прячется. Часть прячется в соседних домах, находя там больше защиты от снарядов. Я нахожу, что если бомба ко-го наметила, то она его всюду найдет.

9-го августа. За эти девять дней мы не имели почти не одного дня без тревог. Третьего дня на Разумовской ул. сбросили бомбы, были жертвы. Город почти наполовину опустел. Все заводы эвакуировались и продолжают эвак. Наша фабрика тоже с 7-го приступила к разборке машин. Во время работы то и дело слышна тревога и гул выстрелов. Я уже несколько привык и не убегаю прятаться, как другие, да и куда спрячешься. Сегодня на базаре была облава, на посылку на рытье окопов. С сегодняшнего дня город на осадном положении. Хуже всего это ночью, когда вдруг тебя будит гул внезапных выстрелов. Тося немедленно одевается и бежит из комнаты, я еще несколько минут выдерживаю фасон, но все же быстро вскакиваю и впопыхах напяливаю свои штаны.

Конечно, самое главное — это нем. снаряды, от них не убежишь, но все-таки легче становится, когда удираешь из комнаты.

Последние три дня немец особенно стал надоедать нам, как назойливая муха, по 5-6 раз в день. Каждое утро, как правило, он прилетает, большей частью это, кажется, разведки, а впрочем, кто его знает, может, и с гостинцами прилетает, да не успевает их сбросить. Говорят, что сбрасывают прокламации, обещают русских не трогать.

10-го/VII. Ровно в 7 утра я еще лежал в постели, как услышал гул нем. мотора, и тотчас началась учащенная канонада наших зениток. Я все-таки выдержал характер и лежал в постели. Признаюсь, что сердце учащенно стучало. Через некоторое время слышно было несколько падений осколков в нашем дворе, наши дворовые несколько штук нашли разных размеров. Утро прохладное, чудесное. На улице редкие прохожие, город буквально превратился в деревню. В воздухе гудят наши самолеты, они всегда вылетают после визита немцев. Вчера я прочел свое имя в списке сокращенных по фабрике, иду сейчас за расчетом.

13/VIII. События развертываются шибким темпом. Вчера весь день где-то далеко непрерывно доносился гул выстрелов, довольно часто налетали самолеты, и тотчас подымается со всех сторон стрельба. Публика в таких случаях шарахается во все углы и ворота. На Пересыпи и Слободке у всех выходов моста сделаны заграждения из камня, железа и балок. Неприятель, как видно, приблизится со стороны Балковск. дороги. В городе паника. Вчера все магазины, не говоря о продуктовых, забиты покупателями. Сотни и сотни в длинных очередях. Расхватывают мануф., обувь, костюмы, и даже очередь за косметикой. Сегодня промтоварные маг. закрыли, очевидно, администрация испугалась наплыва покупателей, т. к. публика брала все под метелочку. Очевидно, вспомнили блаженной памяти колокольчики и украинки, которые остались во время революции у всех на руках. Хлеб достается с трудом. Продуктовые базы, очевидно, очищаются и развозят остатки продуктов по магазинам. Сахару — бери сколько хочешь, а еще недавно с боем можно было получить $\frac{1}{2}$ к., и то один раз в месяц. Конфет в магазинах тонны. Постное масло отпускается в любом количестве, но зато муки и грамма нет. Базары совершенно пусты, мяса нет. Овощи исчезли, некому и нечем привезть. Положение ухудшается буквально часами. Со вчерашнего дня выдают воду по норме $\frac{1}{2}$ ведра на душу.

Сегодня я совершенно свободный человек, вчера распрощался с фабрикой, сознаюсь, без всякого сожаления, но будущее рисуется в самых безотрадных красках. Перспектив на работу нет, и денег нет, да и какие деньги будут в ходу, еще неизвестно. В газетах пишут, и даже усиленно распускают слухи о зверствах фашистов. Уж такие небылицы распространяют, что, право, совестно читать, но, очевидно, и немцы не остаются в долгу. Сегодня что-то тихо. Говорят, что немцев отбили. Возможно.

14/VIII. 10 ч. утра. Вчера до 7 ч. вечера было совершенно тихо, не считая отдаленных выстрелов. Ровно в 7 вдруг появился вражеский самолет, и тут началась пальба. Слышен был гул, возможно, был сброшен снаряд. За-

тем ровно в 4 утра я проснулся от гудения нем. самолета, и тут же началась учащенная пальба зениток. Я вскочил с постели и через окно наблюдал, как несколько прожекторов медленно вели самолет, но из-за деревьев я не мог точно видеть результат. Скоро все стихло, и снова лег в постель. С утра начали развозить снова сахар. Говорят, что немцы заняли Смоленск.

15/8. У нас во дворе настоящий адский концерт. Двое ребят наших соседей орут по очереди или вместе. К этому ежедневному концерту прибавилось еще три голоса детей еврейки-беженки, а к довершению этого концерта присоединилась голодная корова, которая, не умолкая, мычит каким-то надорванным отвратительным голосом. Затем появился новый слух: якобы немцы дали Одессе ультиматум: эвакуироваться до воскресенья, в противном случае от Одессы не оставят камня на камне. По радио передали, что немцы заняли Елисаветград и Первомайск. В час дня я ходил купаться. Купались исключительно мальчишки и я, старый, с ними. Вода удивительно теплая, прозрачная, но едва я вылез из воды, появились неприятельские самолеты, и пошла зенитная стрельба. Пришлось мне укрыться у берега под горой. Самолеты благополучно удрали, и пальба прекратилась, лишь в направлении Лузановки, не умолкая, громят сегодня целый день орудия.

16/8. Во вчерашней сводке сказано: в течение 14 августа наши войска вели ожесточенные бои с противником на всем фронте от Ледовитого океана до Черного моря. Мы это начинаем чувствовать все больше и больше. Налеты неприятельских самолетов почти непрерывны. Сегодня сбросили бомбы на Заставе и взорвали груженные снаряды. Цель частых посещений неизвестна нам, но в продолжение дня зенитки и орудия действуют почти непрерывно. Только что закончилась канонада по самолетам, но наша публика так привыкла к таким ежедневным концертам, что не устает своим привычкам даже во время стрельбы. В данный момент наши дворовые дамы, прекрасный пол, здорово переругиваются, употребляя при этом и не стесняясь, такие словечки, что лошадь бы покраснела. Были пущены в ход все аргументы, чтобы досадить друг другу, вплоть до обширных задов. Даже сам Демьян Бедный позавидовал бы разнообразию и богатству лексикона. К довершению этой картины один из соседей лежит мертвецки пьяный в подъезде, а другой на улице. Словом, картинка.

17/8, 1 час дня. Немец умудрился в коротких промежутках сбросить две бомбы. Сидя у окна в кресле, я слышал характерный свист сброшенного снаряда, и через ½ часа — снова, другой. Где разорвались, пока неизвестно, думаю, в районе порта.

Но публика ведет себя удивительно спокойно. За это время вполне привыкла. В первое время от одного пустого выстрела шарахались, в подъезды прятались, в погреба. У нас во дворе некоторые женщины в панике бросались куда попало. Сейчас они совершенно успокоились, даже как будто не обращают внимания, кормят детей, стряпают, ходят. В очередях — и подавно. Здесь идет извечная ссора, и ни выстрелы, ни свистящие бомбы не могут их ни уговорить, ни разогнать. Удивительное существо человек.

18/8. Какая идиллия. 7 ч. вечера. Солнце ярко освещает нашу комнату. Пьем чай, и тут же целый грохот выстрелов, концерт на славу. К чему только человек не привыкает, но все-таки надо удирать вниз, где-то про свистел снаряд, слышится взрыв.

19/8. Вчера был настоящий бенефис полетов. Насчитали 3-4 свиста бомб. Говорят, попало в Сабанские казармы и на Маразлиевскую, д. 13-14. Вчера целый день не было покоя до вечера. Все были внезапные налеты. Бесконечные тревоги и отбои. Надоело даже. Говорят, что немец сбросил где-то прокламации, напечатанные на лоскутах, в которых заверяет, что он не будет делать налеты ночью, а днем, чтобы население пряталось в щели и притом его не боялось; что он вреда нам не сделает. Посмотрим. Сегодня 6-е ав., праздник Спаса. Удивительная тишина весь день. Видно, не хочет испортить нам праздник. Но какой праздник, когда большинство населения давно позабыло все христианские праздники? В 12 ч. ходил на море, купался на славу, вода слишком теплая, купаются исключительно подростки и молодежь, и то в небольшом количестве. Со стороны Лузановки не прекращается гул выстрелов. Сейчас ровно 7 веч. Тоже раздаются все время выстрелы. От Сергея получили откр. В дороге был 3 недели.

Проходил с купанья по Белинской, где упали бомбы. Просто сатанинская сила этих взрывов. Положительно нет нигде спасения от них. Стены рушатся, деревья ломаются, как после урагана, железный трамвайный столб вырван и разбит в куски, а стекла в домах разбиты в округности на несколько кварталов. Просто ужас берет смотреть на эти последствия дьявольского изобретения. Ну и прогресс! Ну и культура! Не завидую я своим внукам в их будущем.

20/8. Итак, Одесса вся в баррикадах. Я только что ездил на фабрику и по дороге на всех улицах видел, как разбирали мостовые и из этих камней устраивали баррикады во всю ширину улицы, это всюду, на всех подступах в город. Значит, решено Одессу не сдавать, а из этого выходит, что для жителей готовится кровавая баня. Как одна, так и другая сторона жителей жалеть не будут. Город представляет собой почти пустыню, только

у продуктовых точек бьет жизнь ключом. С бешенством и остервенением, чуть ли не грызя, друг другу глотку рвут, что попадется под руки. Сообщается, что Николаев сдан, верфи взорваны, сдан и Кривой Рог. Жара ужасная, вода отвратительно соленая, газовые заводы приостановлены, а если выпускают случайно пиво, то очереди колоссальные. Наша газета поместила заметку амер. корресп., что Гитлер психически расстроен, да и вообще, вся печать всякую ерунду и сплетню разносит, иной раз просто противно читать. Все-таки нахожу, что пресса 14-го года была куда в тоне деликатнее, теперь же в выражениях и в тоне не стесняются.

21/8, ровно 7 в. Я только что наблюдал три нем. сам., как они, сравнительно невысоко, медленно летели по направлению к вокзалу. Стрельба поднялась буквально адская, буквально все небо на большом пространстве пробуравлило, и все-таки не попали. Захватывающая все-таки картина наблюдать, удивляюсь геройству летчиков — какие нужно иметь нервы, чтобы быть под таким обстрелом. Один лишь снаряд попади — и все кончено. В час дня, когда я после купанья подымался на гору, под такую же бомбежку я попал. Нем. сам. так же спокойно, невредимыми улетели. Завтра роковое 22-е. Все в тревожном ожидании этого числа, нужно быть готовыми ко всему.

23/8. Вчера весь день прошел благополучно. Я ездил на фабрику, и за это время выросли новые баррикады со рвами. У моста Пересыпи я встретил грузовик с 5-6 ранеными. Одни из них лежали, другие сидели. Все перевязанные, а у некоторых были руки в крови и забрызганные кровью. Видно, фронт недалеко. В нашей газете появились глупейшее воззвание к гражданам. Предлагают вооружиться камнями, бутылками с керосином и горячей водой и отражать этим врага. Право, трудно себе представить что-нибудь глупее этого. Только что неприятель где-то бросил бомбу, поднялась стрельба. Я нашел на улице порядочный кусок осколка, попади этот осколок в голову — был бы конец.

На улицах пустыня, в магазинах давка за мануф. и другими товарами, люди спешат сбыть скорее свои деньги. В продукт. маг. совершенно пусто. За неимением матер. пищи купил духовной: книгу "Дидро".

25/8. Сорвавшаяся буря с проливным дождем и громом слилась с непрерывным грохотом орудий. Сегодняшняя сводка гласит: особенно ожесточенные бои происходят на Одесском фронте. Вчера весь день, ночью, почти не прекращается гул выстрелов. Сегодня особенно слышно, очевидно, фронт приближается, т. к. окна и стены начинают вздрагивать. Сейчас ровно 4 ч. дня. Дождь стих. Деревья почти не шелхнуты, но зато орудийный гром слышится все явственнее. Мы буквально у преддверия страш-

ных дней. Нет секунды перерыва в грохоте орудий. И в это время трамваи идут, дети играют и хохочут во дворе, на улице прохожие, в магазинах одиночные покупатели т. к. все они совершенно пусты. Сегодня получили карточки на хлеб по 400 гр. и 500 работающим. Начинается почти голодовка, т. к. привоза никакого нет, и кругом пустота. Страшные дни подходят. В газете сообщают, что наши во всей Бессарабии и Буковине все взорвали и уничтожили. Ожидают, что в случае нашего отступления и у нас взорвут электростанцию, мельницу и друг. зав., как это было в Бессарабии.

28/8. Оказывается, весь шум канонады производят три военных судна. Они-то все время без передышки бомбили где-то недалеко румын. Военные суда производили такой грохот, что казалось, стекла в окнах лопнут. Все же, не без результата была эта стрельба, т. к., говорят сегодня, румын отбросили на приличное расстояние, будто бы на 65 к., вчера же утром неприятель как бы в отместку послал несколько снарядов, один из них взорвался на Пуш. ул. угол Троицкой, где в это время была очередь за хлебом. Ударилось о мостовую, разорвалось и убило человек 9-12, и многих ранило. На Канатной убило 2 человека. Сегодня тихо. Лишь изредка погромыхивает. Словом, борьба затягивается. Наши оставили Новгород. Из всех магазинов вывозят все спиртные напитки на базу.

29/8 10 ч. утра. Все то, что я писал до сегодня, по сравнению с настоящим моментом — сущие пустяки. Окна, двери и стены дрожат от неумолкаемого гула выстрелов. Это сплошной непрерывный гром, ни на секунду не умолкающий. Сейчас мы все лично переживаем то, что где-то читали. Я пишу, а окна дребезжат. Но что же дальше будет? Кто, в конце концов, останется жив, куда прятаться? Выселяют почти со всех улиц, прилегающих к порту и Пересыпи. Очень боюсь, как бы не полопали стекла, мы можем остаться с открытыми окнами на зиму. Но где враг? Гром все усиливается, больше не могу писать.

2/9. За эти прошедшие дни было сравнительно тихо. Вчера я даже предпринял прогулку в Аркадию. На море стояли военные суда, и одно из них стреляло в сторону Лузановки, остальные около Аркадии мирно отскаивались. Весь мой путь порос обильным бурным бурьяном. В некоторых местах почти с трудом проберешься. От обильных дождей и вообще благоприятной погоды вся зелень сильно разрослась. Было замечательно тепло. Я нарвал букет полевых цветов. По дороге просвистело мимо меня несколько пуль. Откуда они, не пойму. На всем пути я не встретил не одной души, но все приморские домики и дачи забиты людьми. Многие устроили себе в скалах (пещеры?), щели, обезопасили себя. В отношении

безопасности здесь гораздо спокойнее, чем в городе. Да и живут здесь, по-видимому, неплохо: ловят рыбу, много курей у всех гуляет вокруг дома. У некоторых имеются небольшие огороды. В самой Аркадии появились два немецких самолета. Прямо напротив меня на небольшой высоте они летели неспеша. Тут же началась ожесточенная бомбардировка, снаряды рвались вокруг них, но они спокойно продолжали свой полет по направлению в город. На берегу, у ручейка, толпы людей с ведрами, кувшинами и бутылками набирали воду и везли в город, т. к. наша теперешняя вода для питья и употребления совершенно не годна.

7 ч. вечера. Только что нем. самолеты сбросили бомбу. Часть трехэтажного дома до основания разрушена, из соседних квартир с обнаженных стен торчит мебель, на одном этаже шкаф, ниже этажом — кровать. Жуткая картина. Говорят, жертв нет, успели все жильцы выехать. Положительно, нет спасения от этих бомб. На Канатн. тоже сбросили небольшую бомбу. Видел, как одну старую женщину подсаживали в грузовик, все лицо ее было в крови.

3/9. Говорят, что еще в двух местах были сброшены снаряды, и есть много жертв.

Сегодня отвратительно холодная погода, я надел пальто. Небо хмуро-неприветливое, вдали снова слышится неумолкаемый гул. Вот уже около месяца немцы топчутся вокруг Одессы. Чуть ли не каждый день нам все кажется, что настанет решающий для нас день, и эта пытка неизвестности продолжается без конца. Сейчас ровно 8 ч. вечера. Сажу с открытыми окнами. Тося лежит на диване, изредка переговариваясь со мной, делясь впечатлениями и разн. сплетнями сегодняшнего дня. Мы, как приговоренные, прислушиваемся к каждому шуму и гулу. Не гудит ли вражеский самолет, не повторится ли и сегодня вчерашняя катастрофа? В нашем доме мы одни спим на втором этаже, остальные разъехались кто куда.

4/9 1 ч. ночи. Прошлую ночь я дежурил во дворе с 12 ч. Чьи-то тяжелые снаряды, пролетая, свистели и со страшным гулом разрывались. Такой дьявольский концерт раздавался несколько часов подряд. Кто стрелял, и кто отвечал, так нам неизвестно. Вот и сейчас раздаются где-то ужасные взрывы, даже слегка вздрагивает пол под ногами. Вот вдруг слышится где-то знакомый гул мотора, это самолет. Но чей? Напрягаешь слух, хочется скорей узнать, вот он приближается, уже над головой гудит. Но зенитки молчат, значит, наш, вздыхаешь облегченно. Иной раз фантазия рисует ужасную картину, кажется, летит снаряд, попадает в наш дом, а он рушится, как карточный домик, и хоронит тебя всей своей тяжестью.

Говорят, прибывают морем новые подкрепления, Одессу сдавать запре-

щено, значит, бой в городе неминуем. Что-то будет? Ко всем переживаемым прелестям наступило резкое похолодание. О продуктах питания я и не пишу. Началась почти голодовка. Говорю почти, т. к. дают по 400 гр. хлеба и пока больше ничего. Базары совершенно пусты. Привозят к нам мешок картофеля, немного синих, помидоров, морковь — и все. Люди стоят в очередь с 4 ч. утра и ожидают до 12-1 ч., собирается толпа, которая все время, не уставая, друг с другом ругается из-за очереди, давка ужасная, и чтобы получить кило овощей, нужно потратить несколько часов времени и перенести массу оскорблений. Только русский человек в состоянии выдержать эту пытку. Разве мое перо в состоянии описать, какие страдания переживает все население? А ведь всему этому и приблизительно конца не видно. Не придется ли и нам по примеру Парижа ловить кошек и есть их? Уже почти 12 ночи, а гул разрывов ни на минуту не умолкает. Уже сколько времени без перемен.

6/9. Только что пережили отвратительные моменты налета самолетов. Жуткое, непередаваемое чувство. В 8 ч. послышался гул самолетов. Я немедленно с Тосей спустился в подвал, но в это время просвистел пущенный самолетом снаряд, и я почувствовал на своем лице, как меня обдало воздухом. Недалеко грянул разрыв. Мы вскочили в подвал, и там была слышна дьявольская канонада всех зениток и взрывов. Когда все утихло, я выполз из своего убежища, вышел на улицу и увидел огромное зарево пожара в стороне Лермон. переулка. Горело и одновременно что-то разрывалось. Очевидно, снаряд угодил в склад боевых припасов. Четыре раза возобновлялась канонада. Утром сегодня в 9 ч. я проснулся от сильных выстрелов, бросился к окну и сразу увидел 2 самолета и услышал 5-6 жутких свистов. Вчера мы всю ночь провели в подвале.

Была перестрелка. Неприятель через нашу голову посылал снаряд за снарядом, и где-то со страшным грохотом ударяло. От одного такого удара наш дом весь задрожал, казалось, приближался наш смертный час. Сегодня был в городе, и рассказывали, что во многих местах были сброшены бомбы. Сейчас после часовой передышки изредка раздаются оглушительные выстрелы. Нервы у нас всех натянуты до крайности. Сейчас 10 ч., выстрелы усиливаются, оставляю писать — невозможно.

7/9, 6 ч. вечера. Сегодня утром в 5 ½ ч. мы услышали шум герм. самолетов, едва мы оделись и начали спускаться с лестницы, как услышали отвратительный знакомый нам свист самолетных бомб. На меня в лицо пахнуло небольшой струей воздуха, и тут же мы услышали страшный оглушительный взрыв. В нашем погребе мы слышали непрерывный свист бомб. Казалось, им конца не будет, окна вот-вот все лопнут. Наконец все

утихло, но через несколько минут опять загудело в воздухе, и опять налетели самолеты. Такой бенефис продолжался четыре раза.

Утром я пошел на место катастрофы. Угол Троицк. и Канатной: очевидно, было брошено 4 бомбы, т. к. пострадало пять домов. В одном месте видна кровь. Громадное дерево срублено у корня и отброшено далеко в сторону. Провода оборваны. Вокзал весь разрушен. Бомба угодила прямо в крышу левой стороны.

Одни развалины. В ограде огромный тополь буквально вырван с корнем, и тут же лежала убитая кошка. На Белинской второй раз упала бомба, на большом расстоянии выворочена мостовая. И во всех случаях вокруг на целые кварталы выбиты стекла. Я под таким впечатлением всего виденного буквально удра на берег моря. Погода сегодня чудная, даже жарко на солнце. Я там пробыл 4 часа, купался, вода холодная. Я отдыхал и телом, а, главное, нервами. Тишина замечательная, и на всем берегу я был только один. Слышал шум моторов, вдали выстрелы зениток, но все это как будто меня не касалось. Если бы я был один, кажется, остался бы до конца назревающей катастрофы. В городе положительно негде спрятаться. Сейчас, когда я пишу эти строки, снова начался неумолкаемый гул пушек со стороны Пересыпи. На улицах всюду снова в большом количестве появились груженные подводы с беженцами. Но куда ехать? Город окружен. Правда, остается еще один выход. Это открытое еще море. Но это опасный путь, некоторые пароходы потонули. Стрелка быстро подвигается к 7-ми. Это время почти обычного налета самолетов, все трепещут в ожидании наступления сумерек.

В 4 ч. дня самолеты бросали листовки. Толпы людей бросались за ними, но были такие, которые сейчас же отымали у них. Но, конечно, ясно, что в этих листовках он не извинялся за причиненные им несчастья. В городе, говорят, тоже большие несчастья, всего не увидишь, не перечесть.

Лежа на берегу и греясь на солнце, я наблюдал стрельбу броненосца по Лузановскому берегу.

8/9. Разве я сумею описать те прошедшие одиннадцать часов, которые мы все в нашем доме, да и во всем городе, пережили с 7-ми часов вечера до 6-ти сегодняшнего утра? Да ведь это надо обладать пером Толстого или Достоевского. А виденные только что картины разрушений по многим улицам! Буквально кровь стынет.

Как я и ожидал, немец и на сей раз был аккуратен со своим визитом к нам. Он появился ровно в 7 ч. вечера и тут же начал свою дьявольскую работу. Свисты, взрывы потрясали и воздух, и дома, и землю. Наши все сосе-

ди запрятались по обычаю в погреб, а я стоял в подъезде. Признаюсь, я из-за трусости не полез в наше убежище. Мысль, что я могу быть раздавленным, пугала меня, я предпочел смерть встретить лицом к лицу. После каждого демонического свиста, который всегда, кажется, у твоей головы, я ждал страшного удара и обвала дома. Этих свистов я насчитал до десяти, но потом я сбился со счета, так их было много. Я сжимался и покорно ждал от судьбы страшного удара, но суровая судьба каждый раз отводила эту руку. Часа в два ночи опять зажужжал самолет, и я увидел через наши ворота огромный огненный шар, свист, звон разбитых оконных стекол на всей нашей улице и страшный удар, приблизительно через час — снова гудение самолета и снова удар в то же место, и снова звон стекол. Оказалось, что фугасная бомба была брошена в быв. Гособувн. фабрику. Сначала я не заметил, что она загорелась, но резкое зарево ее отразилось в нашем дворе, и я поднял панику, что горим мы, моментально полезли на крышу, и здесь я увидел грандиозную картину пожара. Море огня. Я немедленно побежал на Троицкую. Здесь стояла одна часть пожарн. команды, но тушить было трудно из-за отсутствия воды. Меня заметил конный милицейский и пригласил помочь спасти казенное имущество. Я согласился и начал выносить со склада печеный хлеб. Но, боясь вторичного налета, я, поработав с ½ часа, позорно удра. Легчик не ошибся, попав в эту базу военных заготовок, я сегодня проходил мимо и видел огромную картину разрушения и догоравшие остатки. Как я упомянул, налет продолжался в продолжении 11 ч. с небольшими перерывами. Жутко было слышать это жужжание моторов над головой. Казалось, им конца не будет, и в то же время свист, взрывы и адский грохот зениток, и наконец, ровно в 6 часов утра появился еще только один самолет, очевидно, полюбоваться своим дьявольским делом, и еще раз над головой просвистеть и бросить где-то снаряд. Каждый раз между такими мирными антрактами, в середине глубокой ночи при весьма яркой луне, редкие звезды, как крупные бриллианты, так мило и приветливо сверкали своей красотой, точно у нас здесь ровно ничего не случилось, и вот после таких очаровательных промежутков опять начиналась адская работа самолетов.

Выходя на улицу, я видел, как некоторые жались у железных столбов, другие меняли свои убежища на более безопасные, как им казалось, перебегая с одного подъезда в другой, ну а все остальные заполнили подвалы своих домов или в нижних этажах попросту не выходили из своих квартир. При полной тишине и ярком лунном свете громко запел петух. Его одинокий голос раскатился, мне казалось, на все прилегающие кварталы, но ответить ему было некому. Так закончилась и началась драма на рube-

же двух дней. Сегодня 8-е, т. е. по-старому 28-е августа. С последним взрывом снаряда и первым приветствием петуха ровно 65 лет тому назад, как говорит моя метрика, я появился на свет Божий. Думается мне, что в муках я появился на свет и встретил свой первый день появления, но еще с большими муками, с растерзанными нервами я встретил сегодня свой 65 день рождения. И снова, как и вчера, непрерывно несется гул канонады. Приблизительно к часу ночи бой совсем утих, и снова сегодня с утра начался и непрерывно доносится их гул в наши окна. Вот уже ровно месяц, как немец топчется у нашего порога и никак ему не удается переступить его. Снова пришло подкрепление со стороны моря, подкрепления приходят непрерывно; как говорят, берут и посылают на фронт даже 17-18-летних. Не стану описывать тех разрушений, которые я видел на многих улицах нашего города. Говорят, во всем городе и даже на окраинах всюду есть большие разрушения. Уже смеркается, часы продвигаются к роковому вечеру, что-то будет этой ночью.

По всем улицам, в разных направлениях бегут люди со своими узлами.

Всю ночь во время налета грузовики и автомобили как бешеные мчались по всем улицам, спасаясь от бомб.

9/9. Ночь прошла совершенно спокойно. Население как-то сразу преобразилось после пережитой прош. ночи, но публика все же удирает, куда может, впрочем, нигде нет спасения, т. к. и на окраинах, на дачах имеются разрушения. У всех на устах только один разговор: куда спрятаться. В городе сравнительно тихо, лишь изредка раздаются громовые выстрелы наших военных кораблей на море.

10/9. Ночь прошла в городе почти спокойно, без катастроф. Но все же почти всю ночь раздавалось гудение неприятельского самолета, который все время кружился над нашей головой, и казалось, как коршун искал своей добычи. Зенитки молчали, т. к. трудно было его обнаружить прожекторами, которые шарили по всему небосклону, но все напрасно, а он упорно гудел, то приближаясь, то удаляясь, и наши сердца в унисон ему то сжимались, когда жужжание приближалось, то облегченно радовалось, когда шум затихал. Все же, как мы узнали, он нашел несколько жертв на 12 ст. и еще где-то на окраинах. Сегодня мы простояли в очереди 6 ½ ч. за помидорами и луком, больше ничего не было, а еще нужно за хлебом простоять несколько часов, так уходит каждый день в очередях, в волнениях и страхе. Разве эти несколько строк, которые я заново в эту тетрадь хоть сколько-нибудь дают отражение нашей несчастной жизни? Разве можно все это выразить словами?

12/9. Вчера враг, пользуясь большою низкою облачностью, в продолжение дня сделал несколько налетов на город. В 2 ч. дня сбросил бомбу в порт, видны были издали огромные клубы дыма, вздымавшиеся к небу. В 4 ч. я стоял в очереди за хлебом. Вдруг страшный взрыв недалеко где-то в конце Новорыбной. В это же время были брошены бомбы на углу Пушки и Н.Р. ул., Риш. и Н.Р., и, говорят, во многих местах.

После вчерашнего осеннего холодного дня сегодня чудесная солнечная и теплая погода. Я с утра предпринял свою обычную экскурсию по городу. Заглядывал в открытые окна некоторых разрушенных и полуразруш. домов. В некоторых комнатах вся мебель перевернута, окна выдернуты. Но в некоторых учреждениях еще мирно висят портреты наших вождей, молча глядящих на разрушенные стены и на все уничтоженное вокруг. Был в парке. Лишь очень небольшую часть осмотрел, но что здесь творилось, трудно себе представить. Масса громадных воронок. Есть огромное дерево, вырванное с корнем. Многие деревья буквально искрошены, поломаны, вырваны. Очевидно, раньше здесь была стоянка военных, но сейчас никого нет. Тишина гробовая, чудесная зелень, деревья с позолотевшими листьями, вдали блестит лазоревое море, я не встретил ни души, только я один любитель нашелся в такое время гулять. Бомбовозы целой стаей летят над головой, но на фронт ли они несут свои подарки? Сегодня где-то бросили бомбу.

13/9. Ровно пять пополудни. В этот момент раздаются страшные взрывы где-то далеко, вероятно, в порту или в центре. Зенитка слабо стреляет. Где-то на позициях гулко раздаются громовые выстрелы, даже стекла дрожат. Мы, одесситы, сидим, точно в мешке, и ровно ничего не знаем, что делается вокруг Одессы. Газета молчит и печатает одни лишь эпизоды. Наши сдали Чернигов. Вот уже сколько времени наше положение без перемен. Ежедневное напряженное ожидание чего-то ужасного. Каждый в животном страхе за свою жизнь — или быть искалеченным, что еще ужаснее. Каждый день все кажется, что неприятель вот-вот ворвется в город и начнет резать жителей, не спрашивая ни возраста, ни пола.

Нет! Писать не могу, просвистела бомба. Ухожу.

Снова настала тишина. Ни звука в воздухе, надолго ли? Говорят, то немец на парашюте спускает бомбы и уничтожает чуть ли ни целый квартал. Где же прятаться? В нашем погребе-сарайе? Это могила; в подъезде — быть похороненным под камнями; оставаться на улице — быть искалеченным осколками или силою воздуха убитым. Говорят, кому-то воздухом оторвало голову. На дачах и окраинах та же история.

17/9. За эти прошедшие три дня я не имел возможности писать, т. к. все время был занят по устройству щели напротив нашего дома. Инициатором этого дела был я, один из соседей имел возможность привезти материал, т. к. в его распоряжении была лошадь. Начали мы рыть щель с 14-го, и лишь вчера закончили. Нелегкая эта была работа, натер себе на руке порядочные пузыри. Глубина щели 2 ½ метра, а в длину 15 шагов. Но наша публика как-то неохотно туда лезет, очевидно потому, что уж больно напоминает могилу, все предпочитают прятаться в погреб, в подъезд, и непременно все вместе. Уж действительно оправдывается русская пословица, что на миру и смерть красна. Между прочим, в это время, когда я пишу эти строки, гул выстрелов беспрерывно раздается уже гораздо ближе. Неприятель начал обстреливать город, редким огнем все части города. Вчера часов в 8 вечера снарядом в д. 40 пробило крышу. Сегодня ровно в 7 утра он послал несколько снарядов в наш район, где-то близко.

Тринадцатого числа, только я хотел закончить свой дневник, как вдруг мы услышали шум неприятельских моторов. Я вышел на улицу. Немецкие бомбардировщики медленно плыли высоко под чудесным ярко-голубым сводом неба, покрытым белыми барашками облачков. Вот медленно, не спеша, проплыла одна тройка самолетов, вот еще четыре, а там вдали плетется еще один. Сколько их было, трудно выяснить. Зенитки бешено их обстреливали, снаряды рвались вокруг них, то вспыхивали огненным блеском, то показывался черный дымок взрыва. Но они все дальше плыли, точно все эти выстрелы были не по их адресу. Начались взрывы. Было около 8 ч. вечера. Тося и я поспешили стать в нашем первом этаже у входа под лестницей. Вдруг раздался невероятный, страшный свист и адский грохот. Наш дом как будто подбросило, все стекла, какие еще остались целы от первых двух взрывов, со звоном полетели. Дверь у нашего входа сорвалась, и нам всем, стоящим под лестницей, казалось, что настал последний момент жизни, некоторые из женщин от страха стонали, Тося молча молилась, я с каким-то тупым чувством ждал...

Но вот прошла минута, другая, все стихло. Первым делом я вбежал в нашу комнату проверить самое больное место: это оконные стекла. Оказалось, что еще 4 стекла разбилось. Часы сдвинулись с места и остановились на цифре 8. В кухне целый хаос. Полка с разной рухлядью слетела на пол и разбилась. В это время прибежал какой-то военный с улицы и начал кричать, что в комнате горит свет. И действительно, у соседки от сильного взрыва выключатель повернулся и зажег лампочку. Я оторвал замок

и потушил свет. На улице выяснилось, что бомба, наверное, весом с тонну, упала как раз посреди двора, вырыла колоссальную яму, все здания вокруг разрушила, исковеркала, и даже на прилегающих к дому улицах вырвала в окнах рамы, в квартирах попереворачивала мебель и вообще много бед натворила. К большому счастью, все жители внутреннего двора были в подвалах, и счастье, что бомба упала не на здание, т. е. все уцелели, только несколько легко ранило. Вся эта катастрофа разразилась меньше чем в ½ квартала от нас, приблизительно в третьем дворе от нас. Вот что и дало толчок к рытью щели. В этот злополучный вечер, говорят, что во всем городе и на всех окраинах были большие разрушения. 14 и 15-го были дни спокойные, не считая одиночных налетов где-то в городе. Налет на наш город, как говорят, был ответом на налет наших бомбардировщиков на Бухарест.

Рассказывают, что в поле недалеко от Одессы женщины собирают помидоры, картофель и проч. овощи. Бывают часто случаи, когда залетающие пули убивают, но работники не обращают внимания и продолжают свою работу. Попросту все отупели или привыкли к ежедневным сюрпризам войны.

Эту запись я веду в продолжение всего дня. Кончали еще кое-какие мелочи в построенной нами щели, не один раз приходилось в нее прятаться и изнутри ее слышать ужасный свист брошенной с самолета бомбы. Ну, а раздающийся гул выстрелов то сливается в один сплошной гул и кажется в такой момент, что враг уже в городе, то сразу выстрелы стихают и раздаются лишь одни одиночные.

Вот опять пришлось прервать свое писание и удирать в щель. Сейчас ровно 7 вечера, и в продолжение одного часа, т. к. я начал писать в 6 ч., три раза улепетывал. Только что сообщил нам один гражданин, что бросили на Мясоедовской и попали в один дом, и второй прямо угодил в щель. Для нас, строивших щель, хорошее утешение, но один из граждан объяснил нам, что это был садик, и там укрывались военные. Нам стало легче. Опять удираю.

18/9. 1 ч. дня. Я вчера закончил свое писание последним словом "удираю". Так оно и было. Едва я добежал до щели, как над головой загудели вражеские моторы, заработали изо всех сил разнокалиберные зенитки, начиная от самых слабых и кончая громовыми ударами, как тотчас послышался знакомый и преследующий нас свист. Мы почувствовали сильный толчок, и воздушное течение пробежало через нашу щель. Свист и взрывы с небольшими перерывами продолжались. Наконец мы услышали 4

подряд свиста и взрывов, земля дрожала. Мы, находящиеся в щели, как живые в огромной коллективной могиле, молча, с биением сердца прислушивались и все ждали очередных взрывов. Иногда подымался плач детей, громкие вздохи и причитания, но сидящие требовали молчания, и воцарялась абсолютная тишина во мраке нашей могилы. Эта дьявольская какофония длилась вплоть до 6-ти часов утра сегодня. Трудно было пересчитать свистов бросаемых немцами бомб, но полагаю, что не меньше 20-ти. В продолжение одиннадцатичасового сидения в абсолютной темноте в неудобном положении и тесноте ломило спину и ныли ноги, да и притом желудок все-таки требовал пищи. А где ее взять? Получаемые 400 гр. хлеба чернее ночи, а по вкусу и придумать хуже нельзя, больше ничего и нет. То-ся варит стандарт, бурду, коего съедаешь одну тарелку за весь день. Утром чистый чай с хлебом, а вечером идем спать и без него. Я говорю, идем спать. Ведь последнюю неделю фактически мы и не спим. В щель приходится днем забегать по десять раз. Постоянно то тревога, то отбой, нужно быть всегда начеку.

Корова с утра и до вечера мычит на разные тона, а ребята, почти не умолкая, ревут. Плюс еще к этому четыре голодных колхозных лошади. Они бьют яростно копытами в конюшне, изгрызли половину доски у стойла, и вот весь этот концерт-симфонию из разных голосов и тонов приходится буквально целый день терпеть. Особая программа — это утром и вечером, во время доения коровы. Несчастливая корова, которую кормят помоями из кухмейстерской, количество молока уменьшила до минимума, и вот во время дележки этих капель начинается хор исключительно из женских глоток. Корова в это время молчит, а лошади умолкают, перестают топтать и грызть, боясь, вероятно, нарушить настоящий шабаш ведьм. Но я отвлекся от своей темы. В продолжение всей ночи два раза я пробовал пойти к себе в квартиру и лечь в постель. После первого раза я был разбужен чем-то, казалось мне, ужасным. Я едва сумел натянуть свои брюки и пальто, мне казалось, что рушится дом, я выскочил, но все уже было тихо. Вдали лишь жужжал мотор, звезды блестели, да холодным порывом откуда-то несло гарью. Где-то горело. Через полчаса я снова разделся и уснул, повторилась та же история, и я уже вплоть до 6-ти утра сидел в щели. Немец, самолет, все время где-то недалеко парил и, словно хищник, выглядывал свою злополучную жертву, и снова мы слышали уже одиночные свист и взрывы недобитых ими домов, в шесть мы выползли на свет Божий.

Конец I тетради

Владимир КАТКЕВИЧ

Жуков и пианино "Гольц-Гейтман"



В южной ссылке при докладах командующим, исключительно из преклонения его не обозначали, понимая, что понижение временное, "товарищ маршал" обращались:

— Товарищ маршал, разрешите начать учение...

И он разрешал. Или разжаловал в рядовые, а потом, гневно звеня золотыми звездами, уезжал в бронированном спецвагоне Гитлера в Маркушешты.

— Успокойся, Жорик, — возможно, шептала ему медсестра Лидочка, какая корвалол, Лидия Захарова, фронтовая подруга.

Когда в 46-ом участились нападения на офицеров, квартировавших в отшибных районах частного сектора, он разрешил сначала носить табельное оружие, а потом и применять на поражение. С полсотни армейских разведчиков нарядили в лендлизовские макинтоши, обнаруженные на Карантинном молу, выдали велюровые шляпы и запустили выполнять боевую задачу. Прицельный отстрел будоражил собак, они заходились до утра, беспокоя жителей, и потому выстрелы по команде прекратили. В городе говорили, что остатки разведчики вырезали. Не прошло и месяца, и с организованным бандитизмом в городе было покончено. Обязательно присутствовавший на военных советах в мундире генерал-майора первый секретарь обкома за жуковские инициативы получил по папаше, говорят, были объяснения и у товарища маршала.

Легенды о нем, основанные на неопровержимых фактах, тиражировались лет за двадцать до анекдотов о Чапаеве.

Вот одна из расхожих. На учениях в Тирасполе дождало, и свита на командном пункте облачилась в плащ-накидки, один только полковник мок в кительке.

подряд свиста и взрывов, земля дрожала. Мы, находящиеся в щели, как живые в огромной коллективной могиле, молча, с биением сердца прислушивались и все ждали очередных взрывов. Иногда подымался плач детей, громкие вздохи и причитания, но сидящие требовали молчания, и воцарялась абсолютная тишина во мраке нашей могилы. Эта дьявольская какофония длилась вплоть до 6-ти часов утра сегодня. Трудно было пересчитать свистов бросаемых немцами бомб, но полагаю, что не меньше 20-ти. В продолжение одиннадцатичасового сидения в абсолютной темноте в неудобном положении и тесноте ломило спину и ныли ноги, да и притом желудок все-таки требовал пищи. А где ее взять? Получаемые 400 гр. хлеба чернее ночи, а по вкусу и придумать хуже нельзя, больше ничего и нет. То-ся варит стандарт, бурду, коего съедаешь одну тарелку за весь день. Утром чистый чай с хлебом, а вечером идем спать и без него. Я говорю, идем спать. Ведь последнюю неделю фактически мы и не спим. В щель приходится днем забегать по десять раз. Постоянно то тревога, то отбой, нужно быть всегда начеку.

Корова с утра и до вечера мычит на разные тона, а ребята, почти не умолкая, ревут. Плюс еще к этому четыре голодных колхозных лошади. Они бьют яростно копытами в конюшне, изгрызли половину доски у стойла, и вот весь этот концерт-симфонию из разных голосов и тонов приходится буквально целый день терпеть. Особая программа — это утром и вечером, во время доения коровы. Несчастная корова, которую кормят помоями из кухмейстерской, количество молока уменьшила до минимума, и вот во время дележки этих капель начинается хор исключительно из женских глоток. Корова в это время молчит, а лошади умолкают, перестают топтать и грызть, боясь, вероятно, нарушить настоящий шабаш ведьм. Но я отвлекся от своей темы. В продолжение всей ночи два раза я пробовал пойти к себе в квартиру и лечь в постель. После первого раза я был разбужен чем-то, казалось мне, ужасным. Я едва сумел натянуть свои брюки и пальто, мне казалось, что рушится дом, я выскочил, но все уже было тихо. Вдали лишь жужжал мотор, звезды блестели, да холодным порывом откуда-то несло гарью. Где-то горело. Через полчаса я снова разделся и уснул, повторилась та же история, и я уже вплоть до 6-ти утра сидел в щели. Немец, самолет, все время где-то недалеко парил и, словно хищник, выглядывал свою злополучную жертву, и снова мы слышали уже одиночные свист и взрывы недобитых ими домов, в шесть мы выползли на свет Божий.

Конец I тетради

Владимир КАТКЕВИЧ

Жуков и пианино "Гольц-Гейтман"



В южной ссылке при докладах командующим, исключительно из преклонения его не обозначали, понимая, что понижение временное, "товарищ маршал" обращались:

— Товарищ маршал, разрешите начать учение...

И он разрешал. Или разжаловал в рядовые, а потом, гневно звеня золотыми звездами, уезжал в бронированном спецвагоне Гитлера в Маркушешты.

— Успокойся, Жорик, — возможно, шептала ему медсестра Лидочка, какая корвалол, Лидия Захарова, фронтовая подруга.

Когда в 46-ом участились нападения на офицеров, квартировавших в отшибных районах частного сектора, он разрешил сначала носить табельное оружие, а потом и применять на поражение. С полсотни армейских разведчиков нарядили в лендлизовские макинтоши, обнаруженные на Карантинном молу, выдали велюровые шляпы и запустили выполнять боевую задачу. Прицельный отстрел будоражил собак, они заходились до утра, беспокоя жителей, и потому выстрелы по команде прекратили. В городе говорили, что остатки разведчики вырезали. Не прошло и месяца, и с организованным бандитизмом в городе было покончено. Обязательно присутствовавший на военных советах в мундире генерал-майора первый секретарь обкома за жуковские инициативы получил по папаше, говорят, были объяснения и у товарища маршала.

Легенды о нем, основанные на неопровержимых фактах, тиражировались лет за двадцать до анекдотов о Чапаеве.

Вот одна из расхожих. На учениях в Тирасполе дождало, и свита на командном пункте облачилась в плащ-накидки, один только полковник мок в кительке.

— Почему без плащ-накидки? — строго спросил маршал.
— Бесплатно она выдается офицерам всех рангов, включая подполковников, а полковникам положено покупать, — откровенно доложил мокнувший командир полка.

Маршал нахмурился и распорядился:

— Выдайте подполковнику плащ-накидку.

Стяжательство не воспринимал рефлексивно.

На выходные летал в Будаки. Туда в бывший румынский санаторий командировали взвод солдат постригать кусты и посыпать аллеи свежими ракушками. Глядел заворожено с высокого обрыва на лекала озер в кайме ярко-бордовых ископаемых растений у корня Шаболатской косы, возможно, сожалел, что усатый не позволил дойти до Ла-Манша.

В Болграде наведалься в дивизию.

— А где семьи офицеров живут? — спросил.

Семьи квартировали в сборно-щитовых казармах, от служебных помещений отделяла простыня. Некоторые осели на квартирах. Показали, где живет один, не командир батальона, а командир взвода, так он хотел. Долго

очищал щепочкой жирную бессарабскую грязь с хромовых сапог, нырнул под низкую притолоку. Лейтенант отдыхал после ночного дежурства, вскочил, как был в кальсонах, доложил.

— А почему мальчик не в школе? — спросил.

— Он нездоров, — доложил отец, — малокровие.

Маршал присел на корточки и минут пять глядел на ребенка. В камышовой крыше шуршали мыши. Потом вздохнул и поднялся, хрустнули суставы.

Через неделю в штаб Болградской дивизии фельдбегер доставил пакет. Лейтенант расписался в получении денежного довольствия на два месяца вперед и путевок в Саки на всю семью.



Дом на ул. Новосельского, где располагался штаб ОДВО

Ссылку нельзя любить, но город-то не при чем, город маршалу искренне глянулся, иначе бы не приводил его в порядок, и горожане платили ему восторженной симпатией. К десяти утра обычно надежно оцепляли улицу Островидова, где временно располагался штаб округа, пока здание на Пироговской достраивали пленные немцы. По пути следования трофейного "Опеля" собирались несметные толпы, чтобы увидеть хоть мельком живого полководца. "Опель" сопровождали машины охраны в избытке, поговаривали, что охрану специально приставили из Москвы, чтобы не убежал, и потому маршалу сочувствовали еще больше. В городе он переживал свой триумф, минуло чуть больше года после штурма Берлина, и стадный народ, похоже, простил ему ненужные жертвы.

Статный, но по-кавалерийски коротконогий, он хлопал дверцей, приветливо улыбался и спешил на службу.

— Я вижу, у вас вчера стирка была, дамские трусики, как флаги расцвечивания, — хохотнул, введя в краску стенографистку Веру Кульгину, принесшую машинописный текст его доклада на совещание.



В.С. Кульгина

Вера Семеновна квартировала напротив, в доме № 51 по Островидова, где во дворе располагались хозяйственные службы штаба округа.

История обзрима и не подвержена переиначиванию только пока живы очевидцы. Такие редкие свидетели маршальской ссылки пока еще обозначаются. Стенографистка маршала Вера Семеновна Кульгина одиноко проживает в бывших Котовских казармах по проспекту Шевченко. На каменных ступенях лестниц в этом доме выемки от каблуков сапог.

Еще до шестидесятых, до хрущевских сокращений армии, здания, похожие на крепостные рavelины, использовались по военному назначению: при построениях играл оркестр, ежедневно в шесть вечера на разводах клался затворами караул. Наверняка, бывал и он со строгими проверками.

Недавно северный флигель казарм Монкада, так их прозвали в соответствии с политическими симпатиями шестидесятых, горел, не исключено, что красный петух был заказным — казармы, говорят, приговорили по проекту реконструкции к сносу с последующей застройкой элитными многоэтажками.

Несмотря на приговор, фасад казарм судорожно и тесно обживают магазинчики.

Вера Семеновна, проживающая в десятках метров от пожарища, бережно хранит заявление на имя Командующего Одесского военного округа.

"Нач. КЭЧ. — написано убедительным маршалским почерком наискосок. — Дайте немедленно комнату Рабинович, а площадь, ныне занимаемую Кульгиной, закрепить за Кульгиной. Исполнение донести до секретаря. Жуков. 6/3/47".

Исполнение донесли немедленно в марте. Кульгину, вдову погибшего офицера, на иждивении которой находилось двое малолетних детей и матушка, больше не третировали, рукопашная квартирная схватка по жесткой маршалской команде "брек" прекратилась, конфликтующих развели по углам, жилым.

Маршал окружал себя талантливыми людьми, а Вера Семеновна была самородком редкой тогда специальности, стенографию постигала целых три года у сосланной в Кемерово вдовы Николаева, того самого, который застрелил Кирова.

— Что-то вы, Вера Семеновна, невеселы, — заметил как-то. — Случилось что?

Вера Семеновна призналась, что дети маленькие, не с кем оставить.

— Я помогу, — пообещал.

— Нашли на Комсомольской двухкомнатную квартиру, — вспоминает Вера Семеновна, — воспитательницу, а детей привели только троих, из них мои двое и еще мальчик. Офицерам не выгодно было отдавать в садик детей, потому что на них полагался паек. С детьми на руках я бы не смогла работать в его режиме.

Работал с 10 до 16. С 20 до 23 принимал начальников отделов.

Впоследствии детсадик перенесли на Пироговскую, к обрыву, где сейчас канатная дорога. На строение зарился генералитет, но любителям морских пейзажей маршал быстро дал окорот.

Однажды интендант подал конверт.

— Что там? — строго спросил маршал.

— Представительские, — доложил интендант, заранее цепенея, — для расходов на приемы...

— Что, я бутылку коньяку не могу гостям купить? — с нажимом, дырявя конверт пером, написал: "В фонд детских учреждений округа".

Неоднократно выезжала в вагоне Гитлера в войска.

— Учения, — вспоминает Вера Петровна, — маршал проводил с блеском, талантливо, еще более захватывающим выглядел их разбор.

В штабном вагоне Кульгиной полагалось. В тот день маршал отпустил раньше. Она уже засыпала, когда в половине одиннадцатого постучали.

— Где-то здесь, по слухам, утаили день рождения, — сказал маршал.

— Извините, я уже сплю, — ответила.

— Давайте будем праздновать, — поступило предложение из коридора.

На столе ее ждали цветы. Водочку маршал пользовал из большого стакана.

— Что бы вы хотели полезное в подарок? — спросил. — Пишущую машинку? Лидочка, напомни, когда я поеду в Москву.

Эту голенастую пишущую машинку свою кормилицу, Вера Петровна до сих пор хранит на шкафу. А вот пианино, по его же распоряжению жалованного, увы, нет, сохранился только наряд отдела фондового имущества ОдВО. "Пианино косоstrунка ф-ки "Гольц-Гейтман" 4 катег. 1 шт. 450 руб."

В последний раз посетил Одессу в 56-ом уже в должности министра обороны.

— Парад, смирно! — скомандовали. — Дистанция на одного линейного...

Маршал проследовал по ковровой дорожке, порывисто остановился и погладил по рыжей голове Эдика Л-го, мальчика из третьего номера по Пироговской. Автор стоял рядом, но его маршал не погладил. Эдик впоследствии был осужден за кражу крепленого вина с винзавода, что на Французском бульваре. Окна его коммуналки обращены были к винзаводу, где он с выгодой трудился грузчиком. Говорят, Эдик подавал апелляцию, даже писал маршалу, но маршал снова находился в опале, теперь хрущевской, потому пришлось мотать срок сполна.



Папина "невеста"

Детских фотографий у отца не было. Поэтому я представляю его похожим на нестеровского отрока Варфоломея, со светлорусыми волосами и синими глазами. Этот синий цвет глаз он сохранил до глубокой старости.

В этом году отцу исполнилось бы сто двадцать лет. Он родился в позапрошлом веке под Пензой. В семь лет он остался круглым сиротой. И в семь лет он пошел работать. На винокуренный завод. На заводе его обязанностью было зажигать керосиновые лампы, следить за ними, подправлять фитили. За это он получал жалованье — один рубль. На этот рубль он жил в течение месяца. Он не искал защиты в орудии пролетариата — булыжнике, а свои детские печали, свое детское горе доверял только Богу, вознося ему свои искренние детские молитвы.

Хозяин завода обратил внимание на старательного одинокого мальчика, проникся к нему сочувствием и начал его продвигать по службе, как сказали бы сейчас, давая ему все более сложные поручения и повышая жалованье.

Ни одного дня мальчик не учился в школе.

Но через какое-то время на заработанные деньги мой будущий отец смог взять себе студента-репетитора, который обучил его чтению, письму, потом азам математики, поделился знаниями об окружающем мире, то есть стал его школой, его университетом.

Получив это "домашнее" образование, уже юношей, отец окончил какие-то курсы не то бухгалтеров, не то счетоводов, как это тогда называлось. Почувствовав, что он выжил, не утонул в этом житейском море, видя в этом Божий промысел, отец смог исполнить обет, возможно, принесенный им еще в детстве.

Года за два до начала Первой мировой войны он приехал в Одессу, остановился в Андреевском подворье и отсюда отправился в паломничество по Святым местам — Афону, Синаю, Святой Земле. У меня сохранилась своя "Ветка Палестины" — Путеводитель по Святым местам, изданный Российско-палестинским обществом, с отцовскими пометками.

Он обошел пешком всю Святую Землю. Но грянула Первая мировая, и русских паломников, возвращавшихся в Россию, интернировали в Константинополе, где они провели целый год. В Константинополе тоже было Андреевское подворье, даже по архитектурному облику повторявшее одесское. Оно и стало для русских паломников убежищем. Про-

работав на тяжелых физических работах, отец смог вернуться наконец-то в Одессу, откуда пошел солдатом на Германскую войну, попав на галицийский фронт.

Повидавший Мраморное, Средиземное, Мертвое, Черное моря, он влюбился в морскую безбрежность на всю свою долгую жизнь и поэтому из окопов германской вернулся в полюбившуюся ему Одессу. В заменившее ему дом Андреевское подворье. Работал там истопником, выполнял еще какую-то тяжелую работу. Этого он никогда не гнушался.

А к церкви Андреевского подворья жались ее прихожане. Из "бывших". Со многими из них отец сохранял дружбу всю жизнь. Очевидно, тогда, в этой среде, к отцу и стали обращаться исключительно по имени и отчеству — Степан Никитич. Могу только сказать, что ни разу(!) я не слышала, чтобы отца звали иначе. Даже когда меня стали звать Валентина Степановна — мне это казалось странным; Валентина Степаникитична — мне это казалось бы естественным.

Ему уже было за тридцать, он был статен, синеглаз, в нем была какая-то внутренняя культура. Он был человек искренней веры и религиозной образованности. И эти "бывшие" приняли отца в свой круг.

Среди прихожанок были — Вера Андреевна Биллиг и ее дочь Лидия Осиповна. И знакомые стали прочить Лидию Осиповну в невесты отцу. Не могу судить, насколько продолжительными были эти усилия, но из них ничего не вышло. Но об этом дальше.

И хоть однажды какой-то хиромант предсказал отцу, что у него будет большая семья, отец отнесся к этому с недоверием, будучи не только совершенно одиноким в этом мире, но и устоявшимся холостяком.

Правда, пройдет еще несколько лет, и отец встретит свою Полечку, юную северянку, только недавно окончившую школу, круговертью гражданской войны унесенную со всей своей большой семьей "с милого севера в сторону южную".

И при всем недоверии ко всяким предсказаниям, отец понял, что слова хироманта, рассмотревшего на его руке линии судьбы (а встретились они в поезде, и рука была протянута от железнодорожной скуки), оказались вещими.

Так, вместе со своей Пелагеей Андреевной, со своей Полечкой он обрел большую родню, ее сестер и братьев, потом родились мы, три дочери. Он не чаял души в маме и в нас. И, несмотря на все лишения, все горести и невзгоды, считал себя счастливым человеком, в избытке делившимся всем, что у него было, с родственниками и друзьями. Когда он умер в весь-

ма почтенном возрасте, его, незнаменитого человека, проводить в последний путь пришло очень много людей — с тем он поделился куском хлеба, о том он помолился, для того нашел слова утешения и надежды...

А его друзья по Андреевскому подворью стали друзьями всей семьи. И среди них Вера Андреевна и Лидия Осиповна. Какие-то семейные предания были известны и нам, детям, потому что часто мы встречали отца словами: "Папа, приходила твоя "невеста!". Лидия Осиповна крестила мою сестру Таю, которой коснулось княжеское происхождение крестной матери.

Дело в том, что Вера Андреевна Биллиг в девичестве носила фамилию Волконская. Она принадлежала к знаменитому княжескому роду, была родственницей Льва Толстого. Я помню ее в первые послевоенные годы — хрупкую пожилую даму, в неизменной шляпке. Помню разговоры за нашим столом о Толстом. Вера Андреевна и гордилась своим великим родственником, и страдала из-за его отлучения от церкви.

В моей памяти сохранился какой-то пасмурный день, когда в слезах прибежала Лидия Осиповна: скончалась Вера Андреевна. Моя мама сняла со стены наш простенький ковер, чтобы постелить под гроб. Так княжну Волконскую в последний путь провожали мои родители.

Лидия Осиповна осталась одна. Опять же из семейных преданий — она уже собиралась выйти замуж, но началась война, и ее жених погиб то ли в гетто, то ли на фронте. (Кстати, об отце Лидии Осиповны говорили, что он был немцем, военным морским капитаном. То ли он погиб на Первой мировой, то ли, подобно булгаковскому Тальбергу, ушел со своими — неизвестно. По-моему, толком о его судьбе не знали мать и дочь.)

Часто меня посылали с какими-нибудь скромными гостинцами навещать родительских друзей, старичков и старушек, какими они мне казались в моем детском возрасте, — здоровы ли они, что-то давно не приходили! (Телефонов ведь не было.) Признаюсь, что я с удовольствием исполняла роль гонца. У Филипповичей меня усаживали за круглый стол, на который ставилась мамалыга или картошка, — но сервировка! Столовые приборы, лежавшие на серебряных подставочках, кольца для льняных салфеток — все это приводило меня в восторг.

Жившая в полутемной то ли бывшей дворницкой, то ли бывшей прачечной, Мария Мироновна, певшая в прежние времена на оперной сцене, рассказывала о Париже, раскладывала передо мной старинные фотографии...

Лидия Осиповна принимала меня в своей "гостиной" — в пустой ком-

натенке, в которой стояли два стула и какой-то комодик с зеркалом над ним. Во вторую комнатку, бывшую спальней, я никогда даже не заглядывала. Мне кажется, что у нее не сохранилось ничего, напоминавшего о ее прошлом. Никаких материальных свидетельств. Но...

Однажды я пришла к Лидии Осиповне, и почему-то после традиционных расспросов о житье-бытье мы заговорили о Пушкине и о "Евгении Онегине". Очевидно, я училась в восьмом классе, когда "проходили" в школе Пушкина. И, несмотря на то, что онегинские строфы я знала наизусть, но, увы, несла чушь, вбитую в голову советской школой.

Лидия Осиповна терпеливо (теперь я понимаю — с сожалением) слушала меня, а потом, когда я иссякла, произнесла: "Валечка, но как Татьяна могла написать такое письмо Онегину?! Девушки нашего круга такого себе не позволяли!". И я от этих слов застыла, как все герои "Ревизора" в немой сцене.

Она стояла, опираясь, на комодик, в нищенской комнатенке. Эти слова о "девушках нашего круга", были ее столпом веры, ее княжеским наследством...



ПРОЗА

Сергей РЯДЧЕНКО	
Человек для субботы	73
Григорий РОЗЕНБЕРГ	
Камера-обскура	158
Родион ФЕДЕНЕВ	
Фрегат	171
Дуня ЕЛЕНСКАЯ	
Два рассказа	192

Сергей РЯДЧЕНКО

Человек для субботы феерический недосказ об исчезнувшем междустрочье

...одно знаю, что я был слеп,
а теперь вижу.
Иоанн, 9, 25.

Какое-то время ему еще было тридцать пять, тридцать пять, а потом сразу стало сорок девять.

Он выбрал субботу подождливей, когда на улице трудно встретить знакомых, и отправился в ателье, где с добросовестной склочностью настоял, чтобы заказ выполнили сразу, в его присутствии; и на его знаменитом не меньше, чем он сам, абсолютно сером пиджаке появились овальные налокотники из принесенной им замши темно-коричневого цвета.

— Что называется! — сказал лысый портной, похожий на ленинградского Розенбаума. — Из шкуры заказчика! — сказал он и пошевелил усами; даже в эту дождливую рань, даже после проигранной склоки портной пребывал в добром расположении духа, потому что он хорошо с женой выспался, хорошо исполнил первую на день мысль, и мысль была хороша, а не наоборот, и позавтракал с рюмочкой, потому что завтра ж воскресенье, потому что портному нравилось, что он портной, а его работу можно было увидеть и потрогать, ее можно было надеть и носить.

— Говорю вам, — сказал он между прочим, — одесситом Он был, это точно вам говорю. Они к Нему, чтоб голову морочить, а Он им вопросом на вопрос: "Человек для субботы или суббота для человека?". Ну, что тут еще скажешь.

Кравченко пожал плечами, что было ему несвойственно.

— Ну, а они? — спросил Кравченко, и уж, что он в это вложил, разужнать можно только у него самого.

— Что, они? — не понял портной, а потом счел это тонкой хохмой и от души рассмеялся. А после, переводя дух, даже сверкуче покивал с умным видом, уразумевая: — Эх-хе-хеее.

Из ателье Кравченко отправился на службу и к двум часам пополудни прочел и почеркал зеленым, синим и красным пятисерийную версию "Копей царя Соломона", шестой вариант телеэпопеи о коллективизации и двухсерийный боевик для проката о подвигах чекистов в восемнадцатом году на юге Украины.

Каждый час он вставал из-за стола, приседал, кланялся и, откинув со лба чуб, останавливался, запыхавшись, у зеркала: седовласый, черноусый, голубоглазый, с румянцем во всю щеку. Ай да главный редактор!

Ровно в два часа дня Кравченко сложил прочитанное в стопку и отодвинул на край стола, а непрочитанное — в другую стопку и отодвинул на другой край. Теперь между массивным пресс-папье с бюстом Эйзенштейна и письменным прибором с перекидным календарем остались лежать две вещи — сценарий Ледоходова и режиссерская разработка Пети Тропинина. Читанные ранее, они лежали перед Кравченко, дожидаясь скорого разговора с двумя очень разными людьми. Кравченко не стал их куда двигать, накрыл газетой, плеснул кофе из термоса в пластмассовый стаканчик — были чашки, но ему нравился запах нагретой пластмассы, — и развернул бутерброд, один с сыром российским, а другой с куриной котлетой, а третий он не смог разобрать, с чем, снял трубку телефона и энергично набрал номер, прокашлялся.

— Послушай, дорогуша, что это ты мне тут намазала?.. Что кипрское?.. Повидло?! Кипр не выпускает повидла! Кипр производит джем... Нет, не все равно, тысячу раз нет!

— Джем, — вздохнула жена. — Джем-джем-джем.

— Ну так так и говори! Кушать же невозможно, черт побери, если не знаешь, что это такое. Джем, а не повидло!

— Теперь знаешь? — сказала жена. — Приятного аппетита.

Кравченко швырнул трубку.

— Дура, — сказал он.

Жена вернулась на кухню, села к чистому столу и продолжила писать письмо сыну в армию.

Каждый кусок своего обеда Кравченко, прежде чем проглотить, жевал тридцать два раза, а газеты читал подряд и опрометью, имея к тому немалый навык, и еще успевал поглядывать на приглушенный экран субботнего телевизора. Телевизор стоял у дальней стены просторного кабинета, справа от двери, там, куда в памятную ночь он сам себя и поставил. Громоздкий ящик с хрипотцой и экраном навывкате. И ведь не был Кравченко суеверным, а этого состарившегося уродца на нелепых ножках почитал за знамение свыше и не позволял даже ремонтировать. Он и Скиталец простил его недавний успех только в угоду памяти о том чудодейственном землетрясении, хотя сам по себе факт, что Скиталец, продержавшись столько лет, не сломался, не пошел ко дну, а довел таки до конца свою ду-

рацкую затею, этот факт был вопиющим и требовал немедленных комментариев. "Уму непостижимо", — сказал Кравченко, оказавшись в Москве на премьере; он посмотрел картину от начала до конца, потому что был профессионалом и смотрел все, и ни разу в жизни не позволил себе покинуть зал во время показа. "Это что ж за такая акция?!" — вопрошал он, с ужасом убедившись, что "*Скиталец*" целиком снят по тексту 1970 года без каких-либо купюр или поправок, будь то в угоду злободневности или еще чему. "Не паникуй, — сказал ему Покровитель. — Зорче будем". Картину приняли на ура и положили на полку.

Кравченко любил работать по выходным. Он вообще не понимал, кому и для чего они нужны. Досуг длиною в целый день, а то и в два, представлялся ему тяжелым пережитком царского времени, и он свято верил, что рано или поздно мы избавимся от него со всей революционной беспощадностью. А пока этого не случилось, Кравченко сам трудился ежедневно и другим покоя не давал. Обожал, как смотрят на него вахтеры, когда он проходит пустынным субботним вестибюлем и без особой одышки поднимается к себе в кабинет. Любил постоять в приемной без секретарш и суеты, один, среди зачехленным пишущих машинок, и иной раз даже произнести негромко, но веско, какие-нибудь слова, на которые в будний день тоже мог бы, пожалуй, отважиться, но вот сыскались ли бы они ко времени, это еще вопрос.

Телепередача была рыхлой, и Кравченко ее мысленно перемонтировал в нескольких местах. Пришлось.

Газеты являли больший профессионализм, и Кравченко это отметил, хотя и без удовольствия; стройной драматургии сегодняшнего дня из газет не складывалось. То, что прежде Кравченко уверенно отыскивал между строк, теперь куда-то пропало. Кравченко дочитывал уже шестую газету и с тоской чувствовал, как растет внутри и вокруг него пустота. Спасительное междустрочье, ради которого он без малого три десятилетия следил за прессой, междустрочье, такое необходимое всем, кто положил себе за правило без уныния и лени быть активным среди противоречий огромного общества, путеводное и насущное междустрочье, посылавшее каждодневно невидимые сигналы Кравченко и его соратникам, дарившее бодрость и индугенции, направлявшее мысли и дела по единственно верному генеральному фарватеру, это самое междустрочье в ту дождливую субботу не прочитывалось, хоть убейся. А прочитывалось лишь то, что было набрано шрифтом и уложено в строки. Но Кравченко был бы не Кравченко, если бы поверил, если бы не почувствовал, что здесь кроется какой-то подвох.

Силища, которой он служил, исходила с такого высока и была такой необоримой, что сливалась в его представлении с абсолютной истиной, а абсолютная истина не может вот так взять вдруг и умолкнуть.

— Просто замаскировали, — укоризненно сказал Кравченко газетам и вдруг сообразил, что сбился в подсчете жевательных движений. Он притих и задумался. Если двадцать девять, рассуждал он, тогда осталось три раза, а если двадцать восемь, тогда четыре. Он решил не рисковать — раз, два, три, четыре, пять и шесть, — и только после этого проглотил очередную порцию сыра, хлеба, куриного мяса и кипрского джема, которые под действием его упрямых челюстей и активной слюны превратились в однородную кашницу, готовую для усвоения его вполне здоровым и вместительным желудком. — Замаскировали, значит? — Кравченко хлебнул остывший кофе и причмокнул. — А зря, братцы, ой, братцы, зря. Так у нас ничего дельного не выйдет... А может, шифр новый изобрели? Покрепче прежнего? Тогда надо искать ключ... А то истопчемся. Заблудимся. И накажут нас...

Привычка разговаривать в одиночестве, обращаясь к вымышленным оппонентам, к предметам мебели и туалета и к самому себе, эта привычка была многолетней, старше серого пиджака. Она успокаивала, порождала порядок из хаоса. Вот и сейчас Кравченко, высказав сакраментальное "и накажут нас", обрел во мгновение ока почву под ногами и стал недосыгаем для всяких невразумительностей. Он снова твердо сидел на незыблемой глыбе, на тектоническом ките, и было там высечено во всю ширь на все времена — **ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ**. Это Кравченко помнил наизусть: быть наказанным он ни за что не желает. А желает он быть оцененным по заслугам, и лучшая награда ему — незыблемость в кресле; но как раз ее-то, как говорится, ни бог, ни царь и ни герой — сражаться за нее надо день изо дня, с утра до ночи.

Кравченко вздохнул и, не сбиваясь больше с тридцатидвухтактного цикла, дождался обед и завинтил термос.

Не глядя на экран, чтобы не пришлось снова переделывать чужую работу, Кравченко бочком приблизился к розетке и выдернул штепсель.

Затем он прошелся по кабинету.

Где бы Кравченко ни был, — дома, на улице или в командировке в столице, — он любил свой кабинет и часто, прикрыв глаза, представлял его себе смачно, во всех подробностях. И даже сейчас, разгуливая по кабинету, он представлял его себе, свой кабинет, не таким, каким тот был на самом деле, а таким, каким он себе его представлял, и что тут правда, а что нет, сказать не берусь.

У зеркала Кравченко упер ладони крест-накрест в подложные плечи серого пиджака и полюбовался налокотниками из темно-коричневой замши. Не опуская рук, он произнес в зеркало такие слова:

— Не вовремя, ох не вовремя, Сулеймен Янович, приспичило вам гражданской дерзостью щеголять! За вас наша студия в ответе. А студия вас, уважаемый, никогда не обижала...

Кравченко поморщился от жужжания уважаемого и обижаемого и сказал так:

— Никогда не подводила. Что, разве неправду говорю? То-то и оно, что правду, и одну только правду!

Он выдержал паузу и отредактировал: убрал "одну", осталось "только правду!", а то можно подумать, что у него дефицит этих самых правд, одну сказал, а больше нету.

— Зорко, — похвалил он себя. — Ничего не скажешь. Только правду!

Хвалил он себя по-деловому, без всякой фанаберии.

Отношения Кравченко с Ледоходовым складывались из такого количества тончайших нюансов, что постичь их разумом не представлялось никакой возможности; их требовалось зубрить перед каждой встречей и следовать им на высоком интуитивном уровне. Ледоходов был не просто старым заслуженным сценаристом. Он был старым заслуженным *московским* сценаристом. И эта пикантная особенность, упрощая многие сложности, делала сложным то, что просто.

Кравченко встряхнул руками, изменил выражение лица и сказал зеркалу грубо, по-отечески:

— Ты вот что, Тропинин, смотрел вчера твой материал. Да. Галимат-НЯ! Всё галиматня, да. Всё пересними. Понял? Ты не Бергман, понял? Не Ингмар. Ты не Феллини, понял? Не Федерико. Нет. У тебя кино о чем? О! То-то и оно, что о современном, о молодом, но! о на-шем, а не об ихнем. Мракобес он у тебя с буги-вуги на мотоцикле...

Кравченко перевел дух. Последняя фраза пришлась ему по душе. Он ее повторил, прислушался, и, обратившись к зеркалу с вполне понятной доброжелательностью, сказал:

— Молодец, Кравченко!

А потом, опробывая новую интонацию, закончил:

— Уяснил, Тропинин? Давай, будет тебе паясничать, делай, переделывай, показывай...

Поздно, ничего Тропинин не будет переделывать. В этом Кравченко был уверен и потому не волновался. С Тропининым ясно. Дважды он его

уже провалил, провалит и в третий. Уничтожит. Слишком опасен — бессовестно молод и упрям. Крепкий орешек. К таким Кравченко был безжалостен, давил, ломал, переводил в разряд тех, кому можно дать или не дать последний шанс. Три списка было у Кравченко. Один так и назывался ОРЕШКИ, пополнялся редко, Кравченко из него вычеркивал. Второй был озаглавлен ОТСТОЙНИК, а третий — НОРМА; фамилии двух последних иногда менялись местами. На людях из третьего списка держалось все производство. Они работали без экивоков, а чуть хуже, чуть лучше — значения не имело. Искусство создавалось в Москве, и не всеми, а короткой обоймой избранных. А тут, где Кравченко, кино надо было делать, как надо, а не как кому в голову взбредет.

Изобразив на лице нечто новое, Кравченко произвел телом танцевальное па и пропел:

— Евочка-девочка, это я, можно к тебе? — и послал воздушный поцелуй.

Наконец он отпустил из зеркала свое изображение и вернулся к столу. Основательно устроился в кресле и принялся придумывать себе свое мнение по поводу прочитанных сегодня сценариев на основе прочитанных за всю жизнь газет. Пропавшее междустрочье вновь обеспокоило его. Он прикрыл глаза, добился внятного ощущения тяжести и тепла в ладонях и легкости с прохладой в голове. Вспомнил совет Покровителя: "Не паникуй. Зорче будем", — и заглянул в словарь русского языка: *копи, -ей* (устар.) *Сооружение для подземной разработки полезных ископаемых, рудник.*

— Та-а-ак, — протянул Кравченко. — Значит, не копи Соломона, а царские рудники. Этого еще не хватало!

Размышляя таким внятным образом, он принялся делать записи в крепко скроенном увесистом блокноте. Этот блокнот ему подарил один странный человек, приятель Скитальца; как ни крути, а все, что связано со Скитальцем, было странным, необычным, манило; Кравченко знал, что там его погибель, сопротивлялся, но подарки принимал с радостью. В ночь после землетрясения он случайно подглядел другую жизнь, испугался своего ликования и, чтобы не порушить наработанную философию, решил осознать себя частью всеобщего бытия: одни здесь, чтобы создавать, другие, чтобы корректировать, а все остальные — жадно требовать хлеба и зрелищ; они и получают приправой к своему ломтю результат единства и борьбы первых двух противоположностей. Я с ними, с первыми, размышлял Кравченко, с этими чудаками, один, но я им, психам этим, противоположен. Они нужны мне, чтобы я был нужен. Рождайтесь, фор-

мируйтесь, чудахте, а остальное — за мной. Я позабочусь. И все же пробудившийся интерес к Скитальцу, к его друзьям, ко всем странным людям Кравченко считал в себе нездоровым. Грешок завелся, говорил он, маленький, но грешок, и оправдывал его профессиональной необходимостью и марксистско-ленинской диалектикой. Человек, подаривший блокнот, много лет проработал по разным границам, никогда не рассказывал о себе, зато был неисчерпаемым кладом свежих анекдотов. От него исходил устойчивый дух оптимизма. Он на удивление здорово разбирался в самых неожиданных вещах, в том числе и в кино, поносил Кравченко и его коллег и с удовольствием посещал закрытые просмотры, куда неизменно являлся с очередной дамой сердца и представлял ее как свою дочь — они и вправду все были чем-то между собой похожи. Потом у него вышли какие-то неприятности, и он отправился то ли на пенсию, то ли в какую-то тьмутаракань, а блокнот продолжал служить Кравченко верой и правдой и доставлял неизбывное эстетическое наслаждение — он был в черном гладком, под кожу, переплете, он был пухлым и увесистым, его приятно было трогать и взвешивать на ладони, чувствуя основательность записанных в нем соображений.

Если пиджак Кравченко киностудийцы называли просто Пиджак, и все знали, о чем идет речь, то блокнот в кулуарах именовали более определенно — Черный Ворон. Кравченко знал почти все, что говорили о нем, — и в кулуарах, и в кабинетах, и дома на кухне, — знал и не обижался. Ибо постиг, что люди есть существа слабые, заблуждения и неблагодарность суть натура их. Люди требуют постоянного редактирования, вот и все. Для того он, Кравченко, и пришел на землю, для того и трудится тут, не жалея ни себя, ни других. Ради торжества гармонии, говорил он, во имя великого равновесия идей! На чем бы Кравченко ни настаивал, что бы ни запрещал, за этим всегда стояло его природное стремление сохранить любой ценой равновесие, не дать системе покачнуться, а то ведь все полетит к чертям, и потом, когда мир будут собирать заново, есть риск обнаружить себя среди лишних осколков. Вот как тут все устроено на второй, нет, на третьей от Солнца планете. И потому Кравченко не обижался, Кравченко редактировал.

Он посмотрел на листок перекидного календаря. Суббота. Март. 198....

Да-а, середина восьмидесятых, что тут скажешь; если такая середина, то как же дальше? Дальше как?

— Шифр, — сказал он. — Нужен ключ. Тогда поглядим...

А пока что никаких "Копей". Никаких царей и Соломонов. Вычерк-

нуть. Поверх зачеркнутого он размашисто намалевал коричневым фломастером рабочее название "Зулусское сокровище". Вот так. Очень даже рабочее. Комар носу...

В приемной зазвонил телефон. Кравченко в кабинете снял трубку.

— Да. Вызывал такого. Пропустите, будьте любезны, дорогая.

И закончил мысль:

— Не подточит.

Обожал он работать по выходным. И с текстами, и с людьми. Тексты как тексты, а людей он вызывал, им он назначал, и они могли попасть к нему в субботний кабинет только после проверки документов и унижительного ожидания, чем закончатся телефонные переговоры невоспитанной охранницы с главным редактором.

Кравченко достал из стола и поместил в левую ладонь эбеновую трубку, подарок одного странного человека, с которым он свел знакомство лет пять тому в Пицунде; в прошлом капитан дальнего плавания, он стал режиссером в сорок один год, и первый же его фильм перенес его из категории начинающих режиссеров в категорию режиссеров опальных. Одни потом говорили, что он уехал, другие — что застрелился, мало ли что говорят. С горизонта он исчез, а трубка осталась. Ох, уж эти странные люди.

Кравченко убрал со стола газеты, с грохотом положил перед собой подшивку указов Госкино и терпеливо слушал, как в приемной кашляет и дудит в платок старый заслуженный москвич Ледоходов. Ледоходов постучал.

— Да-э-э, — Кравченко принялся листать подшивку. Дверь приоткрылась, и Ледоходов с порога пробормотал что-то вежливо-вопросительное, примерно так:

— Добрый день, вызывали? Добрый день?!

Кравченко устремил на Ледоходова задумчивый голубой взгляд и, не отнимая от зубов эбеновой трубки, сказал устало, почти шепотом:

— Вы, Сулеймен Янович, разденьтесь в приемной, уважаемый, мы с вами не на вокзале, нет.

Ох, нюансы, все нюансы, все эквилибристика — по натянутой струне хамства над бездной задушевности.

Ледоходов в приемной снял черный пузатый тулуп с мохнатой шапкой, сделался тощим и подвижным и, опережаемый сиплым дыханием, вернулся в кабинет, потирая уши, быстроглазый, длинноносый, в стеганых ботах и очень пожилом костюме фабричного производства.

Кравченко снисходительно хмыкнул: человек продает по три сценария в год, а одевается, как собиратель пустых бутылок — прием не нов, как и сам отечественный кинематограф, — мол, возьмите сострадание к сироте убогому, не дайте пропасть, а дайте денег по договору, и не мало, а много, и не потом, а сейчас. Московский Ледоходов, торгующий сценариями на периферии, это особая, ни на что не похожая профессия.

Кравченко совершил экономный, не лишенный изящества жест (да здравствуют зеркала!), указав трубкой на один из двух стульев, придвинутых вплотную к невысокому столику для посетителей, который, в свою очередь, упирался в нависавший над ним стол главного редактора. Стул справа был скрипуч и шаток, стул слева тих и обыкновенен. На него и указал Кравченко.

Ледоходов поспешно сел и, продолжая тереть уши, остановил свой неприкаянный взгляд на медном Эйзенштейне. Кравченко зажал бюст великого мастера в кулаке, и Ледоходов был вынужден поднять глаза и посмотреть в лицо главному редактору. Кравченко прокашлялся, припоминая свою речь перед зеркалом.

— Ну были бы вы, Сулеймен Янович, скажем, писателем, членом Союза писателей, так и расхлебывали бы сами бы все, что ни напишете. Так нет же, нет, уважаемый, вы, уважаемый, сценарист, да, и притом сценарист уважаемый, — за вас наша студия в ответе, а вы что же? Опять, выходит, нахамили, — Кравченко потрепал по заглавию ледоходовский сценарий, распухший, нахохлившийся от заложенных в него цветных карандашей. — Кому, позвольте спросить, вы дерзость свою являете?! Правительством вас читать не станет, а мне эти ваши так называемые обличения социальных несовершенств, простите, уже вот где! — Кравченко громко похлопал себя по шее. Хлопки выпорхнули из-под его ладони неожиданно звонкими, почти веселыми, и Кравченко тут же мысленно их отредактировал в сторону большей солидности, этакой монументальной классической гулкости, но это мысленно, а наяву уж вышло, как вышло.

— Видите ли, Юлий Вадимович, — проговорил Ледоходов, убедившись, что его партия, пора вступать, и голос у него оказался, в свою очередь, неожиданно низким, — вот бы Кравченко лупить себя по шее в таком регистре, да? хорошо бы, — а неглаженный Ледоходов и впрямь звучал, представьте себе, басовито гулко и басовито глухо в одночасье, — вот же ловкач! — но не так, как если бы он говорил, скажем, в бархатную портьеру, а совсем иначе, как если бы он обращался к Кравченко сквозь старую стенку из потемневшего кирпича; такие кирпичи для строительства бога-

тых или особо престижных зданий в начале века привозили к нам в город корабли из Неаполя, и каждый кирпич был завернут в вощеную бумагу, и на каждом стояла крупная печать во славу труда и замысла. Случись, что в этом месте нашей повести читатель воскликнет: "Помилуйте, да причем же здесь кирпичи?!", рассказчик окажется в затруднении и сможет ответить лишь весьма приблизительно: у Ледоходова бас, а кирпичи из Неаполя, Неаполь в Италии, а в Италии "Ла Скала", где, как известно, только и делают, что ставят оперы и поют, поют их на разные голоса, в том числе и басом, круг замкнулся, бас — бас! а кирпичи где-то посередине. Но читатель искушен, и такое формальное объяснение его вряд ли устроит. И тогда рассказчик вынужден будет отважиться на полную откровенность и сознаться, что первопричиной лирико-кирпичного отступления явился искренний порыв, толкнувший нас прочь из кабинета главного редактора на улицу под холодный дождь, который сделал яркими не похожие друг на друга крыши домов, отмыл узоры кованых решеток и придал блеск надежно сплоченной брусчатке бульвара, а затем все тот же необоримый порыв заставил нас свернуть в Кирпичный — кстати сказать! — переулок и выйти на обрыв над морем и взглянуть на шторм до самого горизонта, вдохнуть его соленый пенистый простор и подумать разом о всех проплывших тут кораблях и о людях, которые правили этими кораблями, и о других людях, которые жили на берегу, растили детей и воевали врага, пахали землю и сеяли хлеб, тачали сапоги, шили одежду, возводили дома, писали книги и сажали деревья. Вдохнуть простор и озариться на миг смыслом безграничного бытия. Не спрашивай больше ни о чем, досточтимый читатель, ибо рассказчик уже, хотим мы того или не хотим, возвращает нас в кабинет и намерен, собравшись с духом, досказать нам историю о главном редакторе Кравченко, не погрешив перед истиной и не отступая впредь от известной ему череды событий. Последуем за ним, ведь глупо, отправившись в путь, вернуться с полдороги.

— Не в оправдание, — прогудел Ледоходов, — а фактически... Ваш покорный слуга, — он кратко кивнул коротко остриженной головой, — слуга ваш покорный, *тиша*, — он выделил это слово, взойдя ради него на баритон, — *тиша*, — повторил он и сошел к прежним вибрациям, — прежде всего озабочился усилением остросюжетности, а не бичеванием кого-то или чего-то. Я, извольте видеть, уже не мальчик, а и помоложе был — фрондерством не прельщался. Наоборот, никогда себе не позволял.

— И все же на старости лет позволили, — Кравченко, зажав трубку в зубах, полистал сценарий по заложенным карандашами страницам. —

Откуда, черт возьми, ипподром? Почему вдруг ипподром? И что это за люди тут шастают, они у вас кто, букмекеры подпольные? Болты они в томате у вас, вот кто, а не букмекеры! Вы бы еще, прошу прощения, публичных девок сюда нагнали и — туда же их! в забег их по дорожке! По беговой! А что? Долбать-то будут Кравченко, а не Ледоходова.

— Ну зачем же так утрировать, Юлий Вадимович?! Кстати, о проститутках сейчас пишут.

— Да пускай они делают, что хотят! — в сердцах воскликнул Кравченко.

— Кто, проститутки?

— Те, кто пишет, — отчеканил Кравченко, поднялся из кресла и, приложив к груди левую руку с трубкой, заходил по кабинету. — Вы что же, Сулеймен Янович, хотите сказать, что не видите разницы между тем, что пишут, и нашим с вами самым массовым, самым важным из всех искусств?!

— Этого я сказать не хочу, — прогудел Ледоходов и дунул в платок на разные голоса, куда там шотландской волынке.

— Формировать должны! Воспитывать! А не колоть сердца злобой правдой, — Кравченко вернулся в кресло. — Еще такой ракурс. Вы, уважаемый, эту правду, эту самую, так называемую, хоть раз в глаза видели? Она что, вся на ипподроме? Вы ж наверняка в трамвае, милочка моя, не ездите, а вот кичитесь какой-то лошадиной экзотикой. Ну разве ж это типично? Нет, говорю вам, неправда ваша правда.

— Ну почему? — сказал Ледоходов. — Езжу в трамвае. Зимой как раз за руль не сажусь, скользко, знаете, не обучен, а в метро мне, покорнейше прошу, дышать не дышится. Так что как раз трамвайчиком, извольте, очень даже.

— Прекрасно! — зловеще подытожил Кравченко. — И кого же вы, Сулеймен Янович, видите в том трамвае? А? Одних только букмекеров долбаных с шантрапой и проститутками? В трамвайчике! Одних только блядей всяких со всякими уркаганами?! Просто замечательно!

— Во-первых, в моем сценарии проститутки нет. Во-вторых, в трамвае, дорогой Юлий Вадимович, там одна публика, на ипподроме другая, под рестораном "Интурист", извольте видеть, третья, а...

— Ладно! — Кравченко стукнул кулаком по столу и сломал желтый карандаш. Ледоходов вздрогнул, желтая щепка застряла у него в волосах. — Вернемся к нашим баранам. Похерили вы, Сулеймен Янович, уважаемый, собственную заявочку, удалились от нее на дистанцию, прямо скажем, непозволительную. Положа руку на сердце, — Кравченко прицелился трубкой Ледоходову в грудь, — замечу вам не как главный редак-

тор, а просто как читатель с большим опытом, как старый добрый читатель, вам в этих обличениях изменяет и чувство вкуса и чувство меры. Да, да. Пускай это плеоназм, — это слово Кравченко уж произнес так произнес, — плеоназм, пускай, но именно так — ни вкуса, ни меры! С какой стати вдруг эта дикая, дьявол нас забирай! сцена в милицейском участке?

— Позвольте, — сказал Ледоходов и проволынил носом в платок пошотландски. — Позвольте. Это, смею утверждать, планомерное и, смею полагать, профессиональное развитие сюжета. В заявке я указывал, что героя по ошибке арестовывают, спутав его с хулиганом на дискотеке.

— Вот именно! По ошибке. Спутав. Давайте условимся: как спутали, так и распутали, а? Видят — ошибка, извинились и отпустили.

Ледоходов приложил к вискам указательные пальцы и стал задумчивым. Кравченко внимательно посмотрел на него, заподозрил, что тот готовится грюкнуть дверью и сыграть оскорбленного автора, перестал ломать карандаши и тоже принял задумчивый вид.

— Ну, если вам так уж нужен конфликт... Я и сам чувствую, что здесь что-то такое требуется.

— Вот видите, — уныло пробасил Ледоходов.

— Тогда давайте без извинений.

— Так лучше, — Ледоходов протрубил в носовой платок.

— Повезут его в машине, — сказал Кравченко строго, по-отечески. — Но до участка не довезут, не надо участка. Стой! Скрип тормозов. Выходи! Понимаете? Давай, давай, парень, иди, ошибка вышла. Р-р-р-р-р! и укатили. А? И оскорбленный герой бредет по ночному Ленинграду...

Ледоходов вскинулся так резко, что где-то что-то хрустнуло.

— Почему по Ленинграду?

— Подумайте, Сулеймен Янович, — сказал Кравченко, смягчаясь, — может быть, все-таки можно его туда как-нибудь... Его должна спасти красота. Понимаете? Он идет по ночной колыбели революции, а кругом красота, и историческая, понимаете, и какая вы хотите. И герой проникается пониманием ничтожности, понимаете, своей обиды, видит наконец всю незначительность того, что с ним, понимаете, приключилось, в сравнении с нашим, понимаете, историческим прошлым, в масштабе всего, что у нас было, понимаете, есть и будет. А? Понимаете?

У Ледоходова на лице отразился ужас пополам с натужным, непритворным желанием уразуметь главного редактора и выстоять под напором его закусившей удила фантазии. Ледоходов перестал трубить в платок, хрустеть и покашливать, он больше не стрелял по кабинету глазами, а неотрыв-

но теперь смотрел на Кравченко, который, отбросив трубку, одной рукой ерошил седую шевелюру, а другой, ухватив за бюст медного Эйзенштейна, утюжил тяжелым пресс-папье свой стол и лежавшие на нем бумаги.

— Но нет! — воскликнул Кравченко вдохновенно. — Что-то не дает нашему герою покоя, тревожит, мешает слиться с гармонией. Проникнуть. И тогда, случайно, он столкнется лицом к лицу с тем хулиганом из дискотеки, помните — он и там хулиганил, он и тут, нетрезвый, оскорбляет священную тишину исторической набережной похабными куплетами. Наш герой его задержит, да, интернирует, обезвредит, свяжет и доставит в участок. Вот вам и участок, только внутрь не надо, пожалуйста. Оставит его на пороге, вот так, с запиской: "Вот, мол, тот, кого вы искали на дискотеке". И подпись: "Тот, мол, кого вы с ним спутали, но кто на вас, мол, не в обиде, и все такое, а напротив — всегда готов оказать содействие!". Вот такая записка. Нажмет кнопку звонка и уйдет в ночь. Только слышно, как за спиной истошно хрипит хулиган: "Дяденька, отпустите, я больше не буду-у-у-у-у!". А потом все тихо. И теперь уже герой шагает по колыбели в совершенно другом настроении. Знаете что? Наверное, имеет смысл преклонить колени.

— В каком смысле?

— В том смысле, уважаемый, что грядет тысячелетие крещения Руси-матушки. Мнение, насколько могу судить, все больше формируется в сторону того, что, хотим мы или не хотим, а тысячелетие это самое следует, в известном смысле, уважить.

— Помилуйте, Юлий Вадимович, да причем же здесь мой сценарий?!

— Минуточку, — сказал Кравченко. — Герой преклонит колени и поцелует гранитные плиты набережной. Улавливаете? Он не на икону молится, а гранит целует. И это на фоне адмиралтейского шпиля, символа, так сказать, могучей государственности. Мы же не попы с вами, так сказать, какие-нибудь, верно? нам же никуда с вами, согласны? не надо отделяться, правильно? Тут и вера, и атеизм разом, в едином порыве! А, ловко? А рядом течет река, как символ вечной жизни. И тут же гранит, символ народного созидания. А там шпиль адмиралтейства — символ символов! Вот как мы с вами поклонились. Наш народ, великий народ, он непокорную стихию жизни заковал в гранит, а сам сбросил с себя оковы, воздвиг шпиль и воспрял духом на вечные времена. И герой наш тоже воспрял!

— Замечательно! — сказал Ледоходов, трубя в платок и заражаясь кравченковским азартом. — Пусть Павел здесь тогда Пушкина продекламирует. Коротко, без назиданий, для души.

— Какой еще Павел?
— Ну, Павел. Герой мой. Наш герой.
— Не думаю, — сказал Кравченко и снова взял трубку. — Павел, говорите?... Нет, не надо сюда ни Пушкина, Сулеймен Янович, ни декабристов. Будем откровенны, Сулеймен Янович, не все ж с ними еще ясно. Мы и так тут с вами по лезвию бритвы. Согласны? Но, если спросят, мы готовы: вера в народ. Кстати, — в отличие от декабристов, да... Но конструктивное в ваших словах имеется. Пусть он запоем, только не чье-нибудь, а свое. Давайте я свяжусь с Рождественским. Роберт Иванович мне не откажет.

— Ну зачем? — сказал Ледоходов. — Песню я и сам могу написать, если надо. Здесь река течет, бам! здесь гранит лежит, бам! здесь рассвет встает, бам! жизнь идет вперед, бам!

Ну, чем вам, честно, господа, не Ла Скала.

— Я тоже могу, — сказал Кравченко холодно. — А впрочем, воля ваша. Ваше дело сочинять, мое — вычеркивать, — он мягко, на три такта, рассмеялся. — Ха. Ха. Ха, — Пауза. И еще три такта: — Ха, ха, ха.

Ледоходов в поддержку закашлялся.

— Прodelал вашу работу, — улыбнулся Кравченко. — Расхожее мнение: редактор потому и редактор, что сам-де придумывать не умеет, сочинять-с-с-с. А я вот с вами развдохновенился. Глядите, сколько наворотил! И ракурс новый появился, и проблемность. И без всяких там этих "я обвиняю, а вы уж как хотите!". Нет! Мы созидаем, вот как оно теперь. Мы оптимисты, хоть и трудно нам, а все же. А все же! Верно?

— Юлий Вадимович, — сказал Ледоходов честно и проникновенно и еще раз прочистил горло. — Я все понимаю, я ваш должник.

— А вот это бросьте, уважаемый. Бросьте. К авторам в карман мне залезать ни к чему. Мне за мою работу государство платит. Это ведь я только так пошутил для куражу, что тружусь вместо вас, любезный Сулеймен Янович. На самом деле я как раз делаю то, что должен делать. Только я уже троглодит, мамонт, бизон, динозавр. Таких, как я, больше нет. Вымерли. А ведь я еще застал редакторов, работавших с Сергей Михалычем, с Барнетом, с Довженко, с Абрамом Роомом, Алексеем Толстым, Олешей, с Пудовкиными братьями, да, представьте себе, они не орфографию правили, для этого штат положен корректоров, они в общий замысел жизнь вдохнуть помогали, они художественность взращивали, удобряли ее своим трудом непоказушным, — Кравченко почувствовал, что говорить ему вдруг стало трудно, щеки пылали, шевелюра то и дело требовала жесткой

"Тут уж ничего не поделаешь. Он так и сказал: *заместо*. (Прим. рассказчика.)"

пятерни; он поверил словам своим и на мгновение узрел целиком чистоту своих помыслов, и неловко даже как-то ему сделалось, подмывало кричать шепотом или же шептать громогласно. Кравченко наскоро совладал с голосом. — Я, Сулеймен Янович, мелкой взяткой их светлую память не оскорблю, нет. Считаю себя их преемником, да, а вот кого после *себя* оставить, не вижу, нет. Так что давайте спешить трудиться, пока я жив.

Это было уже абсолютным экспромтом, и Кравченко подивился, откуда у него такие мысли. Что значит, пока жив? Всего только сорок девять. Не накликай бы беды. И чтобы исправить произведенное им самим на себя впечатление, он поспешил добавить:

— Лучший подарок мне — хорошее кино. Ну, а если сувенир, так сказать, на память о совместных муках творчества, так это что-нибудь для спорта. Бегаю, знаете ли, трусцой, а люди смотрят: Кравченко жмот, в дранье бегаёт. А его просто не достать нигде, не-дранье.

— Я узнаю, — сказал Ледоходов. — У меня есть знакомства, — он пожевал губами, — в спортивном мире.

— Так я позвоню?

— Лучше я вам.

— Да нет, причем тут, — Кравченко смел со стола в корзину поломанные карандаши и зажал в зубах трубку. — Я насчет песни, пусть хороший поэт слова напишет. А? Я позвоню, ладно? Шлягер будет.

— Ладно, — сказал Ледоходов. — Пусть будет...

— Ну, вот и славненько.

— Ну, вот и славненько, — Ледоходов шустро встал. — В ваших краях я дней на пять, столичная круговерть продыху не дает, требует к себе, на коротком поводке, знаете, так что приходится торопиться. Второй вариант представлю к среде, а может, даже во вторник, пусть вас не удивляет. Я все учту.

— Приносите, заходите, поглядим, — Кравченко вышел из-за стола, пожал Ледоходову руку. — Сулеймен Янович, а вы ведь тоже старая гвардия. Держитесь, бога ради. Я без вас затоскую.

— Вашими молитвами, Юлий Вадимович. Всего доброго.

— А молодые ничего слышать не хотят, — вздохнул Кравченко. — Все без толку.

Ледоходов вышел в приемную и плотно прикрыл за собой дверь. Зазвонил и умолк телефон. Ледоходов, посапывая, снял с вешалки и натянул на себя пузатый тулуп с мохнатой шапкой, щелкнул замками дипломата и,

прежде чем положить в него сценарий, поплевал через левое плечо и постучал увесисто по столу костяшками пальцев. Прислушался. Отдышался. В дипломате лежала точно такая же папка с переделанным вторым вариантом. Вернее, вторым, хоть и подавался первым, был тот вариант, который Кравченко вернул Ледоходову, а текст в папке в дипломате Ледоходов написал с первого раза, угадав в нем почти все пожелания главного редактора, за исключением тысячелетия русского христианства. Но подавать этот первый как первый было смерти подобно. Кравченко бы его зарубил на корню, потому что согласных заранее на дух не переносил, они распатывали его веру в собственную необходимость. Все это Ледоходов уразумел и изучил давным-давно наизусть, и потому на основе первого, подаваемого вторым, создавал второй текст, подаваемый первым, куда вносил парочку крамольных изменений, достаточно безобидных и, тем не менее, достаточно непроходимых для любого главного редактора. Таковы были правила. Кравченко играл в эту игру, потому что считал ее не игрой, а делом, а Ледоходов — потому что в нее играл Кравченко, и обойти его не представлялось возможным. Ледоходов учел все, — даже город на Неве! — а вот с тысячелетием как-то промахнулся. И теперь недоумевал, как это он, пожилой человек, мог прозевать такое. Посетовал на себя Ледоходов, посетовал, закрыл дипломат и пришел к выводу, что крещение, будь оно неладно, всплыло в разговоре равным образом неожиданно, как для него, так и для самого Кравченко. Знал Ледоходов за Кравченко такие редкие минуты вдохновенных экспромтов. Он вообще был склонен видеть в натуре главного редактора глубоко схороненную под спудом официальных указов и ворохом личных установок азартную ее сторону. Поступим так, сказал себе Ледоходов, в одном месте: ударили колокола, и с куполов слетела черная туча ворон, а в другом — аист на крыше дискотеки, и все! никаких иных челобитных, две страницы перепечатаю и баста! Благодарить еще будешь, что я не поддался на твои клерикальные бредни, такого нагородил, сам же, небось, не рад... Ледоходов заключил, что вдохновения, подобного сегодняшнему, он за Кравченко прежде не замечал. Может, влюбился? Ледоходов беззвучно хохотнул, закашлялся, подумал: нелепость какая, быть того не может, чтобы сам Юлиан Непрошибаемый, да нет, вряд ли, всегда бдителен, всегда настоже, всегда охотник, хищник в рыске, никогда не жертва, непрошибаемый, нет... Хотя... Поживем — увидим. И Ледоходов отложил на время гадания о неожиданном своем подозрении, а вместо этого заменил усталый, измученный платок на свежий и благоуханный и, протрубив в него для порядку, направился к выходу, и стал как вкопанный. Прохрипел:

— Что вы на меня так смотрите?!

В углу приемной у двери сидел взъерошенный человек с глазами раненого оленя и неотрывно следил за действиями Ледохода.

— Пардон, — человек вздрогнул. — Замечтался.

— Напугали, — сказал Ледоходов. — Вы давно тут сидите?

— Тропинин! — донесся из кабинета вальяжный рык. — Ну, где ты там? Заходи! Я не кусаюсь.

— Тропинин? — Ледоходов удивленно вскинул брови. — Так я вас помню. Вы отказались от постановки по моему сценарию. Помните? В прошлом году.

— Может быть, — Тропинин пожал плечами и вошел в кабинет.

— Ты вот что, — сказал Кравченко, как только Тропинин переступил порог. — Смотрел я твой материал. Все галимат-НЯ! — он указал трубкой на скрипучий стул.

Тропинин стул потрогал, но садиться не стал.

— Короче, — сказал Кравченко и принялся ломать новый карандаш. — Мое мнение тебя интересует?

— Нет.

— Даже так? Ну что ж, в понедельник худсовет.

Тропинин кивнул.

— Отстраним мы тебя, братец. Не тянешь. Не твоя картина.

— Пока еще моя. До понедельника еще ого-го. Суббота ведь.

— Ну тетя себя, тетя, — Кравченко смел в корзину обломки карандаша. — Шел бы ты, друг любезный, вагоны разгружать. Вот что. Плечищи вон какие... Остальное я тебе выскажу на худсовете. Там тебе мое мнение покажется интересным. Ох, интересным.

— Знаете, — сказал Тропинин и пошел пятнами, как после парной. — Раньше я думал, что вы просто болван, знаете? Тупица. А теперь вижу, да, вижу, что нет, не просто, совсем не просто.

— Вот и хорошо, — сказал Кравченко, — что теперь ты видишь.

Тропинин хотел еще что-то сказать, но, сбившись с дыхания, махнул рукой и вышел.

— Это хорошо! — крикнул ему вслед Кравченко. — Это очень, черт тебя, Петенька, дери, хорошо! — и швырнул эбеновую трубку в ящик стола. — Видит он! видите ли, — прошелся по кабинету. У зеркала, дернув головой, откинул со лба ниспадавший чуб, — движение некогда модное, а теперь почти забытое среди нашего населения. Интрига с Тропининым была сложной,

многоходовой, но его ершистость все упрощала — стал человек говорить то, что думает, значит, конченный человек. Пусть поспихует до понедельника — и как раз прогорит дотла. В этой картине снималась Ева, картина должна быть шумной, громкой по максимуму, но не на полку, а в прокат, вот чего Тропинин понять не может и рвется, дурачок, в опальные режиссеры. Обойдешься, в бездарях посидишь, а там посмотрим. Картину же домудрим до счастливого финала, до самого настоящего хэппи энда: постановку — сыну кого положено, а художественное, во спасение, руководство — предложить Монстру, он ас, в этом спору нет, да еще породнился с Любавским, директором, женившись на его дочурке. Сынок с Монстром — это сила, за них худсовет ухватится руками и ногами, и, между прочим, картина от этого только выиграет. А это означало, что личные интересы Кравченко совпадали с интересами отечественного кинематографа.

Кравченко присел на подоконник, прижался щекой к матовому стеклу и вспомнил тот вечер, когда он впервые почувствовал вкус к настоящей интриге, не бумажной, а живой, трепетной, с конкретным, не отходя от кассы, результатом. С тех пор он поднаторел, изведаль вкус интриг долгоиграющих, длиною в год и более, постиг неизбежность интриги бесконечной, по замкнутому кругу, призванной поддерживать устойчивое равновесие. Но память о первом своем опыте Кравченко сохранил нетронутой, во всех подробностях, избавил ее от привычного редактирования и время от времени возвращался в тот вечер, желая обрести новую уверенность или просто так, без видимой причины. А результат и по сей день стоял в его кабинете справа от двери, напоминая о давней победе.

Давным-давно, много лет назад, в пору молодости как-то поздно вечером случилось в нашем городе землетрясение.

Сперва раздался гул, будто двинулся вдруг за окном тяжелый товарняк в сто вагонов. Кравченко в кресле и Скиталец на скрипучем стуле оба умолкли и повернули головы к темному окну, в котором отражался кабинет — зеркала, шкафы, портреты и они оба по разные стороны стола.

— Сейчас, кажется, потрянет, — сказал Скиталец.

— Оставьте ваши байки, — отмахнулся Кравченко. — Так вы и пишите — все неправда. Мы же не в Ташкенте!

Люстра под потолком подвинулась, где-то повсюду раздался грохот, здание вздрогнуло, пресс-папье качнуло бронзовым Эйзенштейном, снова раздался грохот, и последовал первый внятный толчок, портативный Горький в рамке под стеклом неглавного портрета дрогнул усами, забли-

ковал, здание подпрыгнуло и тяжело гупнуло в гудящую землю, стремительно распахнулись дверцы шкафа, одни, вторые, гул стих так же внезапно, как возник, а толчки следовали один за другим, разносильные, разностремительные, разнонаправленные, и кабинет ходил ходуном, и под ним что-то страшно стучало, посыпались книги из шкафа, а за ними еще, Кравченко ухватился за пресс-папье и крепко держал его обеими руками, беда, шептал он, беда, беда-то какая, скрипучий стул под Скитальцем рассыпался, и Скиталец могуче полетел на пол, распахнулись двери кабинета, одна створка, вторая, — хлоп-хлоп! — по ту сторону приемной пришла в движение дверь с табличкой "Директор", отворилась — грюк! — и другая створка безымянно: грюк! Скиталец поднялся, не устоял, рухнул, — дзинь! — разлетелся по потолку плафон люстры, Скиталец крикнул из-под стола: "Юлий Владимович, ко мне!", — посыпались осколки плафона — Кравченко сполз под стол в пространство между тумбами, согнулся в три погибели и, прижимая к груди пресс-папье, попросил кого-то: "Все ясно. Хватит уже. Я понял. Все ясно". В пустом и темном директорском кабинете раздались шаги, заглушаемые лишь гупаньем фундамента в беспокойную земную твердь. Шаги, шаги, шаги.

— Кто там? — крикнул Кравченко. — Кто это?

— Гамлетов батянька, — отозвался Скиталец, — кто ж еще!

Из черноты директорского кабинета, через приемную, вразвалку, громко стуча в пол, на укрывшихся под столом Кравченко и Скитальца надвигался огромный, неотвратимый телевизор о четырех ногах. Со стены упал главный портрет. Повернув голову на шум, Кравченко встретился с ним взглядом, не узнал и отвернулся. Кабинет перестал подпрыгивать, его охватила крупная дрожь. Телевизор не дошел до стола, подпрыгнул и пустился вспять бочком и курцгалопом, прижался к стене справа от двери, покачнулся и замер. Стало тихо. Качалась люстра, уже не в силах дотянуться до потолка оставшимся плафоном.

— Отбой, — Скиталец выбрался из-под стола. — Немцы улетели. А пыли тут у вас!

Пыль клубилась повсюду, растревоженная, агрессивная. Кравченко чихнул и подобрался к портрету.

— Тут веревка перетерлась. Вы умеете вязать узлы?

— Вязать узлы, — кивнул Скиталец, — и бегать по вантам.

Вдвоем они водрузили портрет на прежнее место, чуть выше прежнего, потому что узел укоротил веревку. Теперь под портретом темнела узкая полоска невыгоревшей стены.

— Порядок, — сказал Кравченко. — Спасибо.

Скиталец оглядел кабинет и хмыкнул:

— Ай да порядок!

Тут они оба увидели телевизор справа от двери у стенки, увидели заново, переглянулись и расхохотались.

— Послушайте, — хохотал Кравченко, — мне ж никто не поверит, что он сам сюда приперся.

— Где ж это видано, — хохотал Скиталец, — чтоб от директора ушел его телевизор.

— Заметьте, не просто взял себе да ушел, — попискивал и поскуливал главный редактор, — а ушел-то он ушел от *него*, а пришел-то он, пришел-то ко *мне*!

Они хохотали, и слезы катились у них из глаз, застревали у Скитальца в бороде и в усах у Кравченко. Задыхаясь от хохота, они мотали головами, и слезы окропляли стол и раскрытый на нем сценарий, который так и назывался "Скиталец", и Кравченко с ужасом чувствовал, что испытывает счастье; он был счастлив случившимся, тем, что пережил настоящее, не на экране, землетрясение, что повываливались из шкафа книги, что разбилась люстра, что даже портрет упал со стены и уже повешен на место, но прежде все-таки упал; он был счастлив присутствием в его кабинете чужого неправильного человека; подевались вдруг куда-то границы между правильным и неправильным, и Кравченко случайно узрел одну неделимую жизнь и окунулся в нее с головой, погружаясь все глубже в неотредактированность происходящего.

— Мой телевизор! — задышался Кравченко. — Никому не отдам. Это перст судьбы, это знамение.

— Не поверят, — задышался Скиталец, — правда, правда всегда невероятна.

— Но вы ж свидетель, вы же живой свидетель.

— Вам нужен не живой, а авторитетный.

— Это как подать. А я вас подам, как надо.

— Кому?

— Директору, директору.

— Послушайте, — выговорил Скиталец, утирая рукавом бороду. — Эдак нас с вами кондратий хватит. Вы коньяк тут не держите?

— Держу, — с удивлением услышал Кравченко свой ответ, хотя точно знал, что собирался сказать "я на службе не пью, уважаемый", но, видно, хохот помешал.

— Хотели сказать "нет", а вышло "да"? Не расстраивайтесь. Обычный

эффект. Любовь к ближнему сразу после катаклизма. Чувство насколько яркое, настолько и краткое. Пока оно не прогорело, где ваш коньяк?

— В сейфе, — сказал Кравченко, прикладывая платок к мокрым щекам. — Если не разбился.

— Так доставайте.

— А как?

— Ключом откройте, рукой достаньте. Есть у вас ключ?

— Да.

— Где?

— Здесь, — Кравченко похлопал себя по карману серого с подложными плечами пиджака. — Тут.

— Вот и чудненько. Возьмите его. А теперь...

— Дальше я знаю, — виновато пробормотал Кравченко. — Я же не идиот. Просто очень смешно и спать хочется. Вам тоже? Ну вот, — он открыл наконец тяжелую дверцу сейфа, — ну вот, вроде целая.

Скиталец в три хлопка вышиб пробку в золотистой фольге.

— Что вы делаете?

— А вы как думаете? — Скиталец вытряхнул из черного стакана разноцветные карандаши, и они покатались по паркету. — Пейте!

— А вы?

— Я тоже.

"Что ж я делаю? — недоумевал Кравченко, — что ж я делаю?!" Зазвонил телефон. Кравченко перевел дух: ну что там еще? Звонила жена сообщить, что у них с сыном все в порядке, а как у него?

Скиталец записал в блокнот: "Землетрясение. Она звонит ему, а не он ей. Он вешал портрет. Он очень ценный работник".

— Что вы все пишете? — Кравченко повесил трубку.

— Прочесть?

Скиталец прочел. Кравченко хмыкнул, развернул платок в поисках сухого места. Сказал: — Как вы уразуметь не можете?.. Пишете, а не понимаете. Мы же с вами почти ровесники, но редактор у нас всегда взрослый, а ваш брат всегда маленький, сынок, потому и сочиняет.

— Точно, умно, откровенно, — констатировал Скиталец.

— Жаль мне вас искренне, — Кравченко протянул черный стакан. — Пропадете, если не переделаетесь. А директору нашему я подам вас как талантливому драматургу с богатым жизненным опытом, мол, изведал и пот, и романтику мужественных профессий.

— Еще одна правда, — простодушно сказал Скиталец, — которой опять же никто не поверит.

— Зачем? Я ему "Скитальца" дам. Завтра воскресенье. С утра завезу. В вашем сценарии вашу личность за версту видать. А в понедельник с утра вы тут как тут. Мол, так вот и так! Возьмем его в оборот с утра пораньше.

— Крепко, — сказал Скиталец.

— Ну сказал же, мой, сказал, не отдам, значит не отдам.

— Кого?

— Ну телевизор! Вы к понедельнику таким авторитетным будете, что ого-го. А прочесть я его заставлю.

— Действительно крепко, — восхитился Скиталец. — Я б такого не выдумал.

— Вот видите, — сказал Кравченко, переводя дух. — Я ж говорю, детский сад.

— Ну, вы уж прямо нож к горлу. Не продохнуть.

— Ну, а что ж? С китами вот у себя в сценарии возитесь. Это что ж, это как? Вы что ж, действительно не соображаете, что несмотря на всю возможную глубину мирового океана, киты ваши в рамках первостепенных задач нашей могучей, нашей исполинской державы, киты ваши являют собою, извольте видеть, не что иное, как оголтелое мелкотемье. Да. Невзирая на всякие там Мариартовские, ну, как их там, Мариинские?..

— Марианская впадина? — предположил Скиталец.

— Вот именно. Невзирая на них, на нее, и на собственные размеры этих самых ваших кашалотов, да. Нет. Все мелкотемье. Вопиющее. Неужели вы действительно не видите, не чувствуете, — Кравченко потер щепоть у носа, протянул Скитальцу, — ну, нюхом, что ли?

— Знаете что? — сказал Скиталец и плеснул в черный пластмассовый стакан. — Хотите? Так вот, Юлий Вадимович. Как вы выражаетесь, *извольте видеть*, рабочий день для нас с вами на сегодня закончен. Согласны? А посему слушайте сюда. Вот что. Я один раз свалился за борт прямо на кита. Представляете? В Антарктике. У острова Кергелен. Чуть шею себе не свернул. Но это полдела. А в том же рейсе спустя тридцать семь суток эта история получила совершенно невероятное продолжение на траверсе Земли Мэри Бэрд. Хотите расскажу?

— Так ведь наврете с три короба.

— Не обещаю. Ваше здоровье.

Они расхаживали по кабинету, переступая через цветные карандаши и обломки рухнувшего стула, хрустело стекло, Кравченко слушал Скитальца, и у него дух захватывало; он отказывался верить, но и не верить ни-

как не получалось, и когда наконец сверкнула ослепительно волшебная развязка, Кравченко, вырываясь из-под чар, затараторил свою историю в скоропалительной попытке сберечь в себе остатки здравого смысла; его история тоже была невероятной, но иначе, по-бытовому, без всякой мистики, Скиталец вежливо внимал, уточнял вопросами, даже выказывал изумление, они обменивались стаканом, иногда брали друг друга под руку, и наконец заговорили наперебой то об одном, то о другом, то обо всем сразу. А потом еще полночи сидели в каком-то подвале, в мастерской художника, среди приятелей Скитальца, пели под гитару, пили кислое вино на брудершафт и разглядывали картины в духе гиперреализма. Цокали языками.

— Ладно, Юлиан, — сказал Скиталец, — приду свидетельствовать.

В понедельник Кравченко провел директора по разгрому двух кабинетов.

— Вы прочли? А вот и автор.

— Гм, — сказал директор. — Козырьков Тимофей Палыч, — он вяло пожал Скитальцу руку и выслушал из его уст историю о пришагавшем телевизоре. — Вот ведь как бывает, — вздохнул он. — Юлий Вадимович, зайдите ко мне на минутку.

У себя в кабинете он вопросительно поднял брови:

— Что все это значит? Я прочел. Супруга даже всплакнула. Но, Юлий Вадимович, душа моя, согласитесь, что это же не лезет ну ни в какие ворота!

— Оч-чень рад, что мы с вами мыслим одинаково, — сказал Кравченко. — И мнения придерживаемся общего. Обоснованного.

— Уффф, — сказал директор. — Ну, удружили... А я уж, грешным делом, решил, что вы меня под монастырь... Юлий Вадимович, оставьте, пожалуй, телевизор у себя. Я так понимаю. Он вам для работы нужен. А мне нет, я кино не люблю.

Вернувшись к себе, Кравченко возвестил:

— Победа! — и похлопал по телевизору. — Премного вам благодарен. Прочел он вашего "Скитальца". Будете переделывать?

— Нет, — сказал Скиталец. — Зачем же.

— Жаль. Примите мои соболезнования.

— А вы — мои.

Скиталец забрал "Скитальца" и ушел, отправился в свой трудный путь.

Как он выжил, уму непостижимо, сукин сын. Кравченко слез с подоконника и вернулся в кресло, покончил с "Царскими рудниками" и, перевернув страницу блокнота, взялся за трехсерийную коллективизацию. Иногда он снимал трубку, набирал чей-нибудь номер и говорил с деловой вальяжностью:

— Я тут на службе... Тревожу вас вот по какому поводу...

Начинал он всегда одинаково, заканчивал по-разному. На том конце провода узнавали не голос Кравченко — голос у него был никакой, — узнавали его интонацию; узнав, трудно переключались с субботнего отдохновения на тяготины служебных перипетий, возражали, потом соглашались и, облегченно вздохнув, вешали трубку. Кравченко не любил говорить: я работаю. Он любил говорить: я на службе, я тут на службе, служу честно, и так далее. Никогда не говорил "нет", а тем более "да". А так говорил: "Надо сделать, чтобы было все правильно" или "Просто правильно это еще не совсем правильно, а надо, чтобы совсем было, исключительно правильно, вы меня, надеюсь, правильно понимаете?".

Он посмотрел программу "Время", опять не обнаружил того, что искал, и его сердца коснулось недоброе предчувствие, но он отпихнул его, сложил портфель и, прежде чем выключить свет, набрал свой домашний номер.

— Я ухожу, — сказал он.

— Ужин готов.

— Я от тебя ухожу. Хотя это ты можешь уяснить с первого раза?!

— Да... Я знаю.

— Что ты знаешь?

— Ну, эту женщину.

— Не мели чепухи! Какая женщина?! — возмутился Кравченко по привычке. — Да у меня на это и времени нет, — добавил он второпях и вдруг сообразил, что врать больше не нужно, можно не врать теперь, кончилась необходимость, нужды нет, вся вышла, и ему даже не по себе стало, обидно сделалось. — А впрочем, — сказал он. — Впрочем, как знаешь... Я зайду на днях за вещами...

Жена молчала. Кравченко аккуратно, плавно опустил трубку на рычаги, выключил свет и покинул пределы любимого кабинета.

В приемной он набрал другой номер и сказал в трубку другим голосом, предварительно выслушав хрустально-звонкое "Аллллло":

— Евочка-девочка, это я, я иду, я лечу.

— Рубикон? — хрустальный вопросик.

— Рубикон перейдён.

— Ура!

Застегивая пальто и поправляя перед зеркалом шляпу, Кравченко торопливо задумался над тем, почему совершил звонки по двум разным аппаратам, и усмотрел в этом нравственную сторону своей натуры, тем более высокую, что проявилась она не напоказ, без свидетелей. И он сообщил зеркалу:

— Интеллигентно, молодец!

Первую половину воскресного дня Кравченко провел, гуляя по парку Ленина с Евой и доберманом-пинчером по кличке Киссинджер, в просторечии Джерри, который носился взад-вперед, распугивая голубей и ворон. Сейчас бы в самый раз, думал Кравченко, вспоминая, как много лет назад у него в кабинете Покровитель предлагал ему перебраться в столицу, а Кравченко отказывался, не хотел заново начинать. "Хорошо, — сказал Покровитель, — только потом не просись, здесь — значит здесь". Затея Кравченко теперь разговор о переезде, Покровитель поставит на нем крест, решит, что струхнул, продавился. А в столицу сейчас было б в самый раз, и для Евы, и для всего. Поближе к междустрочью. Светило солнце, Кравченко вспотел, Ева держала его под руку, и он деловито раскланивался со всевозможными знакомыми, а Ева звонко покрикивала "Джерри! Джерри!" — и склоняла голову к Кравченко на плечо. Незавуалированность этой прогулки льстила его самолюбию, он испытывал двойной прилив бодрости, который, в конце концов, окончательно его утомил.

После обеда он прилег на диван.

— Юля, отдохни, — попросила Ева, отбирая у него и сценарий и цветные карандаши.

В старом доме Кравченко бы вспылит, начитал бы всенепременно нотацию о почетном долге, об ответственности за судьбы и прочее, а, может, даже и о высочайшем доверии партии и правительства и в их лице, а что? всего советского народа, а тут, у Евы, он сладко зевнул, потянулся, сказал "а впрочем" и уснул. И приснился ему сон. Вообще Кравченко сны не снились, а тут приснился. С другой стороны, он и днем-то не спал никогда, а тут позволил себе. И увидел он во сне "Скитальца". И добросовестно кинулся его редактировать. "Не бейте китов! — требовал Скиталец. — Не смейте бить китов! Они же живые. Они же разумные. Они, как мы. Они лучше. Дружить с ними. Учиться у них. Повышать осознание. Сотрудничать!" Мастер подмигнул шкиперу, шкипер боцману, боцман матросу, а матрос юнге, но юнга не справился, куда ему! и тогда матрос подмигнул сам себе, толчок в спину, и Скиталец полетел с шаткой палубы в штормящий океан. — Убрать! — потребовал Кравченко. — Ну, в крайнем случае, волной смыло... А Скиталец уже на острове, скачет голяком из пены прибоя, что твоя Афродита! только с причиндалами, хороводит в яркоглазом племени, обожаемый всеми девушками на выданье, веселый, умелый, деловой, наводит, играючи, невиданный доселе уклад-порядок, ну, а Кравченко, естественно, его тут же упорно дезавуирует; сперва, само собой, ле-

пит Скитальцу лавровый, — нет, не то, убрать! — фиговый (и не убирать!) листок куда следует, тот не лепится, и Кравченко сердится, сердится, а потом в сердцах крушит все, что Скиталец в племени понастроил, и тут же вовсю по-редакторски кидается насаждать свою, взрослую, правильную, поясняет туземцам: "аутентичную!", справедливость; но, увы, сон не задался, и Кравченко, — просто спятили все, честное слово! — предстал в нем вдруг отвергнутым и непонятым, ибо языки любые и теперь, и всегда давались ему и во сне, и наяву с превеликим, к тому же Сизифовым, трудом, а Скитальцу, — разрази его гром! — с дурацкой ренессансной легкостью, и вот Скиталец по-ренессансному растолковывал сызнова своим обожателям, что к чему, и заново, напеваючи, воздвигал им свою недоразвитую, опять же детскую, для всех, справедливость, а Кравченко, понимаешь, весь сон напролет прозябал среди мангровых зарослей в сыром дискомфорте вынужденной аскезы, и оттуда, из царства крабов, гадов и москитов, взывал, выбиваясь из сил, на языке жестов, к мудрости глупых вождей, и, себя не жалея, требовал принести Скитальца наконец в жертву богам, и дело с концом, и всем будет самый раз, и всем будет правильно — их же, дураки безмозглые, собственным богам, за них же, тупиц недоразвитых, собственно, и ратовал, для них же, болванов, корпел, страдал, уродовался...

Пробудившись, был раздосадован не столько самим фактом сна и даже не сюжетом, сколько степенью его детализации. Знал по опыту, что излишние подробности запросто могут растащить любую драматургию. В том числе и саму судьбу. Надо бы додумать там все наоборот.

Но тут Ева позвала ужинать по-воскресному.

Неприятности, как им и положено, начались у Кравченко в понедельник. С утра позвонил Покровитель, поздравил с юбилеем. "Как, уже?! — изумился Кравченко, — что-то чересчур быстро..."

А потом Тропининский материал на худсовете прошел, пронесся на "ура". И даже Кравченко вынужден был для стенограммы высказать что-то вроде: "пожелаем и дальше режиссеру продолжать не хуже, а лучше, а не хуже, а учесть все, а не упустить ничего, и в том же духе, а не иначе, и только так и не иначе". Для стенограммы он умел говорить, как никто другой. Интонации в стенограмму не идут, и он варьировал ими в широчайшем диапазоне, а слова говорил разные, обычные, расставляя меж ними, как вехи, другие слова, всеисильные, если правильно ими пользоваться: *идеологически верный* или, соответственно, *неверный*, потом, чуть

что, значит, *соц!реализм* и антиподом ему, соответственно, *реализм*, тут как тут, *сюр*, потом, знаете, такие слова еще: *культура, эстетическое чванство, искажение действительности, поклен, для народа — во имя народа, три источника, три составных части, подрыв основ, наши идеалы*, и, соответственно, *не наши, мракобесие, буги-вуги, битлы патлатые* — все сразу и не упомнишь. Была еще формулировка — *искажение авторского замысла* — на тот случай, когда выразиться покрепче не представлялось возможным. К ней Кравченко и попытался прибегнуть в злополучный понедельник, но она потонула среди вороха похвал.

То, что Тропинин не хотел уничтожаться, еще можно было б понять, с этим Кравченко бы справился. Но дело, увы, представлялось куда более запутанным. Материал для худсовета был расчищен и выстроен нетропининской рукой. Более того, основная нагрузка в нем, и эстетическая, и концептуальная, лежала на двух-трех эпизодах, которые накануне, в пятницу, Кравченко и вовсе не показали. Вот так-так. Чья же это рука? Неужели Монстра? Похоже. Но зачем ему? Кравченко стал соображать, что же он такое проглядел в сегодняшней расстановке сил в родном, не баловавшем его прежде сюрпризами, коллективе. Ответ сыскался почти незамедлительно. Сразу после худсовета директор Любавский мягко взял Кравченко под локоть, под его теперь замшевый локоть, и увлек в неспешную прогулку по асфальтовой дорожке киностудийного двора, над морем, вдоль забора с металлической сеткой. Внизу под обрывом, далеко и внизу, сливаясь то там, то тут с тяжелым небом, заштилевшее море хмурилось полосками ряби в ожидании шторма и грозы. Любавский был директором относительно новым, еще года не прошло, как прислали его на смену уличенному Столапину, который в свое время принял эстафету от незабвенного Тимофея Палыча Козырькова, почившего в бозе. Любавский был приветлив и доброжелателен, голоса не повышал, много ходил пешком, вникал в производство. Крестьянский сын с безупречной анкетой, ибо угадал начать трудовой путь не с чего-нибудь, а с завода, подмастерьем у горнового где-то чуть ли не на Урале, потом, как водится, годик горновым, институт заочный, комсомол обычный, заводской, потом освобожденный, секретарство, потом райком, потом второй, и — партшкола, и вот вам готовый руководитель крупного предприятия с особой идеологической нагрузкой (КРУПОСИНа), например, типографии, киностудии, издательства или, скажем, фабрики по изготовлению лозунгов и транспарантов для демонстраций, съездов и конференций. Говорили, что к ним сюда он пришел именно с такого, достаточно замкнутого, скорее всего, но-

мерного производства. Кравченко, конечно же, не мог не понимать, что в таком вышколенном омуте и черты обязательно должны водиться не чета обычным, но особых опасений Любавский у него не вызывал, Любавский его устраивал.

— Странное дело, — заговорил Любавский, вытирая платком лысину. Он не был старым, он был просто лысым, с пшеничной опушкой вокруг розового блеска. — Кабинеты наши рядом. Видимся каждый день. Трудимся рука об руку. А поговорить по душам все времени нет.

"Ого, — насторожился Кравченко, — как издалека! Что то будет?"

— А ведь я вас, Юлий Вадимович, откровенно побаиваюсь.

— Вы меня?! — интонация Кравченко точна, как хлыст дрессировщика.

— Представьте себе. Смею думать, что в условиях нашего производства вы просто феномен...

Ударение на второй слог.

Государство в том году потребовало через своих (не путать с диктаторами) дикторов центрального телевидения от своих же (не путать с рабами) граждан ударять это слово именно вот таким диковинным образом, не феномен, нет, а феномен. А ведь всю жизнь феноменом был. Кравченко вздохнул, поморщился. И заподозрил, что Любавский другого ударе-ния и не знал никогда, и потому ему легко было, а не трудно. Не трудно ему было, представьте, а легко.

— Должность ваша, Юлий Вадимович, если начистоту, придумана для битья, вы согласны? Грянул гром, сменили главного редактора. И опять все спокойно, ясно, ведро, готовы к новым громам и баталиям. Вы же, Юлий Вадимович... Вокруг вас такие дубы валяются, а вам хоть бы что. Более того, умудряетесь погоду заказывать... Я на вашем счету каким буду?

"Ох, лиса, волчара матерый, — думал Кравченко, — как же я его про-глядел? Ведь казался затурканным".

Над морем сверкнула молния, гром добрался до берега не сразу, полупешепотом.

— Вы, наверное, думаете, — снова заговорил Любавский, — что я хозяйственник до мозга костей. Так-то оно так, но, сознаюсь вам по секрету, раз уж разговор у нас такой, начистоту, люблю кино. Очень люблю.

"Ай, яй, яй, — думал Кравченко, — что же это происходит? Где же я ошибся? что проворонил? почему сообразить не выходит?.." Он и пред-ставить себе не мог, чем этот разговор намерен был завершиться.

— Иными словами, Юлий Вадимович, времена сейчас непростые. Как их уразуметь? А никак. Терпение. А излишняя активность, пусть даже из-

воротливость, может пойти во вред. И не только вам лично, а всему наше-му коллективу. А вот за коллектив уже как раз я и отвечаю. Вы человек опытный и должны меня понять.

— Иными словами, — Кравченко подхватил интонацию Любавского, решив, что молчать дальше еще опасней, чем высказываться, — вы пред-лагаете мне сузить круг, так сказать, профессиональных интересов?

— Совершенно верно! — Любавский искренне обрадовался формули-ровке и поглядел на Кравченко с симпатией. — Вы, Юлий Вадимович, ме-ня полностью устраиваете в качестве главного редактора. А директорство-вать позвольте уж мне по собственному разумению.

Любавский говорил то, что думал. Или почти то. Для Кравченко это было ново. За долгие годы в редакторском кресле он привык думать одно, а говорить другое. Он настолько в этом преуспел, что теперь сразу думал не то, что думал, а то, что надо сказать. Сейчас ему сказать было нечего.

Приближалась гроза. Любавский, увлекая за собой Кравченко, свер-нул с асфальтовой дорожки на аллею, ведущую к зданию, где располага-лись их кабинеты. Прогулка была закончена. Кравченко перевел дух и расслабился, а зря.

— Кстати, — сказал Любавский. — На этой неделе сплошные торжест-ва. Завтра вас чествуем, юбиляра. Поздравляю. Лично вручу грамоту. Не-простую. Высокую. Заинтриговал? Терзайтесь. А в четверг у нас свадьба...

— Какая еще свадьба?! — опешил Кравченко. Он почему-то решил, что Любавский напрашивается к ним с Евой в гости.

— Свадьба моей дочери.

— Так сколько ж у вас дочерей?! — возмутился Кравченко. Ведь совсем недавно Монстр женился на дочери Любавского, еще и года не прошло.

— Дочерей у меня три, — рассмеялся Любавский. — Средняя замуж выходит. Будем вам очень рады, Юлий Вадимович. С супругой.

— Спасибо. Поздравляю. А кто жених?

— Увы, — Любавский развел руками и притворно вздохнул. — У меня в доме все помешаны на кино.

— Неужели опять режиссер?!

— Угадали, Юлий Вадимович. Да вы его знаете. Петя Тропинин.

Пока Кравченко, закрывшись в кабинете, набирал московский код, а тот срывался, и Кравченко набирал его снова и снова, за окном разрази-лась настоящая буря; грохотал гром, сверкали молнии, налетал шквалами гудящий ветер и крихтели, закипая юной листвой, старые деревья. Номер

наконец набрался, и Кравченко в ожидании соединительного зуммера раскрыл свой черный блокнот и вычеркнул Тропинина из ОРЕШКОВ, внес его в другой список, который бумаге не доверял, а хранил в голове; были там детки своих родителей, племянники тетюшек и племянницы дядьев, кузены с кузинами, сладкие друзья и полезные враги, а рядом с ними инициалы сильных мира сего, лучшего из всех подлунных. Тропинин проник в это честное общество как ЗЯТЬ НОМЕР ДВА с инициалами Любавского. Целиком этот список Кравченко не доверял даже своей памяти. На том конце провода трубка наконец была взята, и Кравченко, стараясь не выдать паники, долго говорил на эзоповом языке, выясняя прочность Любавского. То, что он разузнал, настроения ему не прибавило. Матовое стекло разлетелось вдребезги, осколки со звоном посыпались на пол, и в окно, перечеркивая кабинет, просунулась колючая ветка рухнувшей акации. А Кравченко все говорил и говорил по телефону.

Ночью ему опять приснился сон.

Он его честно отредактировал, просмотрел заново, не удовлетворился, чикнул ножницами и опять просмотрел, но что-то все же его не устраивало, тогда он разобрал сон на шестьдесят шесть частей и отрезал от каждой кусков по десять, а потом долго не мог смонтировать, монтировал, складывал, не складывалось, наконец все-таки кое-как сложил, склеил, просмотрел, охнул и запретил вовсе, положил на полку и проснулся в изнеможении.

Была ночь.

Такого с Кравченко еще не случалось, чтоб вот так проснуться посреди ночи и не спать.

Утром впервые в жизни он отправился на службу в скверном настроении.

И служба эта впервые в жизни почудилась ему не в радость.

Не получалось в тот день у Кравченко упиваться властью по тонкому острию и вкушать ароматы интриги с душком и хрустом.

Не возник в груди сам собой положенный ему, Кравченко, по штату, безо всяких оговорок, просто за выслугу лет, восторг во всю грудь от сознания своей личной включенности в гигантский неизбывный хоровод *важной, признанной* жизни.

Ощущался в то утро дефицит некой, если хотите, свойскости, возвращенной им за долгие годы бдительных усилий, этакой свойскости окружавшей его среды.

Вот.

Возник собака-дефицит и не выходит, подумал он вдруг, сходу,

не очень ловко, просто чтобы не бездумствовать, и чтобы там где-нибудь наверху его бездумие нельзя было ухватить и потрогать, и распознать, а потом отнять его у него и выставить напоказ, на всеобщее обозрение, в витрине позора как знак согласия Кравченко с чем-то таким, с чем Кравченко не был согласен категорически, а не был он категорически согласен с тем, что его, Кравченко, можно вот так вот голыми руками на ровном месте среди бела дня ни с того, ни с сего.

Рассосется, подумал Кравченко. Ну, не может же.

Однако могло, однако не рассасывалось.

Занудно ему сделалось — вообще, и по организму.

Может, поджелудочная? стал он гадать. А, может, простатит? Он не разбирался ни в том, ни в другом, но, бывало, в тиши кабинета, оторвавшись от бумаг, ускользал неосмотрительно мыслию к своим органам и тревожился по их поводу, недоумевая, супился, мучил себя всевозможными телесными подозрениями, а, опомнившись, бросался опростетью:

прочь от сомнительного тела

в надежность дорогого дела!

Работа, любимая, обожаемая им служба искусству отечественного кино неизменно его выручала, дарила неповторимое ощущение безопасной, если хотите, опасности, вечно, знаете ли, живой неуязвимости. Но в тот день никакая служба почему-то не спасала, и тревоги о здоровье, оголодавшие, набросились на незащитного Юлия Вадимовича и рвали его на куски. Один в кабинете, главный редактор пыхтел, терпел, мужествовал.

Зазвонил телефон.

Уф! перевел дух Кравченко, ну, наконец-то!

Значит так, решил он, если новость не совсем уж клятая, то кто бы сейчас этот человек, что звонит, ни был, уж спасибо ему, что не забывает, что звонит, что от мыслей гадостных оторвал, отрывает, —

от мыслей отрывает,

звонит, не забывает,

какой же молодец,

неважно, что подлец, —

кто бы, что бы, а я его должник до гроба, нет, зачем же до гроба, не надо, я и так его отблагодарю, сразу, незамедлительно, так уж отблагодарю, как никогда никого, честное партийное, и не надо нам гроба никакого, зачем нам гроб, обойдемся ну, всё, по рукам! и он снял трубку. Звонил Ледоходов.

— Дорогой вы мой человек, — сообщил ему Кравченко, выслушав ледоходовские вежливости и супервежливости. — Уж не знаю, как вам

и сказать, как я по вам соскучился!.. — с каждой фразой Кравченко отходил все дальше от недавнего приступа слабости, ускользал от неведомой опасности и, спасаясь, проникал все глубже в полный шорохов безграничный эфир, впитывался в него, овладевая. — А вы как думали!.. Ну, и что с того, что всего пару деньков? Да, денечков. Кто времени измерил глубину? А?.. Представьте себе, соскучился... И никакой эзоповости, милейший Сулеймен Янович, прошу заметить, в моих словах не обитает... Нет... И в подтверждение не сочтите за труд, любезный вы наш драматург неизменный, побывать, скажем так, гостем моих скромных пенатов не позднее как сегодня в вечеру, этак, скажем, в девятнадцать ноль-ноль... Да, совершенно официально... Форма одежды любая... Отказы не принимаются... Вот и славненько... Дом видный, найти не трудно. Ждать буду с нетерпением. Пишите адресок...

Повесив трубку, Кравченко еще более оживился. Эх, я! еще могу, и без натуги... Ох, я тебя, Сулеймен, приму!.. Мы вас так, Сулеймен Янович, по первому классу, примем, что ты, пожалуй, и рад не будешь... Шучу, шучу, так сказать, атмосферы ради... Заходи, дорогой, заходи, чувствуй себя, как дома, как в столице... И, не покидая пределов кабинета, да что там кабинета, из-за стола не выйдя, не поднявшись, не сдвинувшись ни на пядь из своего кресла, главный редактор Кравченко воспрял и приосанился.

Ай да мастер!

Однако уже в следующее мгновение кое-что до него вдруг, так скажем, дошло, а можно сказать, и просто вспомнилось то, что коварно забылось, — *ай да ломастер!* — и Кравченко резко, кубарем сдал позиции; заныло вновь по всему нутру, завьюжило, и ужаснулся он: что ж я наделал??? вот так маху дал, так дал!!! черт меня дернул! от-бла-года-рить! видите ли... Дурак... Это он сказал себе, себе лично, но, если что, то можно свалить и на Ледоходова. Старый дурак!

И тут уж Кравченко из-за стола выскочил, тут уж он заметался.

Впервые в жизни так он метался по родному кабинету, впервые в жизни. Мир вокруг него до той поры был натянут, как струна, играл во всех октавах по всем регистрам. Его прежний мир такие ноты на свет извлекал, такие обертона из себя препроваживал, что другим и не снилось. А теперь этот мир взял да провис, одним махом. Он, конечно, провис не в ту секунду, когда до Кравченко, положившего трубку, собственно дошло, что он позвал Ледоходова в свой прежний дом, к своей прежней жене, откуда и от которой он так доблестно и грациозно отчалил и удалился в минувшую субботу, нет, мир обмяк и провис раньше, где-то ночью, незаметно,

после выходных в канун понедельника. А может, и прежде того, разом с пропажей междустрочья, будь оно неладно. И вот парадокс — натянутый, он был просторен, дарил свободу движений, размах фантазии, обвисший же, враз стал не впору, навалился, прижал-придавил, и шее сделалось неудобно. Кравченко запыхался.

Уф, решил он посреди кабинета. Фу, еще раз решил он, притормаживая. Надо взять себя в руки, что это я так раскис, разбежался! Не годится. В конце концов, это всего лишь вопрос, так сказать, этики, ведь так, а не чего-то там такого, уголовно, как говорится, наказуемого. М-да. И даже не морали, представьте себе, нет, не морали даже. Да, не морали. А одной только всего лишь этики. М-да. Обычной. Обыкновеннейшей. Всего лишь этикус вульгарис — и ничего больше... Он развел руками — не для зеркала, для дела. Покачал головой — искренне. Для себя. Не вижу другого выхода... Знать бы, где Сулеймен остановился, проживает, телефончик, так и отменили б...

И тут же сообразил: а ведь можно узнать, стоит лишь...

И тут же еще раз сообразил, дальше прежнего: а ведь не стоит, нет, ничего отменять, не дальновидно, а к Еве звать — к Еве звать пока глупо, пока что преждевременно к ней гостей водить... Безвкусица... Вот оно и выходит все как к лучшему... к лешему все... И нечего тут...

— Аллю.

— Ты вот что, — сказал Кравченко. — Ты мне вещи, будь добра, собери. Носки, трусы, майки в чемодан, рубашки. А костюм серый в полоску так, чтоб не помялся. Свитер коричневый. А остальное потом. Может, сумку эту большую заграничную, не знаю, поглядим. Остальное после.

— Хорошо.

— И вот что еще. Ледоходов будет, так накрой там в гостиной, или на кухне, нет, пожалуй, в гостиной все же... Что-нибудь поимпозантней...

— Ледоходов?!?!

— Представь себе.

— Ну, вот как раз представить себе, Юля, я и затрудняюсь.

— А что тут, собственно, такого?

— Что тут, собственно, такого?!?! Ты всерьез?

— А что? А ты?

— Юля, ты хоть знаешь, сколько лет у нас гостей в доме не было, никого, ни единого человека?

— Не драматизируй.

— Лет, наверное, пятнадцать, не меньше.

— Ты, как всегда, раздуваешь слона из мухи. На ровном месте. Из козявки невидимой.

— А ты возьми свои календари перекидные, очень даже видимые, все ж хранятся, все ж как один, у тебя ж там все отмечено, размечено, кто, с кем, с чем, почему, почем, зачем, во сколько, на сколько, и проверь, сам проверь, вот и убедишься, вот и получится, что все лет двадцать получится, возьми, проверь, возьми.

— Ладно, проверю. Но сейчас не об этом.

— Да? — сказала жена. — А о чем же сейчас?

— Причем здесь гости? Ты ж понимаешь, это деловой ужин.

— Да? Ну, раз деловой, это в корне меняет дело. Дело деловое.

— Вот видишь. Так что, окажи любезность, позаковыристей ему чего-нибудь, поэкзотичней... В магазин пройдишь.

— Ты что, Юлия? В какой магазин? Там такого нет, не бывает.

— Ну да, конечно, это я так к слову...

— Но у нас, — сказала жена, — у нас с тобой, — сказала она, — есть позаковыристей. Так что не волнуйся.

— Ну, вот и славненько. Надо же, чтобы гость был доволен.

— Вот видишь, все-таки гость?

Кравченко вспылал моментально, без замаха:

— Не придирайся к словам! — заорал он. — Не смей, дура, к моим словам придирааться!!!

— А то что? — спросила жена с бархатным, подернутым иронией, придыханием, — а то что, ты меня бросишь? К другой уйдешь?

Кравченко попытался:

— Прости. Я тут на службе, знаешь. Не мед. Нервы. Не сахар.

— Ясное дело, — сказала жена. — Кто ж спорить станет. Только вот к словам не придирайся, Юличка, дорогой, ну никак нельзя. Потому что, Юличка, дорогой, если джем, представь, обозвать повидлом, он ведь в горло не полезет, верно? А вот, если говно — говном, то как раз и все в порядке, ведь так, Юлик? Уплетем за милую душу?

Кравченко проглотил и это, не пискнув. Поспешно выдохнул:

— Это точно. Как ни крути. Разве нет?

И добавил:

— Я куплю коньяк по дороге.

— Гуляем? — сказала жена, засмеявшись звонко. — Что празднуем?

Повесив трубку, Кравченко сидел тихо; знал, больше никто не позво-

нит; почему — не знал; слушал тиканье часов в неспешных, вдруг застывших сумерках. Объявились мысли о весне, но прошли насквозь, не задев. Ничего не делал. Ничего не думал. Ждал.

Никогда он никуда не опаздывал.

И теперь все его вышколенное чин-чином естество истошно сопротивлялось такой идиотской необходимости взять вдруг да опоздать, и не на пять минут, а так уж, чтоб наверняка, часа так на пол. И все же какой бы идиотской ни была эта необходимость, она была необходимостью и потому довлекла над любым, пусть и самым неукоснительным и полезным навком. Ну, нельзя ж, в самом деле, заявиться туда раньше Ледоходова. О чем говорить? О говне с говном? Конфуз.

Оказывая отчаянное сопротивление внутреннему потрескиванию, Кравченко утерпел до четверти восьмого. Снял трубку.

— Дорогая, я тут задержался на службе. Уже выхожу. Как там наш гость?

— Гость? Какой гость?

— Как какой?! Ты что, белены объелась? — весь его аутотренинг пошел насмарку. — Мы ж договорились! Ты что?!

— Договорились?

— Ну, да! — заорал Кравченко. — Договорились!!!

— Ну, да, — сказала жена. — Договорились.

— Фух. Ты что, издеваешься?

— С какой стати? Отнюдь.

— Так скажи же, черт подери!

— Что тебе сказать, Юлия?

— Ответь же мне!!!

— Чего ты хочешь? Зачем звонишь?

— Как зачем?! Ледоходов, ответь, на месте?

— Ах, Сулеймен Янович?

— Да, черт его, тебя подери! Сулеймен Янович.

— Так какой же он гость? Он же по делу, правильно?

— Да, черт возьми, правильно, не гость, по делу, да.

— Да, да, — сказала жена. — Да.

— Что, да?

— Приходил.

— То есть, что значит — приходил?

— То и значит.

— Как?

— Ну, так. Как? Вы же договаривались.

— Ну, и?
— Вот он и приходил.
— И что!!!???
— И ушел.
— То есть, как ушел??!!
— Ну, так. Подождал. Не дождался. Ушел.
— Ах, ты дрянь! — заорал, завопил, забрызгал слюной Кравченко. — Пугало ты огородное! Психушка по тебе плачет... Ты ж это специально... ты ж это мне назло... Вот увидишь, я этого так не оставлю, я тебе это, увидишь, образина паршивая, ох как аукну!!!!...

— Вот видишь, — сказала жена. — Видишь. А я всего лишь пошутила. Ты же любишь, когда я веселая. Так что вот. Сам видишь.

Пауза.

Рыбы на льду.

Рыба.

И где-то в далеком послевоенном полустертом из памяти дворе радостный — грюк! — вопль доминошника: "Ры!ба-а-а!!!"

И голос жены в трубке:

— Сидит твой дорогой Сулеймен Янович в гостиной и мирно расправляет аперитивы в моей компании. Так что, если он тебе все еще нужен, необходим, приезжай, если сможешь, если у тебя получится.

Гудки.

В такой партер Кравченко, опять же, еще никогда не ставили.

Да в такую винторогую согнутость с выкрутасом для последующего отжатия вообще мало кого в жизни ставят, доложу я вам, а точнее, мало кто сам себя в такое угораживает, потому как, согласитесь, без собственной помощи со стороны пострадавшего тут никак не обойтись, и это Кравченко признал сразу, без возмущения, отрешенно. В нем настали мороз и ясность.

А ведь все равно придется ехать, признал он с холодной тоской. И предпринял роковое для себя отчаянное усилие, направленное на то, чтобы выкинуть из головы, изгнать, вытолкать взащей целиком все, что только произошло. Все ее слова. Все — обязательно! — свои. Всё! Все их давние и недавние стычки по поводу и без повода, памятные и забытые, да, да, и забытые тоже всенепременно. Все размолвки, казусы, конфузы и неудобства. Всё!

И у него вдруг получилось.

Он, может, и не надеялся, но уж больно отчаянно приналег, деваться

ведь некуда, и неподатливые двери неожиданно подались и захлопнулись со страшным грохотом у него за спиной. Все, схоронено. А раз нету, значит, и не было. А раз не было, так, значит, и нет. Нигде, никогда. Амба. Он испытал такое облегчение, что тут же, хоть и на скорую руку, а решительно, избавился, заодно, и от неприятных воспоминаний о худсовете вчера в понедельник. И удалось. И не стало никакого худсовета, никаких воспоминаний с тревогами. А вместо этого стало хорошо с холодком, как от пектусина.

Нет, это не падение, решил Кравченко. Не катастрофа. Так не падают. Не разбиваются. Это полет.

И он себе налегке выпорхнул из кабинета.

Взаимоотношения главного редактора Кравченко с шофером его персонального транспорта ГАЗ-24 черного цвета не подлежат отображению в канве данного повествования, и потому ограничимся тем, *что* Кравченко ему сейчас скажет. А скажет он ему вот что:

— Ты, это, Гриша, на площадь, в старый дом, ну, домой, ко мне... И коньяк по дороге, понял? С конфетами.

И все.

Поехали.

У Кравченко был ключ.

В гостиной было сверкуче и дурманно — уют для толстокожих.

А у Ледоходова был для Кравченко костюм "Адидас" пятьдесят второго размера — тюленька в тюленьку. Кравченко для порядку полтора раза отказался, а потом взял.

Примерил. Втянул живот.

Да уж в "Адидасе" за столом и остался.

И живот еще долго не выпускал.

Желтый цвет был ему к лицу. Желтый с черной каймой. Он смотрелся в свои отражения в "горке" и видел себя опытным, ловким, завидно моложавым.

И вечер вдруг взял и ушелся.

У него, у Кравченко, получалось и бокалы с шиком наполнять, и остеречь к месту и без нажима, и умствовать, не больно умствуя, — ну, в ударе был, в ударе. Ведь получилось же выкинуть из ума два куса неприятностей. И вот вам результат. И жена была на высоте — яркая, благоухающая, таинственно радушная. И Ледоходов вдруг оказался весьма непустым человечком, тоньше, чем предполагалось, с неколючими иголками, прворным знатоком застольного этикета и всевозможных московских

историй и историек, поучительных и не очень. Везло Кравченко в определенных ситуациях на таких вот наивных носителей современного фольклора. Да и вообще ему раньше *всегда* везло. Размышляя над этим, Кравченко выделил "всегда", а надо б ему упор сделать на "раньше" было, да что уж теперь советовать, разве что в шутку подсказать, мол, мыслили бы себе, Юлий Вадимович, сплошным курсивом, так и горя б, может, не знали. Нет в этом мире мелочей, нету. Все тут выделено. Так в чем же шутка? А Бог его знает. И не сердитесь вы, Бога ради, тут же просит нас неумный рассказчик, что я, мол, в шутку, не в шутку, а вот и Юлиану подсказать норовлю, посочувствовать, так уж меня мама с папой научили, говорит он нам, — людям надо помогать, и тут уж ничего не поделаешь, любой человек, даже главный редактор, вправе рассчитывать на чью-нибудь поддержку и сочувствие, а то как же? а то иначе ведь мир вообще пойдет наперекосяк, так что не сердитесь, пожалуйста, дорогие мои. Ну, что тут скажешь. Рассказчика, как говорится, не выбирают. Он сам, как говорится, приходит и рассказывает, а вы уж можете себе слушать, а можете, если можете, не слушать, а ускользнуть и двигаться дальше, не обремененные новой историей. А толку что.

— А как-то по весне, — говорил Ледоходов, — в мае, еще до войны, году в тридцать девятом ваш покорный слуга, будучи, смею вас заверить, весьма молодым и самоуверенным молодым человеком, только что демобилизовавшимся из рядов РККА, то есть рабоче-крестьянской Красной Армии...

— Да знаем мы, Сулеймен, что такое РККА, — бодро ворчал Кравченко, — что ты нам, как детям...

— ...в компании своих сверстников, тоже демобилизовавшихся, и де-вушек в светлых платьицах...

— Мы с Кравченко и РАБКРИН знаем, — звонко, залихватски говорила хозяйка дома, — и НОВОЯЗ с ОПОРЯЗом — "Здравствуй, писать трудно", и НКВД с КВЖД, и ГОЭЛРО...

— ...и новых знакомцев-первокурсников литературного института, и первокурсниц, гуляя, знаете, весело по нашему зоопарку и, вынужден признаться, находясь в известном смысле под легким шофе, представьте, осту-пились, увы, поскользнулся на чем-то невидимом, весна, знаете, птички поют, да и полетел кубарем прямо на бегемота, хотите расскажу? Рассказать?

На Кравченко напало *déjà vu*, все это уже когда-то было, но он не смог вспомнить, что и когда. Кто-то уже в какой-то из прожитых эпох куда-то на кого-то где-то падал почему-то, кубарем летел... выныривал?.. среди льдин совсем один?.. нет, с кем-то, вроде... с кем-то кто-то... кто же? Ну,

не я же! Тогда кто? Ладно, сказал он сам себе, отстань, не до тебя, не сейчас. как-нибудь после... Ну, что ж, он заставил себя хотя бы вспомнить русский термин для *déjà vu*, и вспомнил: *парамнезия*. И усмехнулся, ничего себе русский!

За столом сперва, конечно, старались, а потом уже и не надо было стараться — момент подхватил и укатывал их на приливной волне, сладко баюкал; и постепенно все, что принес с собой Кравченко, и что Ледоходов с собой принес, и что нашлось в доме — все в ход пошло. И наконец исчерпалось до капли.

Сутки-другие спустя Ледоходов у себя в Москве с мороза за ужином так скажет своим домашним: "Представьте. За столом трое. Он. Она. И Гость. Между Ним и Ею — струна, ля-минор, вот-вот лопнет, а если не струна, то льдина с трещиной, вот-вот расколется, растащит их, а, может, и перемелет, сотрет в порошок. Между Ним и Гостем — зыбучие пески давних манипуляций, взаимных финтов, обманов, хитростей, строго выверенных, баш на баш, обменов услугами, — топь, гать, трясина, болото. Через эту жуткую жуть переброшен тонюсенький мостик, досточка, жердочка — необходимость совместно отужинать. Он зазвал Гостя, замыслил этот ужин, заманил всех и вся, потому что в голове у него родился некий план интриги. Коварнейшей из всех интриг подлунных! И вот трое за столом весь вечер катают от борта к себе в середину, иногда шары сталкиваются, щелк! искры, дымок. И это даже весело, даже азартно. И непонятно, кто против кого. То есть, вот так вот. А потом вдруг застолье становится просто застольем, ничем иным, даже не перемирьем до рассвета, нет, просто ужин, а как завтра будет, никто не знает, но и не гадает, нет, покер, конечно, но без карт, без масти, без ходов, как бы ни о чем, вскользь, легко, представляешь, нет? А потом вдруг бац! — один случайный прокол, и все вываливается наружу с грохотом и срамом, как кишки из пуза. Вот такая пьеска. Ну, как?". А домашние его ему скажут: "А кишки разве с грохотом?". И еще они ему скажут: "А между Ею и Гостем — что?". И Ледоходов вздохнет: "Ничего пока. Пусто. Но нужно, чтоб было не пусто. Что-то туда нужно думать. Придумаем". А близкие ему скажут: "Сделай наконец для театра, Соломон. Они же возьмут. Хватит этого кино, бестолковщина все, пустопорожина, хватит". И Ледоходов, прищурившись, запишет в блокнот слово "пустопорожина" и, как всегда, улыбочиво покивает, соглашаясь со всем, что ему говорят его домашние, и размечтается, и внятно, и себе под нос. "А кишки, конечно, — скажет потом, — нет, не грюк, а блямс они, ты права, чвак они и хлоп". Кинодраматурги, знаете, как и хирурги, известные циники.

На пороге, на посошок, Кравченко с Ледоходовым расцеловались, обнявшись.
— А теперь, Сулеймен, о деле, — говорил Кравченко, размахивая взмокшим чубом. — Ты сценарий свой больше не мучь, не терзай, ни к чему, ты давай сценарий свой приноси, давай оставляй, а я уж, что от меня, все приложу, оформлю, устрою.

— А чего его мучить, Юлий Вадимович? — рокотал Ледоходов, позавыв про носовые платки с одышками, но устойчиво не переходя на "ты". — Не надо мучить. Все готово.

— Ну, ты даешь! — восхитился Кравченко. — Это ж на каких скоростях мы писать умеем! А?

— Труда не боимся, — рокотал Ледоходов. — От труда не бегаем.

— Ну, даешь!

— Звезд с неба не хватаем, но к труду приучены сызмальства, с голодного детства. Труд суть жизнь наша. Судьба наша. Простите старику помпезность. Наш удел.

— Это ты-то звезд не хватаешь?! А кто ж тогда?

— Нет, не хватаю, — говорил Ледоходов. — Таков удел.

— А трудиться да, мы да, умеем, — говорил Кравченко. — Мы уйдем, и кто? И кто, когда мы уйдем?!

— Все переделал, — говорил Ледоходов. — Все учел. Замечания, пожелания, подсказки ваши, Юлий Вадимович. Готов, как говорится, к труду и обороне.

— Вот и славненько, вот и приноси.

— Да он у меня тут, с собой.

— Вот и оставляй, раз с собой. Зачем зря туда-сюда, боты стаптывать.

— А то, может, все ж лучше поутру в кабинет, на голубой каемочке, чтоб официально?

— Ты что ж, Сулеймен, совсем обалдел? Просто так вот в глаза мне берешь и не доверяешь?! Отличник ГТО.

— Вот, Сулеймен Янович, — докрикнула из гостиной супруга, — мы еще и ГТО знаем, чуть не забыли, прости господи, и ВЦСПС, если хотите, с КПССом...

— Да ну, Бог с вами! — отвечал Ледоходов им обоим, тщательно не слыша веселый голос из гостиной и не менее тщательно отыскивая взгляд своего визави. — Обременять, знаете, не с руки. Только и всего. А кому ж мне доверять, как не вам, Юлий Вадимыч? Ведь больше, простите старика, доверять некому.

— Давай обременяй, — хорохорился Кравченко, слегка морщась на го-

лос из гостиной. Он то ли взмок лицом заново в непроницаемом новом костюме, то ли даже попросту прослезился. — Доверяй давай, обременяй давай — все выдержим, мы старая гвардия. А ты, значит, эта, стрелок во рошиловский, еще до войны, выходит, служил, да? Ну, даешь.

— Так точно.

— И где?

— В Карелии. В авиаполку. И в сорок первом туда же, в свою часть опять направили. Представляете? Редкое везение!

— Так ты что ж, выходит, Сулеймен Янович, эта, летчик боевой?! Ну, даешь!

— Никак нет. Наземное обслуживание.

— Ну, герой, даешь, старая гвардия, вот видишь? Ну, даешь! Мы и плечо другу подставим и сами не спотыкнемся. Ведь верно? Мы ж такие?.. У, какой увесистый! Весомо пишем, да? Эт-я понимаю. Ты что, Сулеймен, сюда "Войну и мир" запихнул для солидности? Хах-ха... А назва- нница я что-то такого у тебя и не припомню!

— Шутить изволите?

— Да нет, ты что ж, и в самом деле переименовал?

— Как можно, Юлий Вадимович. Не первый год замужем. Нет, конечно.

— Ну, ладно. Там разберемся, — Кравченко, шурша "Адидасом", сунул папку под мышку. — Можешь, Сулеймен, ехать домой со спокойной совестью, в столицу, к жене, детям, говорю тебе, ложись, езжай, предо- ставь, увидишь... Не сомневаешься, надеюсь?..

— Нет, конечно.

— И, эта, смотри давай осторожно ходи, не надо, эта, того, на гиппопотамов.

Ледоходов очень умело расхохотался и ушел, рокоча себе под нос какой-то свинговый мотивчик. Внутри же являл он собою человека весьма обескураженного, и предчувствия его были не ахти. Запутал-таки, сукин сын, на старости лет меня, старого человека, взял да запутал, мерзавец, сбил-таки с толку, ну, наперсточник, вот прохиндей! чего же он хочет? так разве ж разберешь, разве вот так с места уразумеешь?.. *что* это все сейчас было? для чего? может, и вправду влюбился? а что? и умом на радостях тронулся? вот это был бы номер!..

Из кухни по-новогоднему весело, переливчато позвякивала посуда. Хрусталь в "горке" перемигивался с люстрой. Кравченко с папкой под мышкой утер в ванной комнате полотенцем взмокшую голову и отправился в спальню. Сидя на кровати, он еще раз сфокусировал взгляд и перечи- тал название ледоходовского сценария. И эта, вторая, попытка не принес- ла утешения. Невзирая на собственные повсюду на папке свои же помет-

ки Кравченко вынужден был признать, что, как ни крути, а, судя по всему тому, что имелось у него в голове, а не на папке, видит он это название, будь оно неладно, впервые. Да. Была парамнезия, уныло сообщил он себе, а стала амнезия. Он швырнул сценарий на тумбочку у изголовья; пошатнулась, мигнула лампа, папка соскользнула на ковер, тесемки перепутались с узором, и не только тесемки, а все зловеще перепуталось, восстало, и узор ожил, надвинулся, а тесемки распушились, раздвоились и зашипели, злобные, гнусные, коварные... А ну вас всех к лешему! И, никуда не глядя, Кравченко принялся рывками стаскивать с себя взопревший желтый подарок и понемногу, натужно заваливаться на бок.

Жена, выйдя из кухни в новом переднике в цветочках, в ромашках, в маргаритках, голубых, белых, розовых, стояла в дверях спальни и долго и молча смотрела. Когда же, наконец, Кравченко со скрипом завалился и с протяжным зевком натянул на себя одеяло, и, с хрустом дотянувшись, щелкнул ночником и воцарилась тьма, жена, вздохнув не спеша, подала голос:

— Юля, — спросила она, — ты вернулся? Да?

— Что? А? А-а! Фух! — он подхватился, как молодой, вскочил, защелкал выключателями — один свет, второй, третий. — Фух, прости, задумался, — впопыхах кинулся одеваться. — Совсем задумался. Много работы, понимаешь, работы много. Фу, черт! А вещи, ты вещи собрала, да?

— Бедный Юлик, — вздохнула жена и вернулась на кухню. Оттуда крикнула: — Кравченко, не суетись. Муж явится не скоро.

— Куда ж ты запропастился? — встретили его у себя в прихожей сонная Ева с сонным Киссинджером. — Мы себе места не находим.

Кравченко перепробовал подряд несколько ответов: старый, как для старой жены, новый, как для новой, средне-привычный, почти забытый, как для себя — к правде даже не подобрался, закашлялся, попросил пить.

— Срочно спать, — подытожила Ева.

Засыпая, он выслушал наставления о том, что в старый дом ему самому ходить больше не следует, пускай Гриша-шофер за вещами ездит.

— Ты забыл, Юлик? — зевнула Ева в унисон с Киссинджером. — Я ревнивая. Он забыл.

Он стал часто что-нибудь забывать.

Неделя день за днем давалась ему натужно, со скрипом, с каким-то инородным надрывом, пока еще не ясным ни ему самому, ни окружающим. И проявлялось все это в, черт ее подери, никому не доказуемой,

без цвета, без запаха, и тем не менее все возрастающей тяжеловесности его собственных мыслей и действий. Кравченко охарактеризовал это неожиданным образом: "Брюки отяжелели". Да, именно этой фразой снабдил он себя как-то по утру во вторник или в среду, шагая по аллее из съемочного павильона в направлении любимого кабинета. Да, представьте, те самые, несколько просиженные, слегка мешковатые, но по-своему элегантные, молодящие его брюки, под один и тот же знаменитый пиджак с полдюжины разноцветных пар, в тон ему, конечно же, серых и, конечно, темно-серых, и туда же зеленых, бутылочных, и темно-синих, а-ля офицерская диагональ, и светло-серых в многоярусную клетку, и коричневых, тоже диагональных, и темно-коричневых, — все эти брюки, представилось ему, разом отяжелели, напитав из атмосферы шершавую дотошность с колючей злокозненностью, и ходить в них сделалось неграциозно и обременительно. К воскресенью он добрался весьма измочаленным и сбитым с толку — и тем, что творилось снаружи, и тем, что происходило у него внутри.

А воскресенью предшествовала суббота, свадьба, будь она неладна, которая в логике всей безумной недели могла бы сойти за ничем не примечательную, то есть, банально-конфузную. Могла бы, да не сошла. А субботу предваряла еще и пятница, вторая ее половина, когда обворожительная и благоухающая у него в кабинете Ева вдруг фыркнула:

— Как это без меня! — фыркнула Ева. — Зачем тогда все это нужно? Чтобы прятаться от всех вот так, да? Только и делать! И что, и что?

— Никто не прячется, Ева, мы же гуляем по парку. Но для официальных демаршей время еще не пришло.

— А когда? И почему демарш — выйти со мной на люди? Почему?

— Не просто на люди. Просто на люди — мы по парку имени Ленина гуляем, — повторил Кравченко. — А эта свадьба — она не простая, а, изволь видеть, свадьба эта — заключение особого альянса, некая перестановка сил в сфере под названием отечественное кинопроизводство, то есть, Евочка, в нашей с тобой сфере деятельности, в сфере наших с тобой, Евочка, непосредственных интересов, и мы с тобой, девочка, как люди серьезные, как, замечу, упорные профессионалы, ведь так? просто не можем себе позволить подойти к такому событию несерьезно, непрофессионально. Без должного упорства. Без особого душевного ангажемента.

И Ева охотно сменила недовольство на простодушное восхищение:

— Как ты умеешь говорить, котик! Уму непостижимо!

Кравченко только отмахнулся и продолжил разворачивать глубинные древние стратегии перед своей молодой будущей женой. Да, жить теперь

с каждым днем ему было все непонятней, но зато столько новизны, сколько нынче в переживаниях выпадало на его долю, он даже приблизительно не испытал за всю предыдущую жизнь. Ни с кем прежде никогда он не был даже приблизительно так откровенен, как сейчас с Евой. Даже с самим собой. Тем более, с самим собой. А теперь вот был. И новизна всего того, что он так ловко сейчас впервые в жизни излагал, пробовал на звук, на вкус, на риск, на дозволенность, во-первых, вынуждала его самого увлеченно прислушиваться и внимать словам своим, а во-вторых, будоражила и возбуждала его сразу по всем направлениям, сразу во всех ракурсах и смыслах.

— На торжественном приеме по случаю подобных альянсов, называемом обывателями просто свадьбой, на таком приеме все значимо, знаково, все симптоматично, всё! сплошные хieroглицы*, абсолютно ничего не случайно. Тут все, извольте, имеет свою многоликую и, я бы сказал, многоярусную коннотацию.

— Боже, какие ты, котик, слова знаешь!

— Говори, солдат, говори! — усмехнулся Кравченко, цитируя знаменитое кино. — Да?

— Да, да, — сказала Ева, — голова кругом, честное слово.

— На таком честном собрании, Евочка, — продолжил Кравченко излагать себя по поводу завтрашней свадьбы дочурки Любавского с Петенькой Трофимовым, — на таком, знаете, ристалище, тут любой взгляд, любой полупоклон, а уж тем более с кем ты под руку — все это тут усерднейшие артефакты, а не просто так, знаешь, погулять вышел. Самые, понимаешь, что ни на есть экспонаты с уликами, выпуклые и вмятые, для проникших, так сказать, для впущенных, для, так сказать, пользующихся доступом!

— Ох, честно, да, как на карусели, сладко так.

— Не просто блеск нарядов, стук приборов, звон бокалов, — не унился Кравченко. — Нет, родная. И не думай. И не помышляй. Все тут обладает напрадую семиотической подоплекой. Все тут, так сказать, и вся — тотальная экспертиза презумпции недоказуемости. Вот как. Да. Сплошная, как говорится, атрибутика конъюнктуры.

— Котик, я тебя обожаю. Иди ко мне.

— И потому в эту субботу я призван, девочка моя, действовать в парадигме прежних наших устойчивых, так сказать, матричных концептов.

— Милый, ты бесподобен.

* Sic! (Прим. рассказчика.)

— Но это, Евочка, конечно же, паллиатив. Всенепременно и обязательно всего лишь паллиатив паллиативный.

— О, боже, правда? а что это?

— И мы по нему после, конечно же, ударим. Распатаем и врежем, как полагается. Бабахнем, как надо, по ним по всем. По отжившим конгломератам и конгломерациям.

— Да, да, как скажешь. А паллиатив — что?

— А пока надо потерпеть.

— Потерпеть? Значит, потерпим, раз надо пока что. Потерпим. Только потом. Только не сейчас, правда, милый? А сейчас пока что, милый, дверь запри, а потерпим потом, дверь сейчас, а потом пока потерпим, сколько надо. Правда? Что?

— Доверься мне, Евочка. Я знаю толк и в паузах, и в натиске. Знаю, знаю, когда надо встать и врезать.

— Звучит заманчиво. Ну же.

— Положись на меня. Это с гарантией.

— А ты давай на меня, давай, а паллиатив — что это?

— Мы их, Ева, ох как одолеем.

— Да, да, котик, ох, одолеем... Ну же, мы же их уже же одолеем всех всегда, правда, котик? да? да? да? распатаем и как врежем, и, как только распатаем, так и врежем, да? да! да! ох, и врежем, навсегда, забирай меня с собою, забирай себе, да, да, всю, одну, сейчас, до дна... честное комсомольское... а паллиатив?..

Впервые в жизни Кравченко занимался любовью с любимой женщиной в любимом кабинете на своем любимом столе. Случись с ним нечто подобное лет на двадцать раньше, может быть все сложилось бы по-другому, — и у него лично, и в отечественном кинематографе, и, быть может, а что! в судьбе всей необъятной империи, ведь если бы, тут же нам подсказывает вездесущий, всегда себе на уме, рассказчик, если б все люди наконец, подсказывает он, взялись бы каждый на своем месте да наладили со всей ответственностью свою так называемую сексуальную жизнь, с тем, чтоб она перестала быть, представьте, так называемой, так разве были б тогда на Земле войны? разве тогда бы не перевелись враз старпёры во всяких политбюро и центральных комитетах и юные и не очень юные онанисты в райкомах? обкомах? профсоюзных организациях и первичных цеховых ячейках? ох, рассказчик! все б вышло иначе, да? тогда бы, — но не теперь, ибо теперь по его же, кравченковским, собственноречивым, назавтра сказанным плаксиво-неразборчивым гундосо-хмельным словесам, обра-

щенным к расплывчато-очкастому масленичноглазому развязно-галстучному полусоседу за свадебно-полуночным разоренным столом с окурками в блюдцах среди сеledочных скелетов грандиозное это в его жизни событие предстало из настойчивого его нелегкого бормотания "всего лишь окказиональной имплементацией одной полуистлевшей, выдохшейся полугрезы", то есть, по его же словам, там же и тогда же: "не пришей кобыле хвост, или еще чего кому не пришей, или, — после паузы, — пришей, если хочешь, гы-гы"; да, вот чем все это оказалось сутки спустя, в субботу к полуночи, но все же, что бы он после ни наговорил, а тогда в кабинете в пятницу, в те минуты, он все исполнил по максимуму, как опасный цирковой трюк, — нарочито небрежно, однако крайне внимательно, насколько хватило внимания, — и ключ в двери провернул с чувством, с толком, и на стол к Еве вскарабкался не бездумно, а со всей ответственностью, верша акт преднамеренной крамолы в виду неприкосновенного портрета, в непосредственной близости и даже в контакте с бюстом Эйзенштейна и всевозможными неукоснительными бумагами в скрепках и бумагами в кипах, бумагами в папках и бумагами в стопках у себя на столе, в таком вот бумажно-бюстово-портретном антураже он браво отсвятотатствовал, он себе предумышленно позволил, *он позволил себе* — вот что он проделал наконец в кои-то веки, и известно в кои! впервые в жизни, и это не было, говорил он себе там и тогда, а не потом на чужой свадьбе, не было бунтом с его стороны, нет, чурался он всяких там экспроприаций экспроприаторов, а это было с его стороны всего лишь изъятием ему причитавшегося, обналичиванием, так сказать, именной облигации, ну, в крайнем случае, это могло б сойти в его исполнении за дружескую оплеуху собственным устоям для оживления тонаса последних; и сошло; и оттого ли, иль от чего иного, а только факт, что там и тогда испытал он такой прилив сил душевных и сил физических вперемешку с восторгом от жизни такой вот не правильной, что чуть от них и не лопнул, но не лопнул, а изверг их из себя в конце концов общепринятым способом.

Перевел дух. Опустошенный, деловой, счастливый, бегущий от смерти. Уффф.

Уф.

— Ты знаешь слова, котик, — проворковали ему. — Ты, котик, шаман. Ты кудесник.

Потянулся к телефону.

— Зачем? — вяло поинтересовалась Ева.

— Ничего особенного.

— Что ты делаешь?

— Только то, что необходимо.

Он снял трубку, вставил палец в отверстие на диске с цифрой два, заколебался, вставил палец в цифру шесть, но опять же вращать не стал, а погрузился в раздумья.

— В чем дело, Юлик? — спросила Ева.

Он не ответил. Сосредоточенно слез со стола и, склонившись над телефоном, ощущал поочередно все остальные отверстия на диске. Распрямился и повесил трубку.

— Ева, — произнес он торжественно, как глашатай королевский, — какой у меня на прежней квартире номер телефона?

Ева захохотала звонко, в потолок.

— Юлик, ты бесподобен! Это хороший признак, да?

Он не отреагировал. Он стоял торжественным истуканом и ждал, когда ему скажут номер. Ему сказали.

Тогда он ожил.

Проворно снял трубку, накрутил диск с бодрым звуком и, пережидая гудки, глянул Еве в глаза и произнес громко, выставляя напоказ нововылупившуюся раскованность:

— Совершаю неизбежный, знаешь, акт морального, знаешь, вандализма. Жизнь, девочка, сложна и полна нюансов. Никуда не денешься. Осознанная необходимость.

— А паллиатив это что? — спросила Ева. — Какое слово! Что оно значит?

— Добрый вечер, — начал он в трубку, как не начинал уже с незапамятных времен.

— Вечер добрый.

— Завтра, видишь, суббота. Мы приглашены к Любавским, они дочь выдают. Я заеду пораньше, ну, скажем, в пять. Поколесим по центру, подарок подыщем, окажи любезность... Так и охарактеризуем это — ты меня выручаешь, деловая по-дружески услуга, как? подходит?

— Деловая по-дружески?

— Ты меня очень одолжишь.

— Правда? — сказала жена. — Ловить на слове? А скажи, как ты думаешь, там, должно быть, будет весело?

— Весело? — переспросил он в недоумении. — В каком смысле? А, ну да, наверное. А чего нет?

— Вот видишь, — сказала жена. — А это весело, когда весело. Шампанское.

— Поверь, — поспешил он перебить. — Я действительно, я высоко ценю твою отзывчивость. Весьма и весьма обязан.

— Не стоит, Юля. Прибереги силы. А то не добежишь.

Повесив трубку и глядя на прихорашивающуюся у зеркала Еву, он стал размышлять, зачем такое сказано — прибереги силы. Будто знает, *что* у него тут, в кабинете; будто знает еще что-то, чего ни он, ни кто другой, пока не знают. Да ну ее, дуру психованную. Нашел, кого слушать. Шаманка доморощенная. Однако под лопаткой все же кольнуло подозренице, а не опустошился ли он тут сейчас, у себя на столе, как-нибудь эдак неэкономно, невосполнимо, черт забирай! Чего вдруг? С какой стати! И тут ни с того ни с сего ему сделалось скучно как-то, не увлекательно. На ум сползла дурацкая полудогадка — а что, если? А что, если почудилось ему, ему больше нечего делать, а? Не просто нечего делать на этот час или вечером в пятницу, или даже в субботу, или до конца недели, месяца, квартала, года, пятилетки, общественного уклада, а вообще нечего, навсегда. Хана полная. Делать нечего. А вдруг и впрямь только что у себя на столе он сдуру воплотил разом все свои чаяния, одним махом, в едином, так сказать, могучем порыве испытал и пережил все, что когда-либо мечтал пережить и испытать; и уровень амбиций, достигнутый, вспыхнул и растворился, заверченный, а шкала притязаний, исчерпавшись, оборвалась, а? Да что за чушь?! возмутился Кравченко, я редактировать люблю, причем тут. А что, если? продолжало упорствовать это самое "что, если?", что, если редактирование, столь любезное, Юлий Вадимович, вашему сердцу, было всего лишь сублимацией тайного вожделения, которое вот, наконец, взяло да и целиком воплотилось таким вот импульсивным образом под конец рабочей недели на монументальном столе в четвереньковом наклоне, а? что тогда? Да быть того не может! возмутился Кравченко. Ревность, да и только. Чья же? Ну, не моя же. Но делать было нечего, как ни крути, нечего было делать. То есть, вообще нечего. Повсеместно. И абсолютно. И это становилось несмешным. И это стало невыносимо. По углам кабинета шевельнулась серая жуть, глянула в середину, в седину, под ребро, в селезенку. Завыть впору. И завыл бы. Но тут на глаза ему среди сдвинутых папок, стопок и подшивок попался на чью-то беду сценарий Ледоходова. Испещренный, замусоленный, с истерзанными тесемками он пребывал там, где он пребывал. Кравченко же опять не признал в нем его заглавия, да и собственные повсюду пометки мало что ему поведали, зато фамилия вспомнилась почти сразу. И от нечего делать, от этого самого вселенского нечего, вдруг мелькнула такая же нелепая, под стать всему

вечеру, залихватская мыслишка. Взбодрила оригинальностью. Воскресила некое разумение себя в себе и в мире вокруг. А не зарубить ли его на хер к едрене фене, просто так, чтоб знал, а то много чести — и коньяки, знаешь, пивать, и гонорары заграбастывать... Так хотел же отблагодарить. А за что? А вот именно, а за что?.. Так наверное ж и отблагодарил уже, раз у себя принимал, в гостиной, разносолами потчевал, чего ему еще, астматик изворотливый, гонорарщик в ботах стеганых?.. Подарки он, видите, дарить затеялся! Ах ты ж! Прощелыга краснопресненский. А кукиш тебе со льдом на подносе! Как? Не любишь? То-то. А нас так дешево, чтоб ты знал, не купишь, ловчила спортторговский... Баста! Зарубить Ледоходова — ход неотразимый, к херам собачьим, в капусту, в крошево, в книжку Гиннеса... Никто не ждет. Ни тут, ни там. Все хвоста прижмут. И там, и тут. Узреют, Кравченко неодолим, за ним силища...

— Юлик, — сказала Ева, глядя на него в зеркало под очень тупым углом. — А ты меня в звезды по экрану, котик, выведешь так же неукоснительно, да? ну, так же, м-м-м... неотвратимо, как и все, что ты делаешь? Непредсказуемо, да? Правда?

Почему-то Кравченко не стал отвечать ей в своей обычной манере, а задумчиво протащил свою холеную пятерню сквозь седую шевелюру и сказал по-человечески:

— Ева, я постараюсь.

В субботу на свадьбе Кравченко впервые в жизни упился в стельку. Это, согласитесь, может случиться именно с каждым. А не почти с каждым. И потому не посмеемся, а посочувствуем.

Очнулся он к ужасу своему сперва не знал, где, сперва даже не знал, кто, кто очнулся, видел паука огромного, неживого, наверное чучело, экспонат, размером с океанскую черепаху или даже больше, а, может, и не паук, а скелет пещерного зайца или даже бухгалтера с "Титаника" в нарукавниках вместе с сейфом и канделябрами, а, может, и не скелет, а на самом деле бронтозавр, и не чучело, а живое, рексобобик тираниус, кусакус рексус, набросится, будет грызть, тиранить, вгрызаться, загрызть, но тут это назойливое наконец, вильнув, не загрызет! улеглось в три измерения, вместились в размеры и понятие старой членистоногой люстры под ночным потолком в задом по нему наперед заваливающихся переменчивых трапециях бледного света от скользящего сквозь портьеру луча от фары машины мимо дома под окном спальни на втором этаже под дождем по лужам на старой площади, и когда люстра стала люстрой, тогда он и себя

(122)

(123)

— Тошно? — спросила Ева.
— Угу... А где она? — он обвел нетвердым взглядом квартиру.
Ева пожала плечами.
— Мы созвонились. Думаю, она вышла. Из тактичности. Будучи женщиной хороших манер.
Кравченко почувствовал в ее словах упрек, но ему было не до того.
— Не стой, Юлик, бога ради, — сказала Ева. — Одевайся, ради бога. Ты же хочешь домой или как?
— Домой, — кивнул Кравченко. — Домой.
Когда они наконец к радости Киссинджера уже выходили, Ева сказала:
— А ключ оставь. Он тебе больше не нужен. Я же просила тебя, но ты забыл. Давай сюда. Вот так, на видном месте. Ну, что, готов? И не забывай больше. Двинули.

Плюско ему, не увлекательно делалось все воскресенье. Наседала на него то и дело из пространства Евклидова геометрия, перетягивала вдоль и поперек, а в голове колотились друг об дружку деревянные полые мысли. Можете не сомневаться, что в таком состоянии он пребывал впервые в жизни. Стесняясь энергичной Евы, он и к дивану толком не прикладывался, и бодрствовать не бодрствовал, а слонялся по квартире с какой-то тощей газетенкой и наскоками редактировал в ней простым карандашом один и тот же абзац или колонку, и тогда на его одутловато-виноватом лице растопыривалась гримаса омерзения.

Ева сжалилась под вечер. Когда после кошачьего в сумерках прикосновения ее ухоженных ноготков к бесшумному в стене чехословацкому выключателю веселый свет брызнул в гостиную из хрустальной люстры из-под самого — ибо хрущевского — потолка, Кравченко с карандашом над газеткой вздрогнул на мягком стуле за овальным посреди комнаты под плюшевой скатертью столом и, зажмурившись, стон издал.

— Режет? Прости, Юлик.

Так же по-кошачьи Ева отменила хрустальную яркость, вернув гостиную прилегающий бархат сумерек.

— Скажи, котик, а ты, часом, не алкоголик?

— Ева!

— Ну, какой-нибудь, знаешь, в прошлом, по молодости, или закодированный, не знаю, подшитый, а срок вышел, а?

— Ева, — Кравченко торжественно прокашлялся и с хрустом выпрямился на стуле. — Ева, я самый здоровый в мире человек, какого я только знаю. Знал и видел.

— Вот и я думаю, — охотно согласилась Ева.
— Это полоса такая, — пожаловался в сумерках Кравченко. — А алкоголиком, ни прошлым, ни нынешним я никогда не был и не буду.
— Не зарекайся, котик. Не надо.
— Да ну, — сказал Кравченко и закашлялся.
— Вот видишь.

Ева прошелестела западногерманским пеньюаром и вернулась вскоре с толстенными на керамических канделябрах свечами с ароматом. Водрузила их по концам стола. Зажигать не стала. Почти невидимая, проблескивающая сквозь вечер улыбки фарфором и мерцанием камешков в серьгах, объявила решительно и добросердечно:

— Все, котик. Перемучался? И хватит! Ужин праздничный, оздоровительный.

— Да ты сдурела!!! Прости. С ума сошла? Меня ж воротит.

— А ты, котик, сиди тихо и не мяукай. Доверься мне.

— А что будет? И что?

— Ха! От недуга избавлю. Жизни радость верну. И хватит глупых почему.

Кравченко все же не удержался:

— А что за праздник?

— Воскресенье. Выходной!

Он притих. Она шелестела пеньюаром и постукивала вполголоса японскими шлепанцами, звенела посудой да чмокала дверцей холодильника. Потом щелкнула зажигалкой, затеплила одну свечу, другую. Сумерки отпрянули к стенам и потолку, раскрыли зыбкие объятия, нависли за спинами над столом. Перед Кравченко в тарелке с тирольскими мотивами блеснул порезанный на кружки соленый в меру влажный огурец с таким же помидором и кусок хлеба с маслом, а рядом стоял стограммовый налитый гранчак.

— Пока все, — сказала Ева. — Надо, чтоб у тебя получилось. А то ж ничего не получится. И я с тобой, котик, за компанию, — перед ней на тоже тирольской тарелке лежал тоже огурчик, крошечный, завитком, и подсушенный ломтик хлеба. — Ты готов, котик? Будь здоров.

Она чокнулась с ним хрустальным наперстком, аккуратно опрокинула его содержимое в яркий ротик. Кравченко не стал спорить, не стал рассуждать, а зажмурился и проглотил ледяную до густоты водку. Съел, кружок за кружком, укус за укусом, огурец с бутербродом. Жевал, опустив голову. Редактировать силы иссякли; был уверен, станет худо. Но не стало худо, а стало ему здорово. Наскоком, безоговорочно. И обнял его тогда густеющий вечер многослойными и бархатом и парчой, и воспрял человек

среди вкусов и ароматов, распахнувшихся в тот час его пробужденному ощущению жизни.

— Ты смотри, — залепетал он, — ты смотри! Вот уж не знал, не гадал. Первый раз в жизни, представь, похмеляюсь ведь, первый раз. Вот уж не ведал, честно, и думать не думал. И никогда, ни разу. Ты смотри, первый раз!

Ха, ха, ха, мог бы прокомментировать тут наш с вами, досточтимый читатель, досточтимый рассказчик. Но он этого не делает. Могли бы и мы самостоятельно посудачить, мол-де, с нашим-де героем опять приключилась небывалая прежде коллизия, угодил бедолага в такую полосу, что коллизии эти прут теперь да прут на него плотным строем, строй за строем, — ни дать ни взять психическая атака из "Мы из Кронштадта". Уморительно? Наивно, как старое кино? А Бог его знает. Все-таки жизнь человека. Такого вот человека, такая вот жизнь. А что юмора у Творца наготове попросту не меряно, так кто ж того не знает? Кто? Тут добавить нечего. Вот и не станем. А лучше воспользуемся просветом задушевности в застолье при свечах, и пропихнем в него парочку назревших вопросов.

Просвет с вопросами

Мы: — А ну-ка, признайтесь поскорее, почему такой отлаженный уклад такой влиятельной, как вы рассказываете, персоны вдруг ни с того, ни с сего дает сбой и идет в разнос? А?

Рассказчик (*достойный сын своего славного города на вопрос — вопросом, и не одним*): — А вам, значит, причину с ошибочкой на блюдечке с каемочкой, да? я вас правильно понял? Мораль на подносе в авторском соусе? Так что ли? А вы-то сами как думаете?

Мы (*переполняясь чувством собственной правоты*): — Так мы ж, мы ж не знаем, что думать. Вы ж, вы же знаете, что, а не мы ж.

Рассказчик: — Позвольте, эта штука у вас на плечах — башка? Правильно? Ваша? Господь не обделил? Папа с мамой не обидели, нет? Ну так как?

Мы (*обиженно*): — Ну что "как"? Рухнула, ясно, семья, верная ячейка общества, это раз, — вот и перегадил себе старый козел всю на фиг автобиографию... это два...

Рассказчик (*разражаясь заразительным смехом*): — Авто, говорите, био? (*Хохочет*). Позвольте взять на вооружение. (*Дальше с тонкой печалью*). Борода, седина, бес в ребро, так что ли? М-да. Не шибко. (*Энергично*). Вот что я вам скажу. Ваши "почему" от праздного ума, а не от настоя-

ний сердечных, они только пошлости прибавляют туда, где ее и без вас с лихвой предостаточно. Вы меня поняли? Вы здесь, чтобы дослушать, я здесь, чтобы досказать. И баста! Бросьте все ваши ля-ля, и мы покончим с этим поскорее.

Возвращается на свое место, откуда его хорошо слышно.

Мы (*в зал, обескуражено*): — Вот так разъясненьице!

Еще одни мы: — Задушевно, ничего не скажешь.

Третьи мы: — И как теперь это понимать?

Голос из зала: — Да сядьте вы уже, честное слово!

Рассаживаемся по своим местам, откуда почти все слышно. Помалкиваем.

(Конец просвета.)

— Ни разу в жизни, — умилился Кравченко. — И вот на! тебе. Вот тебе на.

— Отпустило, котик? Суп несу. Прозрачно-золотистый. По всем правилам похмельной науки. С вермишелью и сухарями.

— Да откуда, ты, позволь, Евочка, правила-то такие знаешь?

— А ты вспомни, кто у меня отец на Дальнем Востоке. Вспомнил? Он тебе понравится. Вот увидишь.

— Надо думать, — роняя крошки, благодушествовал Кравченко сквозь горячую еду с сухарями. — А я ему? Вот ведь вопрос не праздный.

— Ты о возрасте? Вот ты глупый...

— Ну, почему, не только. Иные аспекты, ракурсы. Кто я тебе? — (Ну чисто Гамлет при супе с вермишелью.) — И кто мне ты?

— Чтобы расписаться, котик, — напомнила Ева весело, — надо сперва развестись. А не наоборот.

— Монтаж правильный, — соглашался Кравченко. — На него бы Шуберта. А потом уж и с папенькой знакомиться.

— Шуберта?! — Ева хлопнула ресницами, как принцесса из мультфильма. — Почему не Мендельсона?

— А я их путаю, — признался Кравченко.

Управившись с супом, он взмок и осовел, однако в голове у него некоторым образом прояснилось.

— Много пью последнее время, — сообщил он и принял под второе еще одну стопку еще одним махом. — Грешок завелся.

Потом Кравченко промакнул салфеткой усы, лоб и шею, назвал Джерри Джимом и, стуча себя в грудь, стал аргументировано и нечленораздельно жаловаться Еве на себя самого на вчерашней свадьбе.

Ева слушала участливо, подсказывала выводы, помогая ему спра-

виться с удушливыми приступами раскаяния, с нападками чего-то на подобие совести.

— Нервный срыв, — говорила Ева. — Это беда, а не преступление. Вкалываешь без передыху, и вот истошил себе нервную систему. Они ж там все, небось, лодыри откормленные, с них, как с гусей, хоть бы хны, а тебе выходит, котик, глотнул и с катушек.

— Ну, почему глотнул и всё? Я много, много выпил. Пилось-то как раз как вода.

— Вот видишь, и вкусовые акценты смещены. Дистония. Я научу тебя, котик, отдыхать. Ты скоро оправишься.

— И представляешь, нет, ты себе не представляешь, чтоб ему пусто было, — гундосил Кравченко и в который раз излагал Еве множащиеся подробности субботнего апофеоза, когда он при всем честном и еще не захмелевшем свадебном народе толкнул тост, в котором, сперва путано, а потом очень даже вразумительно, предложил всем дружно выпить за то, что у Любавского всего три, а не тридцать три, дочери, и поскольку две из них уже "выстрелили", то теперь всего лишь один (а не сто один) плохо воспитанный и не особо одаренный молодой прохиндей обладает гипотетическим шансом прорваться в уважаемый и почитаемый, как у нас в стране, так и во всем мире, большой отечественный кинематограф в обход, так сказать, главных ворот, где на часах денно и ночью бдят преданные стражи, такие как Кравченко и иже с ним, и мимо которых, конечно же, не проскочит незамеченным никакой случайный или не случайный проходимец, горько!

— А что ж супруга твоя с тобой? — риторически вопрошала Ева. — Отчего не осадила вовремя, не стащила за рукав, по ноге не стукнула, а?

— Самоустранилась! — вскинулся Кравченко. — А я на нее так рассчитывал!

— А ты на нее не рассчитывай! — наставляла Ева. — Кто она тебе? — еще один Гамлет в пеньюаре. — Она тебе кто нынче? А никто! Вот кто.

Кравченко виновато кивал чубом.

— Главное, котик, ты завтра извиняться только не вздумай.

— Да что я, маленький, честное слово!

— Изыск и натиск, ты умеешь, котик. Не давай им шансов. Только натиск. Без пауз.

— Да знаю я, знаю, — заверял Кравченко. — Что я, маленький? Не буду я в осаде, сам наступать могу, верно?

— А теперь спать.

В эту ночь его называли двужильным, и это был самый желанный за всю

жизнь комплимент. А, возможно, и не комплимент, а на самом деле, от души, хоть и шепотом, тем более, что шепотом! Очень может быть, что телесно той порой он и впрямь явил собой образец мужской напористости, однако психические казусы, скажем, с памятью, продолжили донимать его самым неожиданным образом.

Поутру в прихожей надевал пальто. Из спальни выпорхнула Ева. Пересекла кофейный из кухни аромат сквозняка.

— Юлик, брюки это, котик, не шотландский килт!

— Ты о чем?

— О том, что под брюками обычно носят трусы, так удобно, так полагается.

— Ну.

— А ты забыл.

— Шутишь? — он машинально проник себе под ремень. Сунул Грека руку в брюку, а никто его не цап! Хмыкнул. — Ты гляди! А где ж они?

— Вот. Возьми. Остались на месте.

— Так что ж теперь все переснимать заново?

— Думаю, да, котик, — сказала Ева. — Так будет правильно.

В ярко освещенной прихожей, в уже надетом пальто, уворачиваясь от возбужденного утреннего Киссинджера, он стаскивал с себя увесистые брюки, хмыкал и качал головой.

— Это ж надо. Первый раз в жизни, — хмыкал он.

No comment.

Всем молчать.

До десяти было тихо.

Его никто не трогал. Зажатый предстоянием один в кабинете, дабы укрыться от спрессованной пасмурности понедельника, Кравченко вспоминал свои комсомольские годы на историческом факультете, не события, нет, те от многократного редактирования стерлись, а общую эмоцию, она еще где-то витала, коснулась его, он умилился, прикинул (впервые) как бы это — жизнь переиграть заново.

Ждал.

Внутренний аппарат звякнул ровно в десять. Низкий прокуренный голос властительницы их общей с Любавским приемной пророкотал в трубке:

— Юлий Вадимович, еще раз доброе утро, вас просит к себе директор.

— А скажи, любезная... — произнес в трубку Кравченко и споткнулся: во-первых, заподозрил, что обычно обращается к секретарше не на ты, а, во-вторых, вынужден был признать, что напрочь не помнит, как ее зовут,

ни имени, ни отчества, ничего. Их секретарша была грозой всей киностудии, где трудилась с первого послевоенного года, то есть, более сорока лет; у нее на подхвате всегда стучали по клавишам да щебетали по телефонам две-три девчущки, и еще появлялись и исчезали грубые технички, долговязые и плоские курьеры и подозрительные, самого разного вида учетчики и учетчицы; их секретарша была на самом деле не секретаршей, а высочайшей эффективности и всеохватности суперадминистратором, с апломбом, уступавшим разве что только ее явным и тайным личным связям; она вела род из по-старому богатой династической семьи, кажется, стоматологов, уехавшей еще, кажется, в начале семидесятых, а она не уехала, совершенно точно, и каких только предложений и приглашений, от каких только людей и организаций к ней не поступало за эти годы, а она осталась там, где осталась, — обожала кинопроизводство, и действовала тут так, как действовала, как сердцу любезно; миф о ее оголтелом церберстве давно превзошел размеры приемной, в которой оно, церберство, собственно, и осуществлялось, преодолел масштабы студии и города, рамки отечественного кинематографа и даже государственные границы, а о давних ее и недавних любовных похождениях ходили, нет, носились самые умопомрачительные слухи и легенды; она была жгучей крашеной брюнеткой в дюжине золотых колец, с тяжелыми украшениями в ушах и на шее, с вишневой помадой на губах и сигаретных фильтрах и сверкающим маникюром *Bloody Mary*, бликующим сквозь вечно выющийся дымок *Rothmans* или *Marlboro*; и вот эту женщину бессменный уже без малого четверть века главный редактор киностудии Юлий Вадимович Кравченко умудрился забыть, как зовут-величают. Если это не катастрофа, то тогда скажите, а что тогда катастрофа? — Э-э-э, любезная... А впрочем, ладно! Все там будем...

Он швырнул трубку и выругался. Что это я только что сморозил? Он потряхнул чубом, распахнул дверь кабинета и, одолевая тяжесть штанин с манжетами, двинулся через приемную.

Глянул мельком на секретаршу и, если честно, то почти уверился, что прежде никогда ее не видел.

А что, все может быть. Совсем с ума посходили, мелькнуло у него в голове. Разве ж можно так.

Эта женщина у них в приемной ему сказала:

— Юлий Вадимович, а хотите, я вам пенталгин добуду?

— Что за глупость! — наклонившись вперед и слегка запыхавшись, он продолжал грести через приемную, оказывая сопротивление невидимому встречному потоку. — В жизни лекарств не принимал. С какой стати?!

Она окунула его сквозь дымок в рентгеновский взгляд черных очей и улыбнулась по-вишневому:

— Ну, не хотите, как хотите.

Он наконец достиг противоположной двери, ухватился за ручку и, не рассчитав силы, рванул створку настежь. Колдовское давление приемной теперь вдруг буквально впихнуло его в кабинет и устремило чуть ли не бегом по ковровой дорожке на восседавшего за столом с постным видом директора.

— Ну что? — прямо от дверей с перепугу на бегу возопил Кравченко. — Что там еще? Стряслось что-нибудь?

Каким бы закаленным номенклатурщиком господин, как теперь принято, Любавский ни был, а только вряд ли за всю его некроткую карьеру когда-нибудь к нему в кабинет по его же вызову кто-нибудь заявлялся таким вот неопикуемым образом. И пусть определяющим фактором в поведении Кравченко в то утро было не что-нибудь, а прогрессия его собственной амнезии, но только результатом всей этой безалаберной эксцентричности явилось для начала полное Любавского замешательство. И потому мы с вами никогда не узнаем, какой разнос или чего похуже было уготовано Юлию Вадимовичу в то утро. Субботний тост, похоже, проскочили! Что бы директор ни замыслил со вчера с вечера и сегодня с утра пораньше, каковы бы ни были предварительные разработки этого непростого разговора, теперь они спутались и рухнули, а установленный загодя вектор развития событий переломился, как тростинка, и новое направление пришлось выверять уже по ходу. Замешательства своего тертый, битый, многоопытный Любавский, конечно, не выказал, а вместо этого свою постную, с которой в ожидании виновника восседал в кресле, физиономию он оперативно сменил, минуя дрогнувшую и растерянную, на участливо озабоченную.

— Да вы присядьте, Юлий Вадимович! — вышел из-за стола, раскинул руки. — И, может, для начала все-таки здравствуйте?

— Конечно, здравствуйте! — заявил Кравченко, не моргнув глазом. — А то как же!

— Да, действительно, как? — согласился Любавский и обратился к своему визави, не поймешь, то ли с подспудной угрозой, то ли с хорошо скрытым юмором, то есть, то ли и впрямь официально до одури, то ли стилизовано под что-нибудь вроде "*Волга, Волга*" или "*Здравствуйте, мы вас не ждали*". — Присаживайтесь, товарищ Кравченко, — сказал он (представляете?). — Вы, товарищ, присаживайтесь. Стулья у меня здесь все

крепкие, с запасом, так сказать, прочности, так что смело располагайтесь на любом, какой душе милее.

— В мой огород? — констатировал Кравченко, хоть и вопросительно, а все же констатировал. Про себя подумал: я риторик. А вслух продерзил: — Только при чем тут душа? Что за душа? Откуда? Мы ж с вами в атеистическом ключе, я так понимаю, любезный э-э-э...

Пауза. Нет, не помнил он его имени-отчества, напроць не помнил, а, может, и не знал никогда. Спасибо, что хоть фамилия не улетучилась, и спасибо, что Любавский хоть был похож на Любавского, не полностью, конечно, но в основном, в общих чертах. Виделось ему, Кравченко, что это Любавский: рубашка белая, подмышки потные, на локтях пружинки для поддержания рукавов, на спинке кресла пиджак с орденом "Знак Почета"; помнилось ему: это Любавский — подтяжки сиреневые, и на двери **ДИРЕКТОР**; зналось ему, Любавский это: розовый, лысый, в испарине, губа голая, зуб золотой, пальцы волосатые — достаточно точно, хотя, конечно, можно и ошибиться, никто не застрахован. Повсюду коварство. Предполагалось: они уже встречались, видимо, по работе, и еще, пожалуй, на торжестве по случаю, чтоб ее, свадьбы, не забыть бы.

— ...любезный товарищ Любавский. А? Атеисты мы или кто? А в отношении стульев и подавно ни ум, ни сердце, а разумно тут принять во внимание одни только предпочтения родной жоны.

— Всегда завидую вашему юмору, — грустно сказал Любавский. — А мне Бог, знаете, не дал.

— Бог? — вскинулся Кравченко. — Душа? Вы что, мою идеологическую выдержку проверять надумали?! Так она у меня, позволю заметить, хоть куда. И выдержан. И устойчив. И что вы хотите. И чхать мне и на бога и на черта! А руководствуюсь по жизни решениями партсъезда, да! Можете проверить.

Сказал и похолодел: и зачем только ляпнул, а вдруг как спросят какого, за номером, позвольте, партсъезда решениями он, голубчик, руководствуется, уж не третьего ли, к примеру, РСДРП? или, скажем, ВКП(б) семнадцатого? Что тогда? Он же напроць не помнит, какой по номеру был последний, основополагающий. Двадцатый? Да нет, вроде. Вроде, и двадцать второй уже прошел. А, может, и двадцать четвертый с двадцать пятым, и еще. А, может, нет.

А Любавский, собака рыжая лысая, будто мысли прочел (коварство повсюду), говорит вдруг как в кошмарном сне:

— И каков же, коллега, позвольте, по счету тот партийный форум, решениями которого вы сегодня дерзаете руководствоваться, если не секрет, а?

Всё, это конец, и голос у него, как у заевшей шарманки, и говорит он не то, что думает, а то, что, видимо, собака, знает, и хочет — не хочет, а говорит, твякает, пробирается сквозь ноздри и уши под самый череп, волосы дыбом, мороз по коже, ну, что тут скажешь, конец, слов нет, воздух весь вон вышел.

Я бы, дорогие мои, говорит тут рассказчик, если б не знал наверняка, никогда бы сам не поверил, представляете, что Кравченко, тот самый Юлий Вадимович Кравченко, непотопляемый, в своем знаменитом сером пиджаке, со своим в руках знаменитым, черным, как ворон, кондуитом, сам знаменитый, как черт знает что, среди всей честной кинобратии от Москвы до самых до окраин и неизменно пользующийся страхом, ненавистью и черт знает чем еще прямо и косвенно зависимых и независимых от него сотен и сотен людей, этот вот весьма главный, а главное, *тот самый* индивидуум взял да, представьте, обмер, обомлел с ног вдруг себе до самой головы, и обратно, и речи дар утратил. Каково! А отсюда непосредственно вывод, что вовсе он, стало быть, уже и не *тот самый*, а какой-то иной, ни себе, ни кому неведомый, переменившийся, и сколько б мы при этом ни пеняли на великие катаклизмы самой эпохи, а только, согласитесь, некультурно все же будет проигнорировать здесь урок для тех, кто в своем редакторском раже не пощадил цензурой даже собственную память. И вот. Се человек неведомый, беспощадный, и в ступоре.

Однако Любавский его молчание истолковал по-своему, а свое, не устояв под натиском неведомого, нарушил:

— Ну, будет вам, Юлий Вадимович. Мы ж не дети. Чтоб вот так в молчанку играть.

— Ну, не знаю, — сказал Кравченко, и это была правда: он не знал.

— Ну, хотите, — предложил Любавский, — юмором меня не кто-то там, а пускай папа с мамой не наделили. Обидели. Пускай папа с мамой. Так устраивает? Присаживайтесь.

— Ну, раз приглашаете.

— Ну вот, — Любавский и себе устроился в своем высоком кресле. — А то, что это мы с вами все на бегу, да на бегу, как случайные пешеходы, а? Кравченко пожал подложным серым плечом.

— Не вижу проблемы. Привык действовать быстро. Оперативно. Работы ж не впроорот.

— Давайте так, Юлий Вадимович, прежде, чем дальше двигаться, сразу договоримся — не вы один на нашей, прошу заметить, *нашей* киностудии трудитесь в поте лица, не покладая, как говорится, рук.

— Готов признать, ...э-э-э... товарищ Любавский. Отчего же.

— Вот и славно. А что это мы с вами официоз такой развели, Юлий Вадимович? Я ж провеличал вас товарищем к слову, так сказать, иносказательно, то есть, попросту говоря, в шутку с юмором. А вы, прямо дело, всерьез подхватили. Отбой, дорогой мой, отбой, так не годится. У нас с вами имена с отчествами имеются. Очень даже. Прошу незамедлительно вернуть их в обиход. Договорились?

— Не вижу проблем, — твердо произнес Кравченко, ничего иного, кроме проблем, в этой беседе не видевший. Он стал бешено соображать, как же выкрутиться из такой несусветной, без имени, без отчества, ситуации. Первый раз, бормотал ему его внутренний бормотун, такое вот первый раз. И поскольку бормотал бормотун без умолку, то, конечно же, сообразить, бешено — не бешено, а как угодно, ничего толком не вышло. — Конечно, договорились, — еще тверже сказал Кравченко. — А говорите, вас бог юмором обделил.

— Ро-ди-те-ли, — по слогам поправил Любавский. — Сами ж, Юлий Вадимович, настаивали. Помните? Папа. С мамой.

— Ну, безусловно! — тверже твердого воскликнул Кравченко, норовя в такой вот, к месту — не к месту, твердости обрести хотя бы видимость сообразительности. — Только не похоже.

— Это ж в каком смысле?

— В том смысле, что обделили, не похоже. Вот в каком. Что-то не так? Ну, фрукт.

Нет, положи руку на сердце, досточтимый читатель, смогли бы вы успешно вести деловую беседу с таким вот, с позволения сказать, без пяти минут новобрачным? А? Управились бы самостоятельно? Без запрещенных приемчиков? То-то и оно.

Однако ж Любавский, что бы вы о нем ни думали, был кем угодно, но только не человеком для второго места. Он был для первого. Таких мужиков раньше в нашем городе было пруд пруди, — и бычка⁷ поймать на сковородку, и заводом управить, если надо, стопку дернуть, "козла" забить, и по шее, чуть что, наkostenять кому следует, и всегда загорелые, всегда на взводе, с хрипотцой и при соображении, — а потом они как-то незаметно даже не то чтобы поуждали все, или поумирали, кому час пришел, а просто как-то потихоньку быть перестали, и все тут. Повывелись. Нынче, сами видите, раритет.

— А давайте, Юлий Вадимович, мы с вами выпьем!

⁷бычок — черноморская рыба (Прим. Нептуна.)

Во как. Маневр "все вдруг". Не ждали? Свистайтесь наверх!

Кравченко промолчал. Если это подвох, то что ни скажи, все против. Он даже не воспользовался классическим "на работе не пью" или его расхожим вариантом "для спиртного рановато". Он просто промолчал.

— Коньяку! — объявил Любавский.

Кравченко не прореагировал.

— Будет вам в молчанку играть, Юлий Вадимович.

— Я не молчу, — твердо сказал Кравченко. — Я слушаю.

Эта фраза явно удалась. Сложилось наконец. Он приободрился.

— А чего слушать? Я вам выпить предлагаю, а вы молчите. Чего тут слушать?

— Бульки, — твердо заявил Кравченко, повторяя шутку Скитальца. — Слушаю, когда забулькает.

Любавский расхохотался накатом, глаза навывкате, на стол приналег, раз, другой, третий.

— Ну, вы и экземпляр! Да нет, да я просто рад, да я просто счастлив, что нас с вами судьба свела. Это ж надо!

Кравченко промолчал.

— Юлий Вадимович, — продолжал Любавский, бодро разливая коньяк по фужерам, — да вы меня просто, можно сказать, не перестаете восхищать и обескураживать, честное слово.

Тщательно подбирая слова, Кравченко произнес:

— Я это не нарочно.

— Вот уж не сомневаюсь! — отозвался Любавский, протягивая полный фужер. — Нарочно такого человек в здравом уме вытворять не станет. Это точно. Ни за что не станет. А мы ведь с вами, Юлий Вадимович, оба в здравом уме, я правильно понимаю, оба? или как?

Вот оно. Кравченко вдохнул, Кравченко выдохнул.

— Если вы о субботнем торжестве, — он сосредоточенно потер серым рукавом о серый рукав, — то прошу заметить, во-первых, что по субботам ваш покорный слуга обыкновением имеет вкалывать с утра до ночи, а не сабанту разгуливать, это во-первых, а, если надо во-вторых, то могу утверждать, что, пусть, может быть, форма моего застольного, так сказать, озвученного для всей аудитории экскурса, вероятно, местами и являла собой некую рыхлость, некую сыроватость, зато по сути он, она, нет он, экскурс, был весьма выдержан и семантически правомочен. Я и сегодня, без всякой торжественности могу в глаза категорически повторить, процитировать все то же самое. Зять ваш новоиспеченный, Петр Трофимов, Петенька, категорически хам и бездарь. Или даже не так, а — бездарь и хам!

Пшеничные брови на розовом лбу едва шевельнулись, как шелкопряды во сне, а водянистый Любавского взгляд поверх фужера обрел новые безжалостные объем и ясность.

— Вы вот что, Юлий Вадимович, — произнес Любавский задумчиво. — Правило первое: на людях выпивать вам не следует. Не истолкуйте мои слова превратно, это не дружеское пожелание, а прямая директорская директива, пардон за тавтологию.

— Я вообще не пью.

— Вот и славно. Правило второе: а выпивать — прошу ко мне в кабинет, более того, настаиваю.

— Так я ж не пью, говорю ж вам. Не выпиваю.

— А вот это вы мне бросьте. Это уж я вам говорю. Раньше не выпивали? Не беда. Так сложилось, да? Не с кем, незачем? Ну что ж. Теперь это в прошлом. Теперь вот обстоятельства складываются иным, видите? образом. Я тут теперь руковожу. Управляю. Командую. Так что прошу любить и жаловать. И заметьте, Юлий Вадимович, именно и то, и другое. Полная искренность в сочетании с разумным уважением. А где ж их взять, если не поверять себя один другому на регулярной основе. А? То-то. И еще прошу заметить, что все предложения и пожелания, исходящие от меня в течение рабочего дня, автоматически попадают в официальную часть нашего с вами сотрудничества, и потому видоизменять их каким бы то ни было образом, деформировать, а тем более взять да отклонить, для вас попросту не является ни в коей мере возможным. Если вы, конечно, полагаете себя одним из нас, при исполнении.

Ну, вот вам здарсьте.

Так уж сложилась у Кравченко его карьера, что с первых ее шагов он попал под покровительство Покровителя, и потому никто другой, кроме Самого, никогда не позволял себе ни давить на него, ни запугивать. И вот нате, позволили. И кто! Лысый рыжий простачок! А таким затурканным с первых дней представился, что куда там. Сетовать поздно, а вот пугаться самое время, и, вникая в меру сил тому, *что* и *как* излагал ему этот вот без году неделя Любавский, Кравченко пугался отчаянно, страшился напропалую и испытывал всем своим естеством ужас неизъяснимый.

— Я, конечно, при исполнении, — заверил он твердо. — И я, конечно же, один из нас. Это не требует никаких доказательств. Вы спрашивайте и узнаете, что это аксиома.

— Ловлю на слове. Ну, будем здоровы, товарищ аксиома, а то коньяк выкипит.

Уффф, сказали оба и поставили на стол пустые фужеры. Пили по-разному, а закончили одинаково.

Переживая проникновение в себя коньячных глотков, Кравченко заставлял себя на стуле (тот и впрямь был прочен и молчалив) и вдруг припомнил Евины наставления, ни за что ни перед кем в тот день не извиняться.

— И еще я никогда не извиняюсь, — заявил он.

— Вот как?

— Да. Как Ева, — собирался заявить: "как Ева велела", но все ж спохватился и через легкий спотык выдал, — как Ева перед Адамом.

— Вот как?

— И сам, — сказал Кравченко, развивая коньячную ми-минор фантазию, — сам, прошу заметить, извинений не приемлю. Ни при каких. Ни я ни за что никому никогда, ни мне никто ни за что. Такой у меня, знайте, модус вивенди.

— Ну что ж, — сказал Любавский, разливая по фужерам. — Будем знакомиться, притираться. Куда ж нам деться. А мне вот, например, нравится принять от человека чистосердечное, да и сам, а что? могу, если повод достойный, принести свое, точно, к месту, а что? понимает, я вам скажу, вы попробуйте, понимает, увидите.

— А я нет, — повторил Кравченко и неожиданно для самого себя состряпал под коньяк каламбур: — Простите, но я не извиняюсь.

Любавский, опять глаза навывкате, хохотал в три наката, налегая на стол, цокал по нему хромированными замками сиреневых подтяжек. Кравченко тоже улыбнулся.

— Ну, согласитесь, Юлий Вадимович, — говорил Любавский, утирая слезы, — вы же кладезь. Не отпирайтесь. Кладезь? Ну, будем здоровы.

После второй Любавский полюбопытствовал:

— А за что, вы говорите, она извинялась?

— Ева?

— Ну.

— Перед Адамом.

— Ясно. А за что?

Кравченко задумался и придумал:

— А за все.

— Ясно. И это вы, Юлий Вадимович, тоже, говорите, вычитали в материалах съездов или мы, надо понимать, еще какую иную литературу на досуге почитываем, а?

— ВГИК я закончил заочно, — возвестил Кравченко, удобно распола-

гая замшевые локти на полировке посетительского стола. — А первое высшее у меня стационарное, университетское, историческое. А содержание Библии входит составной частью в курс по атеизму, да вы ж знаете, а как же, врага надо знать, вы ж знаете.

— Ясно, что надо. Я вот тоже высшую партийную одолел. В атеизме огромную стрыз собаку. А не припомню, чтобы Ева перед Адамом да извинялась.

— Вы думаете? Жаль.

— Вот именно. А надо бы, да? — и Любавский снова прохохотал на свой прибойный манер, а Кравченко снова расправил усы попышнее.

— А говорите, юмора нет.

— Правило третье, — объявил Любавский, разливая по третьей. — Дружить домами.

— Помилуйте! — вырвалось у Кравченко само собой. — Это ж уже и впрямь ни в какие ворота! Где ж это видано! Посреди бела дня. Оккупация с порабощением. Иго! Орда.

Над фужером с коньяком, как над рогом с вином кавказским, Любавский произнес проникновенную речь, подстать высокогорнейшему тосту.

— Сейчас вам это видится в таком ракурсе, Юлий Вадимович. Не беда. Со временем, обещаю вам, вы свою точку зрения перемените. Кардинально. И будете мне еще благодарны, вот увидите. Могу вас заверить. Сильно благодарны. В этой связи, позвольте, у меня к вам просьба. Настоятельнейшая. Вы, Юлий Вадимович, не художник-беспризорник, так? и не писатель-фантаст какой-нибудь, отнюдь, и не редактор, упаси Бог, какого-нибудь шалтай-болтай самиздата, верно? А вы, Юлий Вадимович, занимаете должность главного редактора одного из престижнейших в нашем государстве идеологических предприятий. Я ничего не путаю? Я прав?

Кравченко же не удостоил его тут ответом. И не потому, что желал продемонстрировать характер, или же в силу риторичности самих вопросов, нет. Поглощенный общим замыслом происходящего, он попросту не распознал в словах Любавского никакой вопросительности.

С первых же слов этого монолога большой интриги (МБИ) на главного редактора обрушились страннейшие переживания: он испытал внутреннее покалывание, будто его вдруг откупорили, и из него отовсюду к поверхности устремились пузырьки, и в таком состоянии воспринимать тост-модерн Любавского он мог уже лишь в его мелодическом аспекте с переливами и обертонами, не подлежащими расчленению на отдельные кубики смысла. Зачарованный, как кролик, он внимал магии звука и в какой-то момент ощутил изнутри внятный толчок-напоминание.

Нечто напомнило ему нечто.

Некий мелодический финт вдруг подтолкнул его, казалось, к распознаванию нераспознанного, но опять же с первой попытки ничего не случилось. Соскользнуло. Не удалось. Только наискось перед мысленным взором переливчатая пронеслась картинка индуса с дудкой и кобры с удавом, а где же кролик?

— Вы, Юлий Вадимович, так, чтобы нам с вами было понятно, не вождь племени мумба-юмба, надеюсь, согласны? а государственный служащий Союза Советских Социалистических Республик...

Что-то это все Кравченко, конечно же, напоминало, напоминало, но, ну, никак не удавалось ухватить.

— ...Высокого ранга служащий на службе у государства...

Все! поймал! распознал! Вспомнил. Узнал и обмер: это было его собственное отражение, это он был, а не Любавский, он, Кравченко, а он, Кравченко, был не он, а скиталец какой-нибудь зачуханный с какой-нибудь навязчивой идеей или даже без идеи, а так просто, тропинин какой-нибудь с ледоходным или кем там еще, сколько их всех за век перебивало, перебивало на скрипучих, на зыбких стульчиках по ту сторону его надежно оборудованного стола... Да вот теперь и ему черед пришел, или не ему? кто здесь где? а кому же? выпало сидеть незащищенным, уязвимым, маленьким на подходах к столу директорскому (кто с чем куда придет, тот там тем и ушибется) и, обмирая душой и телом, внимать, внимать...

— И я тут, не поймите меня, само собой, на службе, службист, а как же! и на этой службе руковожу предприятием, на котором вы служите на службе у государства. Улавливаете? И потому моя просьба к вам, Юлий Вадимович, любезный, не считите за бестактность, проста и вполне выполнима, а именно, самым оперативным образом в ближайшее же время, то есть на этой, голубчик, неделе, благо сегодня только понедельник, задокументировать полнейшее осуществление личного бракоразводного процесса и, как следствие, тут же, без промедления оформить чин-чином официально свои же, опять же таки, вроде как, личные, да? отношения с ненаглядной вашей гражданкой Евой батьковной, Адам вы мой, да? седовласый, Вадимович. А истязать себя, выводя в свет бывшую жену, думаю, больше не следует. В наш с вами, замечу, очень даже официальный свет вашу, замечу, очень даже бывшую — не годится, как говорится. Не рекомендовано, знаете, министерством здравоохранения. Я вам это, говоря простым языком, говорю вполне категорически, то есть, попросту запрещаю. А не то вы запросто, дорогой мой, вполне ноги протянете, Юлий Вадимович. А это нехорошо. Очень даже нехорошо.

— А знаете! — неожиданно звонко сказал Кравченко, которого, по прошествии вовнутрь и этой порции коньяка, все разом вдруг чудесным образом утруждать перестало. — Знаете, я, пожалуй, уже сейчас, попробую. Не надо мне, думаю, никаких дополнительных изысканий. Никаких консультаций.

— Вы насчет подтекста? Так говорю ж, нет его там.

— Я по поводу инициалов. Я, кажется, уже установил. То есть, восстановил. Вы позволите?

Любавский расположился поудобней в своем кресле, сделал широкий жест рукой и подтянул пружинки на локтях. Кравченко поднялся, вдохнул поглубже и, заливаясь краской, произнес нетрезво, от души:

— Прошу покорно простить мне мою непростительную забывчивость, уважаемый и дорогой такой-то и такой-то*...

Он выговорил имя-отчество Любавского достаточно членораздельно, не без известного артистизма, ничего не напутав, ничего не сократив.

— Ну, наконец-то, — воскликнул Любавский. — Верю! Давно бы так, черт подери! Верю, и хватит об этом.

— Все правильно? — спросил Кравченко, набиваясь на комплимент, мол, какая память, а.

— Абсолютно. Только вы вот что, Юлий Вадимович, присядьте, пожалуйста. И запишите. Тут. При мне. На чистой странице. Или к адресочку с инициалами. Пишите разборчиво. Я проверю. Шучу. А впрочем. Готово? И теперь, Юлик, чуть что, зырк туда, и — полный порядок! Пока так, раз так. А дальше видно будет. Ну, за дружбу, за то, чтоб не забывать, а помнить, будем здоровы!

Кравченко записал имя-отчество. Кравченко чокнулся. Кравченко выпил.

— Угощайтесь.

— И кстати, — Кравченко обронил слюну сквозь лимон с сахаром. — Чуть не забыл! Раз уж так, как оно, так — вот оно как. Смотрите. Я тут, здесь, не просто, а — аксиома, помните? понимаете, принимаете? согласны? нет? да? тридцать лет без малого аксиома, во, а вы тут, при всем уважении, кто бы, что бы, где бы, как бы, но только теорема, всего лишь пока теорема, которую, как известно, надо еще доказать, аксиому не требуется,

*Г-н Любавский в настоящее время занимает весьма крупный пост в одном из подразделений той самой структуры, которая некогда и направила его руководить киностудией, а потом, выбрав в новых временах момент понужнее, отозвала к себе же назад с вполне естественным повышением — ведь каждый ангажент теперь на счету. Мы не приводим здесь искомого имени и отчества, поскольку не желаем, чтобы у нас вышли неприятности, а на фамилию нами получена лицензия. (Прим. рассказчика.)

а теорему, как известно, требуется, вам, дорогой мой такой-то и такой-то, требуется, да, доказать, да, да, вам, ну, хотите, не вам, а нам — нам с вами, а, если нам, то тогда так давайте, вот так: я — не аксиома, ладно, годится? улавливаете? но и вы, дорогой мой, тогда — не командир, нет, не верховодец тут над всем без продыху, а то без продыху пару нема, корабль не едет. Договорились?

Говорил Кравченко, говорил и испытывал назойливое, маслянистое на ощупь чувство, что, вроде как, и не он это, а Любавский — тот излагает, а он, Кравченко, лысый и розовый, с шелковисто-пшеничными бровями, крепкий такой, основательный, внимает ему, Любавскому, седовласому, черноусому, в сером пиджаке с налокотниками из замши темно-коричневого цвета, внимает и внимает, и внимал бы так и внимал, и не важно, кто, где, кому, и зачем, и ничего не надо ни отвергать, ни редактировать, все уже саранжировано, уже мелодично, грандиозно и в полном ажуре...

— Ну, вы даете, — сказал Любавский. — Прямо как космонавт.

— Почему, космонавт?

— А. Долго рассказывать. Космонавт — Георгий Гречко, знаете? а рассказывать — долго, долго, ну, сил нет.

— Как жаль, — прослезился Кравченко. — И до чего ж это все печально, дорогой мой такой-то и такой-то. Грустно-то как, правда?

— Не правда. А над вашим предложением, Юлий Вадимович, я — покумекаю. Оно не лишено. А главное, от души. Я так понимаю? За это надо выпить. Не перестаю вам удивляться. Ясное дело, бабенки от вас наперебой без ума. И не отнекивайтесь! Вы же просто уникам, кладезь, фрукт и овощ. За вас! До дна.

— За Еву! — раздухарился Кравченко.

— Да, кстати, Юлик, — продышавшись и жуя, — что касается твоей точки зрения, высказанной столь экспансивно в субботу вечером касательно нашего режиссера Тропинина Петра батьковича, то, замечу, а ты кумекай, что в один прекрасный или же не прекрасный день, я думаю, я смогу ее разделить, точку-то ракурса — полностью или частично, там уж видно будет. Вопрос же не в этом. А в том, чтоб к месту, чтобы вовремя, а не когда моча в голову, конфуза ради. Ферштейн? Ну, давай еще по одной, не оставлять же.

— Так ведь уже другая, — заартачился Кравченко, и не столько из-за коньяка, сколько из-за вдруг царпнувшей его глубоко изнутри досады; досады на то, что, как он не тщится, а за интригой Любавского поспеть не в силах, отстает, и, как следствие, чувствует себя глубоко униженным по

всем правилам своего же собственного искусства унижать. — Вторая бутылка ведь уже, да?

— Ох, вы, Юлий Вадимыч, все на ус мотаете, да? все! Наблюдательности вам, значит, не занимать, нет? Кстати, примите комплимент, усы ваши лучше, чем у Михалкова, клянусь. Ясно дело, что девчонки млеют косяками. Табунами и стайками. И не отнекивайтесь, а принимайте. Вторая, говорите? Вот так цепкость восприятия! Кто б мог подумать. Об вашу зоркость, я вижу, любой престижиджигатор башку себе расшибет. Вдребезги! А! Какое слово! Что тебе топинамбур!

— Вдребезги?

— Престижиджигатор.

— А-а-а.

— Тем более, как я, доморощенный. Да-а-а. Вот так кинохватка, Люлий Ладимыч!!! Если б не память вот, могли б, доложу вам, бля, и в разведчики, да, сам бы рекомендовал, ну, если, конечно, усы сбрить, да, конечно, усы сбрить и все на фиг повызубривать от "а" до "я", правильно? а то, блин, представляете, мы вас, значит, с вами туда, как лучше, а у вас там без нас, значит, с памятью вдруг бац! и нету, хоть шаром покати, ни усов, ни памяти, ни даже щетины под усами, ай-я-яй, гуляй, Вася, гусей Гали, пусто, все на вас сразу: кто-о-о рекомендовал, а вы ж, ё, ни бумбум, вы ж там нэм тудом, фэрэшварыш, тут у вас хоть усы, правильно? а там что? один Балатон! вот умора б, если б представить, да, амнезия, конечно, да, частичная, разумеется, раз слово амнезия-то при памяти, молодец! ну, прямо в разведчики, только без усов, да? ну, будем!

— Будем, — сказал Кравченко. — Не оставлять же, и в самом деле. За вас, дорогой мой такой-то и такой-то! Правильно?

После этого тоста Любавский захмелел еще пуще.

Прикидывается, собака рыжая, ловко придушивается, что ему, быку-то пунцовому, сделается! это ж я, думал Кравченко, захмелел, я, а не он, а он, седой себе весь, импозантный, черноусый, вежливо так меня слушает, а я, весь себе заплетающийся, вот ведь как накатило! лысый и потный, с пружинками на локтях и замками на подтяжках — цок!-цок! по столу, — несую всю эту чушь в нетрезвом раже.

Кравченко снова протянул руку и во второй раз ощупал директора. И опять ничего не выяснил, только запутался. А у Любавского платок на этот раз был уже тут как тут, измочаленный, но вполне применимый, так что Любавский на этот раз утер им лицо, даже не прерывая своего надуманного бреда:

— А мы тут на местах, — мастерски бредил он, — люди простые, поспевай, понимаешь? Происхождения мы тут на местах самого что ни на есть пролетарского, в корень глядишь? рабочего, рабочие мы люди, разумеи, трудовые, конкретные, и требования наши тут у нас на местах тоже просты и неукоснительны, верно? не поймите меня неверно, однако так это или не так? Так! Верно ведь, ведь верно, что так, так что, смотри, не ошибись... — и т. д.

Кравченко засобирился. Любавский проводил его до дверей, обнял и прошептал вдруг тихо, трезво в самое ухо (мороз по затылку):

— Ты только, Юлик, упаси Бог, стучать на меня. Аб-со-лют-но беспер-спек-тив-но... но... но. Поверь на слово, — он отстранился и сказал уже громко: — А то, знаешь, есть такие работники, которые все что-то роют. И роют они, и роют яму за ямой, да что там ямы! котлованы целые, а не ведают, кому роют, невдомек им, Юлик, что себе роют. Вот чудaki.

Кравченко покусал усы, с одной стороны, с другой, посередке, и все же решился ответить:

— Не имею обыкновения, — сказал он. — Собственно говоря.

— Обыкновение тут дело десятое, — сказал ему Любавский. — Имеешь, не имеешь, сейчас не об этом. Да это и не суть важно. Я тебе о том, что на меня — ни-ни. Так как?

Кравченко снова пожевал усы и сказал:

— Честное пионерское!

— Ну, добро. Годится для начала.

Они обнялись.

— Ты теперь, брат, сегодня уже без толку по территории не шастай понапрасну, ты теперь, брат, домой давай. Очухивайся. Память репетируй. И порасторопней с моими рекомендациями, не тяни.

— Будет исполнено, такой-то и такой-то! — Кравченко взмахнул чубом и восхитился собственным послушанием. Ему вдруг понравилось подчиняться без рассуждений. А ведь хорошо, понял он. Хорошо-то как. И не надо ничего.

— На посошок.

— Это надо.

Они вернулись к столу.

— Я вам так скажу, Юлий Вадимович. Настоящий работник на службе он не гнушается ни пылинку с рукава смахнуть, ни ворвань себе отмыть, отдраить.

— Ворвань?! — изумился Кравченко, так, что чуть коньяк не расплес-

кал, а ведь казалось, не было уже никаких сил ни на коньяк, ни на изумления. — Вы сказали, ворвань?!

— Да, представьте себе, даже ворвань. Представляете?

И снова Кравченко испытал неодолимый позыв сказать правду. Дурной знак.

— Нет, — сказал он. — Не представляю. Простите, но ворвань это выше моих возможностей.

— Не беда, — сказал Любавский. — Вместе приналяжем. Ну — на брудершафт и по местам.

Кравченко добрался до кабинета бездумный, переполненно-пустой, почти счастливый. Разыскивая водителя Гришу, позвонил Еве.

Она спросила: — Не извинялся?

А он ее: — Что ж такое на самом деле, скажи мне, ворвань?

И Ева ответила:

— Езжай домой, котик. Я тебе ванну наберу.

А он ответил на ее вопрос ей:

— Нет, не пришлось.

Всю следующую неделю каждую ночь он редактировал новый невиданный сон и к воскресенью вымотался окончательно.

После прогулки по парку с Евой и доберманом Киссинджером он улегся в гостиной на диване и мгновенно погрузился в шумный поток короткометражных сновидений, они разнились по стилю и тематике, он суетился, не поспевал, резал их на хип-хап и проклинал все на свете, опасаясь неизбежных наказаний.

Была ночь. Такого с Кравченко еще ни разу не случалось, чтобы взять да проспать ни с того ни с сего полвоскресенья. Он включил свет и ходил по гостиной бездумный и злой, пересчитывая на полках яркие тома чужих сочинений. Из спальни сонный голос Евы: "Юля, ты голоден?". Буркнул: "Спи, Ева, спи". Дверь спальни приоткрылась, оттуда выскользнул Киссинджер, зевнул, забрался на освободившийся диван, прикрыл один глаз, а другим наблюдал за Кравченко. Кравченко пробормотал: "Дай, Джим, на счастье лапу мне", и снял с полки пятый том сиреневых сочинений. Раскрыл наугад и, проглядев страниц десять-пятнадцать, отчеркнул простым карандашом те места, которые, будь они написаны сегодня, никогда бы не увидели свет. Чисткой классиков он занимался и прежде, так, для души. Это занятие неизменно дарило ему веру в собственные силы и успокаивало. Однако сейчас и оно не принесло облегчения. Он наскоро

почеркал еще два тома, небесно-голубой и зеленый с золотым тиснением, но так и не смог избавиться от пугающей вялости ума. "И зачем переиздавать?! — проворчал он. — Вредоносны, заносчивы... Померли... Жаль, что померли... Мы б их вправили, перекроили б... А так..." Он вернул книги на место и задвинул стекла. Оглядел полки, все сотен пять разноцветных прочных книг, и будучи уверен, что никто, кроме Киссинджера, его не видит, не слышит, позволил своим чувствам выплеснуться наружу.

— Зато экранизировать вас мы — во! — прошипел он и, вскинув руки, принялся раздавать этому молчаливому собранию хрустопалые синюшные кукиши. — Во! Накось выкуси! Во тебе, во!

Утомившись, он отправился в спальню к молодой невесте. Сон его был сладок.

А в субботу, ну, не в эту, так в другую, да, да, сыграли свадьбу.

И Любавские теперь у них были лучшими друзьями.

И Ева была без ума от жизни новой и друзей, и лично от такого-то и такого-то. Какие мужчины ее теперь окружали! Как в сказке.

А в понедельник зарубили Ледоходова. Удалось. И с таким душком удалось, на таком отчаянном провернул это Кравченко вираже своего вдохновения, что у старика даже в Москве вышли неприятности, причем не какие-нибудь, не до завтрашнего утра или там до конца недели, а вполне костоломные, на почве идеологии, пусть и угасающей, но еще очень даже прожорливой и зубастой.

Ледоходов, конечно же, ему позвонил, конечно же, в панике.

— Все, что мог, уж положитесь, сделал, — сказал ему Кравченко; он был холоден, собран, вежлив. — Однако ж вы, товарищ Ледоходов, и меня, извольте видеть, под монастырь подвели. Кто ж знал, что вы там такого вдруг понаписываете?

— Как, кто знал?! Какое ж вдруг?! Да вы же сами...

— Вот и название взяли изменили ни с того ни с сего. Взяли и...

— Да не менял я никакого названия. Ну, что вы, честное слово, Юлий Вадимович! Сто раз одно и то же. Да причем здесь вообще название, не название? Что вы там вообще на меня нагородили? Что там у вас, в конце концов, со мной стряслось наконец?

— Не меняли? — спросил Кравченко. — Очень странно. Ну, как знаете. И повесил трубку.

Больше Ледоходов ему не звонил.

В понедельник он проспал.

Открыл глаза, глянул на часы и, подхватившись, бросился к телефону. Возле телефона лежала записка: "Ты так сладко посапывал. Скажу, что нездоровится. Отдыхай. Обедаем вместе. Ева". Вот и работу проспал впервые в жизни, черт-те что.

Он отпихнул по-утреннему радостного Киссинджера, стал в ванной перед зеркалом и разглядывал свое отражение: седая шевелюра, черные усы, румянец на месте, взгляд голубой, зубы белые, язык розовый. Непонятно.

— Что ж мне делать до обеда?

Переливчатым контральто дилинькнул дверной звонок.

Кравченко терпеть не мог дверные звонки. Ненавидел, позвонив, ждать, пока откроют, не любил и сам никому открывать, потому что чувствовал себя при этом швейцаром без ливреи. Есть же ключ, проворчал он и пошел к двери, предвкушая, какой устроит Еве разнос.

На пороге стоял худой небритый человек на костылях, без ноги, с бутылкой водки в кармане растянутого пиджака.

— Что вам нужно?

— Папа, это я, Стасик. Можно к тебе?

Кравченко отшатнулся.

Заходи, конечно, заходи. Фу, Джерри, фу! На место!

"Ай-яй-яй, — пронеслось у Кравченко в голове, — это Стасик, как же так? и что теперь говорить? что же говорить? что?!"

Он открыл уже рот, чтобы предложить сыну тапочки, но спохватился. Стасик потоптался единственной ногой на мокрой тряпке, уткнул в нее костыли и повертел ими.

— Караулил, пока уедет. У вас "Лада", да?

— Да, у нас "Лада".

— Красивый цвет, — сказал Стасик. — И женщина красивая, лучше, чем на экране... Ну, здравствуй, папа.

Они обнялись.

— У тебя найдется два стакана? За встречу.

— Нет-нет, Стас, мне на работу.

— К черту твою работу! Я живой вернулся, понял?

Они сидели на кухне и пили водку.

— Как же так? — говорил Кравченко. — Почему не писал? Когда это случилось? Как мама?

— Все в порядке. Мама молодец.

— Осуждаешь меня?

— Нет. Я, папа, в госпитале долго валялся, много чего успел насоображать. Раньше, до армии, я судил каждого, я себя жалел, а теперь мне всех жалко, всех людей разом, и тебя в том числе. Себя, конечно, тоже, но локти кусать занятие праздное. Жить надо!

— И как же ты дальше?

— Это я уже тоже решил. Тоже еще в госпитале. Сапожником буду. Что смотришь? Бзик у меня такой. Понимаешь, пахучая кожа, острый нож, все это реально, не выдумано, взял в руки, держишь вещь!

— А институт?

— Зачем он мне теперь? Что надо, и так прочесть можно. Понять. Почувствовать, в конце концов. А играть в игры скучно.

— Что ж, по-твоему, мы тут все в игры играем?

— Совершенно верно. За редким исключением.

Кравченко вздохнул:

— Ну, расскажи, как там?

— Нет, — сказал Стасик. — Слова пока не доросли, а телепать языком... Если хочешь, давай разок выпьем молча, не чокаясь.

Выпили, молчали долго. Перед Кравченко сидел человек взрослее и мудрее его самого, человек внятный и решительный. Когда-то он был его сыном, строптивым, огорчительным, но сыном. Теперь же он, обнявшись с дедами и прадедами, занял свое место в их бесконечной цепочке, а Кравченко выпавшим звеном остался где-то в стороне, в одиночестве.

Обидней всего было то, что сын его ни в чем не упрекал. Кравченко прослезился.

— Скажи, Стасик, я, наверное, подлец?

Стасик пожал плечами:

— Это было б слишком просто.

Они допили бутылку.

— Бывай, отец. Рад был повидаться. Соскучился.

— Заходи еще. Зайдешь?

Стасик ушел, стуча по лестнице костылями.

Щелкнул дверной замок. Сделалось тихо и беспросветно, и по тьме перед глазами без грохота, молча, прошлась желто-красная молния — раз, другой, третий. Что за черт. Кравченко отмахнулся. Нет, так не годится. Сел к столу, схватился за лист бумаги, за карандаш, набросал поспешно план. 1). *Не он ко мне, а я к нему. С коньяком, цветами, закусками.* Цветы Кравченко зачеркнул. Часы в подарок, японские. Хронометр. 2). *Сцена в больнице. Он в отдельной палате. У него на пижаме орден. Мой сын — герой! 3). Он мне рад. Плачет от*

счастья. Сбегаются нянечки, ходячие пациенты. "Какой у Стаса отец! Вот парню повезло. С таким не пропадешь". 4). Палата пуста. Мы вдвоем. Стас хнычет, как же теперь жить дальше. "Не робей, сынок. Все преодолеем. Мы же мужчины!" 5). "О деньгах не беспокойся. Вот тебе на первое время. И дальше..." 6). Может быть, можно, чтоб не ногу он потерял, а чтоб его просто осколком ранило?.. На последнем пункте Кравченко сломался. Ему наконец стало ясно, что ногу назад не приставить, и что она, отрезанная или оторванная, — он ведь даже толком не узнал, что случилось, — нога его сына гниет сейчас где-то среди прочих конечностей, отобранных у ребят войной, а он даже не знает, где она, нога его сына, зарыта. И зарыта ль. Надо уточнить! Он отшвырнул прочь лист с карандашом, вскочил, шагнул к телефону.

Застыл над трубкой. И неожиданно сказал себе правду: *Я не хочу об этом ничего знать. Ни слова, ни полслова. Я постараюсь впредь об этом никогда не думать...*

Кравченко напустил ванну и уселся в горячую пенную воду. И тут ему стало нехорошо. Уже не приходилось удивляться, что раньше с ним такого не случалось. Каменная боль придавила грудь и отняла дыхание. Хрипя, сотрясаемый короткими лающими всхлипами, он выбрался из ванной, дополз до аптечки, перевернул и отыскал валидол. Таблетка была последней, он ее выронил, а суетившийся вокруг него повизгивающий Киссинджер ее лизнул, и таблетка прилипла ему к языку.

— Отдай, сволочь! — страшно закричал Кравченко. — Отдай!!! — зарычал. — Отдай! — и ударил собаку в зубы. — Отдай, тебе говорят! Отдай...

Он отнял таблетку и жадно сунул ее под язык.

Привалившись к стене, он сидел на полу. Пена на нем шелестела, лопалась, стекала зудящими каплями на пол, собиралась в лужу. Доберман Киссинджер лизал его разбитую в кровь руку и участливо, с любовью заглядывал в глаза, пытал, чем помочь. Кравченко отворачивался. Жмурился. В непослушном воображении металась кресты с костылями, и голос Стаса сказал: "Да прости ты себя уже, папа. Надо ж с чего-то начинать".

Впервые с тех пор, как он стал главным редактором, он заплакал.

В течение последующих трех дней ему исполнилось пятьдесят один, пятьдесят два и пятьдесят три, а спустя неделю — пятьдесят четыре. Так не годится, сказал себе Кравченко, и ему удалось протянуть месяц, прежде чем стукнуло пятьдесят пять.

В Москве умер Ледоходов. Тихо, скромно, от старости. Просто умер без всякого подтекста.

А Кравченко вдруг вспомнил, как он с ним когда-то гонял коньяки, икрой угощал, зачем? Дурной знак. Уж не думаете ли вы, обратился он неизвестно к кому, что я имею ко всему этому хоть малейшее отношение?!

Ответа не последовало. Во всяком случае, он его не дождался.

Разладилось что-то в отлаженном механизме его существования.

Он все чаще теперь что-нибудь нечаянно забывал. А случалось, и вспоминал что-нибудь не к месту такое, что хоть стой, хоть падай. Забывал он наяву, а вспоминал все больше во сне. Теперь во сне он всегда видел сны. И всегда их, конечно же, безбожно редактировал. Но с каждым пробуждением в нем росло нехорошее предчувствие. Во-первых, он стал подозревать, что сны эти все вовсе не новые, а с полки его подсознания, куда он с успехом позапихивал их собственноручно в течение всей своей непонятной жизни, теперь же они почему-то норовят общей гурьбой, под шумок, проскочить в прокат его повседневности, а этого допустить, конечно же, ни при каких обстоятельствах нельзя, ибо с полки в прокат никак не положено, и это как раз то, что он, собственно, и умеет лучше всего на свете — держать и не пущать, но уж больно много их, больно настырны... А, во-вторых, зрело в нем еще одно подозрение, о котором он не позволял себе даже подозревать.

Кравченко подтаивал незаметно, как айсберг, и тешил себя тем, что, как айсберг, становится теперь все более опасным для проплывающих мимо представителей творческой братии. Однако даже в любимом своем занятии он утратил прежнюю легкость, стал близорук, оставлял нетронутыми десятки страниц кряду или вдруг вычеркивал совсем не то, что надо теперь вычеркивать. Любавский ему сочувствовал, наливал коньяк, ходил в гости, к себе зазывал, оберегал от глупостей. Забота его была сокрушительной. Однако без нее бы Кравченко пропал бы вовсе.

Он теперь, случалось, забывал прийти на работу. Не часто, но случалось. Просто не помнил в тот день, ни куда, ни, главное, зачем. А случалось, что забывал также и кто, кому надо туда являться. Любавский его наставлял по-отечески, журил по-свойски:

— Я, конечно же, понимаю. Что тут не понять? Тут и понимать нечего. Однако на работу ходить надо. Ну, смотри сюда, Юлий Вадимыч, надо ходить на работу? Вот видишь — надо! Еще раз. На работу ходить? Ходить! Понимаешь? Надо ходить на работу.

Поселился в нем прежде неведомый страх перед незнакомыми текстами. Он все чаще норовил их — неслыханное дело! — спихнуть на подчиненных, на кого угодно, а сам, запершись в кабинете с новыми яркими

оконными рамами и старым подслеповатым телевизором, часами редактировал разноцветных классиков из Евиной библиотеки. Ева скандалила, упрекала его в вандализме. Кравченко сносил ее упреки молча, виновато виляя чубом. Спали они теперь порознь. Он окончательно выжил с дивана в гостиной добермана Киссинджера, *по кличке Джим*, но ничто не могло избавить его от кошмаров ночи. Приходила ночь и обрекала Кравченко на просмотр нового, абсолютно непроходимого сновидения, и он редактировал что было сил, до самого утра, безо всякой надежды на успех и награду, и пробуждался по звонку с горькими привкусом поражения.

По субботам он, каменный, исправно сживал в гулком кабинете, уставившись в экран издохшего телевизора.

А по воскресеньям спал, наглотавшись таблеток, вымаливая у бездумной тьмы щепотку сил для следующей недели. А Ева проводила выходные на даче в компании Киссинджера, *по кличке Джерри*, и своих ровесников, чтобы не тревожить понапрасну пожилого человека.

Ева снялась в трех картинах, снималась в четвертой, в главной роли. Был конец весны, ее узнавали на улице, и она была счастлива.

— Бедный Юлик, — говорила она. — Непосильный труженик. Вот увидишь, я честная девушка. Звездой стану, а тебя не брошу. Вот увидишь, обязательно стану. Только не черкай книжки, это ж невыносимо.

Кравченко обещал исправиться и черкал классиков украдкой.

Теперь наяву он видел только то, что хотел, а во сне все наоборот.

И все же пришел день, после которого наступила та ночь, когда Кравченко, вздохнув на диване, прошептал в темноту:

— Все, хватит, сдаюсь. Что мне ни покажите, ничего, клянусь, менять не стану. Я человек. Я спать хочу.

И приснился ему сон, вся жизнь задом наперед, праздничная, горестная, бессюжетная. Была там Ева — тягучий миг счастья, был Станислав, говорил: "Я прощаю тебя", был Скиталец, крикнувший: "Да пропади ты, дуралей, пропадом!", были друзья-приятели, дарившие трубки и блокноты, от которых никак не избавиться, не выкинуть, странные люди, и излучали они, неправильные, не осуждение, а сочувствие, и это могло попросту доконать кого угодно, зубами скрежетать хотелось, выть на луну, были любовские, тропинины, монстры и ледоходовы, был покровитель, был повелитель, были слуги и ослушники, хищники и жертвы, и бывшая жена в тихом достоинстве, и маленький Стасик, тянувший к нему руки: "Папа, папка!", и еще что-то, чего не вспомнишь, хоть оно было, обязательно было, первое, юное, хрупкое, никому уже не подвластное, потому что про-

шло и не повторится, и не отредактируется, а потом была мать, она сидела на пенке посреди вырубленного леса, нет, не лес, а луг некошенный, до горизонта, и один лишь пенек, на котором мама: "Где же ты был, сынок?.. Я ждала тебя..."; и приснилось ему в том сне, что он лист, раньше был на дереве, а теперь слетел, и носит его ветер, перекачивает среди таких же, бездеревых; только б из лесу не вынесло, приснилось ему, будь что будет, но только б здесь, в чаще, а не там, в степи чужой на семи ветрах; и проснулся во сне... "Иди ко мне, Юличек, не плачь, иди к маме..."

Кравченко всхлипнул, шагнул, озарился шансом все наконец осознать, всхлипнул и умер.

Утром Ева, ничего не заметив, поцеловала его в холодный лоб и укачала с Киссинджером на дачу. Ее любящее сердце не забилося в тревоге, и даже пес не завыл, как положено на мертвеца, а лишь повизгивал и рвался на двор.

Кравченко пролежал мертвым все воскресенье.

А в понедельник утром, когда затрезвонил по-междугородному телефон, тело вздрогнуло, рука потянулась, взяла трубку, приложила ее к холодному уху. Трубка заговорила голосом координатора многих повелителей с покровителями. Она говорила коротко, властно, без обиняков. Из нее проскользнули нотки, которые непосвященному могли б показаться нотками паники; на самом же деле они выражали азарт полководца: легионы вперед, каждый легионер на счету.

В середине дня, гуляя по бульвару, я столкнулся у киностудии, на противоположной стороне рядом с бывшей афишной тумбой в тени каштана с главным редактором Кравченко. Он был поддерживаем под руку директором Любавским и казался бледнее обычного, но в остальном выглядел вполне живым. Я хотел пройти мимо, но они загородили мне дорогу, преградили путь. Кравченко протянул ко мне свободную от альянса руку, а Любавский — свою, две руки они ко мне протянули.

— Ну, — сказали, — что ты там понацарапывал? Давай сюда.

В прежней концовке тут и ставилась точка. И читатель мог сколько душе угодно гадать, что да как там дальше в этом вечном узаконенном конфликте между одними и другими, между разными полюсами, правым и левым, верхом и низом, плюсом с минусом, мною и не-мною, вами, не-вами. Но то раньше было. А сегодня рассказчика, поднаторевшего, так сразу не осадить, и он проскакивает обычный финиш и чудит слегка даль-

ше. Для начала он вынуждает нас с вами при помощи какого-то своего, положенного ему по праву рассказчика, волшебства подрасти метра так на три, что мы и проделываем, после некоторых препирательств. И как всегда, чудо свершившееся кажется уже и не чудом, а нормальным способом жизни. Прямым. Свободным. Вдохновенным. И вот нам, без малого пятиметровым, ясно видится, что, если что-нибудь никак нельзя обойти, то, оказывается, можно через это что-то взять да переступить. Переступаем — в добром расположении духа и крайне аккуратно, дабы не "на", а именно "пере". Получилось. Вот, собственно, и все. Дальнейший путь свободен. Глядим под ноги. Боремся с искушением плюнуть да растереть. Побороли. Машем тем двоим на прощанье, не из вредности, а от избытка чувств. Те же двое, в свою очередь, явно вознамерились кинуться вдогонку, вцепиться, вгрызться в щиколотки, перекусить жилы, выпить кровь. Уже прикидываем, на какую из соседних крыш нам от них податься, но тут, судя по всему, звучит секретный сигнал, и те двое, как по команде, а это и есть команда, бросаются наперегонки к трамвайной на углу остановке и рядом с божжами выпотрошенной с ночи урной втискиваются, активно работая локтями и другими твердыми сочленениями, в зыбкое шершавое междустрочье какой-то несвежей газеты, листаемой ветром на асфальте об асфальт.

- А вы-то куда, как вас там???
- А вам чего вдруг приспичило?!
- А вы с какой стати!
- А вам-то зачем?!

Брыкаясь каждый на свой манер, они споро, почти без следа пропихивают себя в истертую, прохудившуюся невидимость. Мощная иллюзия дематериализации. Там, где вот только что они стояли, преграждая путь и растопыривая свои когти, пусто. Прозрачно. Или призрачно?

Врывается в уши звонкий неповторимый голос самого красивого в мире бульвара. Птицы, ветра, ароматы, трамваи и люди звучат на разные голоса, ничего и никого не заглушая. Шелестит веселый каштан в компании с чумаком и гледичией. На месте бывшей афишной тумбы, на круге высвободившейся земли теперь трава.

Ну что ж.

Непонятно только, можно уже двигаться дальше (и, кстати, куда?) или еще что-то нужно узнать об этой истории для полного ее завершения.

Ну, например, что никто особо о Кравченко не сетовал, забыли скоро, а кое-кто и просто, как всегда, ничего не заметил, а еще, как всегда, и та-

кие сыскались, кто и вовсе не ведал, что был такой, и только Ева в разных точках своей биографии обронила о нем несколько горячих слезинок; а что сама Ева еще в 94-м, снимаясь в совместном проекте, вышла не за Шона, разумеется, Коннери, но тоже за супер их героя фильмов *экини* и всяких триллеров, обласканного еще самим Хичкоком, и что живут они теперь на Испанском побережье, и Ева сверкает не на экране, а в жизни, он берет ее с собой на все фестивали на всех материках и еще выводит в свет для блеск-участия в собрании учредителей образованного им в год свадьбы фонда помощи жертвам стихийных бедствий, а она растит двух дочурок, и на днях к семидесятилетию супруга подарила ему сына, о чем тут же стало известно телезрителям и читателям газет всей нашей планеты вместе с новостью о том, что счастливый отец преподнес по такому случаю любимой супруге белоснежную, со стапелей, яхту "*Eva*"; или вот, что Станислав, сын Юлия, долго мытарствовал, водка мешала, обиды старые на войну, на жизнь с костылями, а потом наконец, а Тропинин, кстати, бедолага, говорят, что совсем, а Монстр в Москве на телеканале, а бывшая жена Кравченко на девичьей фамилии картины маслом пишет, а Ски-талец, автор "*Моих китов*", бестселлер, кстати, живет где-то в Калифорнии, а встретились мы с ним в Париже на аудиенции у далай-ламы в изгнании, а каравелла киностудийная разломилась на высокой волне и пошла обеими половинами ко дну вослед рухнувшей империи, лопнувшим связям, людям-невидимкам и пропавшему междустрочью, и в кабинете главного редактора, в *sancta sanctorum*, теперь заседает областное общество по борьбе с нашествием божьей коровки, так, во всяком случае, на двери значит, дверь эта, однако, прочно на запоре, и кто там за ней и что, остается тайной, а в приемной никого и всегда накурено, а у Любавского за столом, бывает, можно видеть говорящего по сотовому со степным гэканием весьма мутного молодого человека только что от парикмахера в шикарном костюме с чужого плеча; а еще, нас часто спрашивают, что, мол, вот вы: мы да мы всю дорогу, а кто эти мы? а мы поясняем, что мы эти — это вы, да мы, да все мы вкупе с вами вместе взятые, так что сыскать на стороне виноватого просто, господа, технически неосуществимо, даже, думаю, пробовать не стоит. Ну, вот, и это уже, вроде как, нам тоже о нас с вами рассказали, всё, что ли?

— Бога ради, — согласен рассказчик. — Отдохните себе, конечно, пока.

АНТРАКТ

Камера-обскура

В пятьдесят восьмом году ему было ровно сто. А мне — десять. Он появился на свет за три года до отмены крепостного права. Да что там крепостное право! Даже Ленин должен был родиться только через двенадцать лет! Сколько же всего он увидел, пока меня не было на этом свете! Однако не он, а старинные дома и деревья были для меня настоящими старожилками, и я специально иногда трогал их, представляя, что, может быть, именно этого места касались те, кто жил во времена Пушкина... Казалось бы, живой, говорящий человек — это вам не платан на бульваре, ан нет — для меня этот живой человек был только жалким смешным стариком. Когда я думаю о старике Шулемовиче сегодня, времена, как слои дыма, проступают одно сквозь другое, и о прошедшем времени я начинаю говорить в настоящем...

Инициатор этой идеи Костя Дервянко. Идея старая (мне еще папа рассказывал), но я забыл. А Костя, молодец, вспомнил. Роли распределены: я у окна, Костя — за выступом стены, остальные в качестве зрителей уже сидят за бревнами. Почти совсем темно. Главное — неслышно вколоть в раму окна иголку. Там за стеклом глубокая, как подвал, квартира. Даже от окна тянет сыростью. Окно старое, ветхое, начинается у самой земли. От иголки тянется нитка, к ней подвешен камешек, а от него — опять нитка, но уже длинная. Ее конец в руках у Кости. Моя задача неслышно, но крепко всадить иглу в оконную раму и быстро свалить, а Костина — начинать представление.

"Тук-тук" — деликатно постукивает камешек в стекло старика Шулемовича. "Тук-тук-тук".

Медленно открывается форточка. Раздается громкий, сильный, скрипучий голос:

— Кто это? Циля, это ты так поздно? Что ты хочешь в такое время? Ну, говори, я уже встал и открыл!

Циля это соседка. Она живет в пристроечке напротив и часто через окно одалживается у жены старика Шулемовича всякими солью-содой-луковицей. Женщина решительная, без комплексов и тоже громкоголосая.

— Циля, говори уже, я уже все равно не в кровати!

Раздается, наконец, мощный бас Циля.

— Шулемович, что вы хотите? Давайте завтра, я уже сплю.

— А я, между прочим, уже нет, — говорит сам себе Шулемович. — Хорошенькое дело! Она спит. Что мне — приснилось?

Медленно закрывается форточка. Как они там не задыхаются? Плотная летняя одесская ночь: и темно, и душно. Ждем минут пять. Костя снова деликатно стучит. Снова медленно открывается форточка.

— Ой, я, кажется, сейчас кому-то выйду и кому-то спрошу "кто там"! Кому-то сейчас будет мало места...

А рука уже шарит вокруг форточки, пока не наткнется на нитку с камешком.

— Фарбрент зол зей верн!.. — бормочет Шулемович себе под нос непонятные заклинания, но я знаю, что это он нас так костерит. Интерес пропадает — слишком легко он сообразил, что происходит. Вот папа мне рассказывал, что у них в Житомире он, когда еще был пацаном, проделывал штуку смешнее. У соседа была железная двускатная крыша. Папа брал два ореха, раскалывал их пополам, съедал содержимое, а пустые скорлупки надевал на лапы кошке, как костяные ботиночки. А потом забрасывал соседу на крышу. Кошка, как подкованный арабский скакун, с грохотом скакала вверх к коньку, но не доскакивала и с душераздирающим скрежетом съезжала к краю крыши. И снова: тудук-тудук-тудук — вверх, и жж-жж-жж — вниз... Сосед гонялся за папой со шваброй, но папа удирал. (Я всегда представлял себе, как он удирал, но в моих фантазиях он не был ребенком: удирал в том виде, в каком я уже застал его.) Были, правда, в этой истории серьезные неувязки, но это не мешало мне восхищаться идеей. Хотя кошку было, конечно, жалко. Да... А Шулемовичу такого не устроишь. Крыша плоская. Да и дом — трехэтажный.

Шулемович женился четыре года назад. Его первая жена умерла уже очень давно, но нарушить свое одиночество он решил только тогда, когда почувствовал, что силы резко пошли на убыль. Молодым его, конечно, никто уже не помнит, но пожилые соседи рассказывают, что он был крепкий старик. Новую жену зовут очень смешно — мадам Бритва. Однако все быстро привыкли к этому имени. Мадам Бритва маленькая, с простым, почему-то славянским, лицом, в толстых очках (на все смотрит, сильно прищурившись) и с грубым голосом старой училки, годится скорей в дочки, чем в жены Шулемовичу. Она моложе его на двадцать четыре года. Когда соседи спросили ее, зачем она вышла замуж за эту развалину, она строго ответила: "Любовь! Я влюбилась в его подвал с первого взгляда..." — и прищурилась. И все поняли, это не брак по расчету: кто видел квартиру Шулемовича, тот знал — рассчитывать там было не на что.

И вот уже четыре года мадам Бритва ревниво заботится о старике и относится к нему, как к непутевому внуку.

Во дворе представление: Шулемович задумал лишить жизни своего петуха. Действие происходит в сарае, который Шулемович переоборудовал в курятник. Петух зажат между тощими коленями старика. В левом кулаке Шулемовича, как граната, стиснута петушиная голова клювом вверх, в правом — большой нож. Все знают, что дело здесь не в бульоне — Шулемович боится этого бандита. Он не может зайти в сарай, петух его не пускает.

— Ничего, — сам себе бурчит старик, — так будут диетические яйца. Они, — он бровями показывает на кур, — как-нибудь обойдутся без тебя.

Мадам Бритва стоит рядом и осуждающе смотрит на петуха. В этом конфликте она явно на стороне мужа и результат считает закономерным. Мы расположились тут же, за ее спиной. Нам видны колени Шулемовича и розовое горло приговоренного. Раздался крик (то ли петуха, то ли Шулемовича), брызнула кровь — и белый ком окровавленных перьев проносится мимо нас на середину двора. "Ой! Вейзмир!" — заполошно всплескивает руками мадам Бритва и отскакивает назад, наступая мне на кеды. Следом за недорезанным петухом семенит старик Шулемович с ножом в руке. Его лицо забрызгано кровью, он похож на Ивана Грозного с картины Репина. Видно, что у петуха сил больше. Он носится по двору, и Шулемович не может его догнать.

— Азохн вей! — бормочет он, задыхаясь и спотыкаясь. — До чего я дожил! И дальше что-то по-еврейски.

Мы заходимся от смеха.

— Что вы смеетесь, мамзерим! Он же в сто раз моложе!

Мадам Бритва смотрит на эту беготню и говорит не столько нам, сколько сама себе: "Тут дело уже не в бульоне. Тут уже кто кого!".

Шулемович не единственное наше развлечение. Концерты у нас, как правило, во дворе (скандалы, драки, изысканные витиеватые проклятия), а кино — на улице. Метрах в пяти от уличного фасада нашего дома растет старая ветвистая шелковица, дарящая нам и хлеб, и зрелища. Мы развалились на ее ветвях, жуем ее горячие пупырчатые ягоды и, глядя в окно Жанны, — задолго до появления видеопиратских салонов — наслаждаемся жестким порно. Жанна не профессионалка, все сплошная кондовая самодельность, но нам хватает. Нам не до эстетики. То, что мы видим в этом волшебном окне на третьем этаже, раскручивает нашу фантазию до

художественных высот. Жанна водит к себе самых непотребных клиентов и принимает их иногда одна, иногда — с подругой. Сплошная пьянь, а значит — мат, скандалы, проклятия. То же, можно сказать, что и во дворе, только с картинками. Но всему приходит конец. Однажды (это уже было году в шестидесятом) мы увидели, как во время пьяной драки голая Жанна наступила на разбитую бутылку и просто распорол себе ступню. Истекая кровью, она выскочила, как была, на лестничную клетку. Мы слетели с шелковицы и уже в парадном видели, как она стояла на верхней площадке, непристойно задрав раненную ногу на перила, и орала пьяным голосом, пока не приехала милиция и скорая. Жанну зашили и выслали за какой-то километр. Так жутко кончилось тогда это главное из искусств. Потом, став взрослым, я заглянул как-то в наше парадное, где давно уже жили совсем другие люди... На самом верху лестницы, под перилами верхней площадки я различил черные потеки, почти совсем слившиеся с многолетней грязью. Вряд ли кто-нибудь, кроме меня, помнил, что это след кровавого финала карьеры местной порнозвезды.

Пятьдесят восьмой год. Мы первые во всем доме купили телевизор. У нас всего одна комната, нет никаких удобств (те интимные, что есть, стоят за ширмой: в семье пятилетний ребенок и семидесятилетняя бабушка). Вечером наша маленькая комната набивается соседями. Приходят со своими табуреточками и рассаживаются перед маленьким холодильником, на котором стоит телевизор. Гасится свет, и все смотрят очередной "художественный фильм". Концерты, новости, сатирическая передача "Объективный объектив" наших соседей не интересуют. Приходят, как в кинозал, к началу фильма. Дети сидят отдельной группкой от взрослых. Рядом со мной почти всегда — Мила, сестра Кости Деревянко. Она моя сверстница. Когда гасят свет, и Мила освещена только телеэкраном, она кажется мне красавицей. Я, дурея от страха, осторожно кладу руку ей на спину и ладонью охватываю плечо. Темно, никто ничего не видит, но если она сейчас громко возмутится, я помру от разрыва сердца. Я чуть притягиваю ее к себе. Все обходится. Мила молчит и внимательно смотрит кино. У нее такой вид, будто она и не заметила моих маневров. На экране по болоту пробирается шпион. И на болоте, и в зале напряженная зловещая тишина. Все подались вперед. У Милы замерло дыхание. Моя бабушка открыла рот и держит рукой очки. Мама застыла с тарелкой и полотенцем в руках. Вдруг громкий хлопок разрывает невозможное напряжение фильма. Это папа хулигански хлопнул ладонью по крышке стола, на кото-

рой стоит звонкая от ложек и вилок посудосушилка. С воплем "Оп-пай заяц!" мадам Бритва оказывается на полу. Она ближе всех сидела к папе и, высоко подскочив от испуга, слетела с низенькой табуретки. Все истерически смеются, но это смех без удовольствия. Что же делать, если бесстрашный папа сам шпионов не боится, а над нашими страхами потешается! Мама очень на него сердита, она совсем не смеется. Только мадам Бритва невозмутима.

— Когда я смотрю такое кино, я переживаю, как девочка! — объясняет она зрительному залу. — Я забываю, где я есть.

Мадам Бритва частая гостья бабушки. Моя толстая, седая, носатая бабушка уже несколько лет не выходит из квартиры ("Нечего мне таскать свой тромбофлебит по улице! Нам с ним и дома хорошо"). К ней приходят разные соседки. Кто посоветоваться, кто обменяться кулинарными образцами. Но только мадам Бритва приходит посплетничать на идише. Далеко не всегда я выдерживаю эти беседы. Я ничего не понимаю и стараюсь поскорее убраться на улицу. Иногда, правда, стихия разговора выносит собеседниц за пределы идиша в родной для меня русский, и тогда я удивляюсь фривольности их воспоминаний. Для меня, десятилетнего, такие разговоры старших немыслимы. Конечно, они говорят на разные темы, но в память западает только то, что кажется невозможным.

— ...она говорит мне: "Боже упаси, что вы себе выдумываете! В жизни он этого не дождетсЯ, чтоб я так жила!". А в самой середине ночи мы все уже не спим: с такого скрипа, как у ее кровати, может спать только мертвый... Я ей утром: "Ну?", а она: "Ой, бросьте, что ну! Нет никакого ну!". А через девять месяцев — получите Серожу! Пять кило, нивроку....

Сам Шулемович к бабушке не приходит. Ему не до бабских сплетен, он живет другой, мужской жизнью. Утром он исчезает куда-то и появляется во дворе поздно вечером. Он знает, кто из нас его дразнит и возвращает, когда может, свои мелкие долги. Он стоит, вроде задумавшись, и, когда мимо него пробегает кто-либо из его мучителей, он вдруг хватается за рукав и прищуривается, как Старик Хоттабыч. Он вообще похож на Хоттабыча: тощий, лысый... Вот знаменитой бороды нет, скорее — клочковатая небритость... полусогнутые ноги, сутулая спина, шаркающая походка, вечный парусиновый костюм и грязная шляпа. Он прищуривает один глаз и спрашивает:

— Боренька, ты слышил?

— Что, дедушка?

— Как из жёпи дух вышел?

И стоит с таким серьезным и невинным видом, будто и вправду прислушивается...

Зимой к мадам Бритве приехали дети с внуком "Серожей". Старик обнаружил вдруг наивное тщеславие. Он ходил с ребенком по двору, и все соседи видели, что он дед, что у него семья. Он остановил одного из нас, мерзавцев, Алешу Хлусова, и очень дружелюбно поинтересовался:

— Лошик, у вас будет елка?

— Будет, дедушка. Конечно, будет.

Шулемович постоял молча, почти умильно глядя на Лешу...

— А у нашего Серожи будет лучше!

Я никогда раньше не был у них в квартире. Поэтому, когда бабушка послала меня к мадам Бритве взять что-то там кулинарное, чем они все время обменивались, я пошел охотно и с давним любопытством: у таких странных и древних людей и жилищу полагается быть — древним и странным. Мои предположения оправдались.

Когда я потянул на себя их дверь, я удивился, как они сами справляются с такой мощной пружиной. Солнце из-за моей спины буквально ворвалось в их мрачную средневековую прихожую и осветило несколько каменных ступеней, круто ведущих вниз. Тень от меня скатилась по этим ступеням, ломаясь на каждой из них, и головой уперлась во вторую дверь, за которой они и жили. Первая дверь хлопнула за моей спиной и, как гильотина, отсекала солнечные лучи. Наступил мрак. Я стал медленно, на ощупь спускаться. На третьей ступеньке я уже чуточку свылся с темнотой, до двери оставалось еще ступеньки четыре, как вдруг я обомлел. Прямо перед собой, над черной дверью я увидел нашу улицу. По стене беззвучно пронеслась "Победа", навстречу не спеша прокатилась телега с лошадью, прошла женщина в ярко-красном пальто, еще пара машин, еще люди навстречу друг другу... И все это — головой вниз! Цветное перевернутое кино! Я оглянулся, как часто оглядывался в кинозале. Из темноты над моей головой рвался конусообразный луч и упирался в стену. В луче вились пылинки. Все, как в кинозале. Я еще немного постоял, посмотрел кино, а когда мимо, по стене прошел Костя с помойным ведром (вниз головой!.. и Костя, и ведро!), я сел на ступеньку и попытался повернуть голову, чтобы видеть все правильно. Насмотревшись, я вернулся к двери. Почти в ее центре было круглое отверстие от механического звонка, который недавно сняли, и вместо него сбоку от

двери установили электрический. Именно через эту дырочку наша улица проникала в прихожую Шулемовича.

Я не знал, сколько времени уже длился этот неожиданный киносеанс, но уходить не было сил. Никто из проходящих сейчас по улице и не подозревал даже, что я вижу его на этом экране, уменьшенного, перевернутого, живого... Не тень от него, а свет!..

Я и забыл о нижней двери. Она открылась так внезапно, что я вздрогнул. Свет резко ударил по глазам. В сиянии проема стоял силуэт мадам Бритвы. Резкий учительский голос вернул меня на землю:

— Ну, что ты торчишь в темноте, герутенер? За смертью тебя посылать, халамидник! Иди уже, иди — все остыло. Сейчас ты получишь от бабушки — тебе будет темно в глазах.

Она не видела меня. Она и не могла меня увидеть в этой темноте, как бы ни прищуривалась. Просто бабушка предупредила ее, когда я могу прийти. Я готов был дать голову на отсечение, что она даже не подозревает о чуде в своей прихожей. Хотя и не мудрено — с таким зрением...

Бабушка поражает меня неожиданной образованностью. Мой рассказ о перевернутом кино ее совсем не удивляет. Она идет к нашему единственному окну, закрывает ставни, оставляя тоненькую щелочку, и говорит: "Смотри!". Через несколько секунд я вижу на противоположной стене почти то же, что видел у мадам Бритвы. Те же машины, те же пешеходы, только вытянутые и размазанные. (Резкость!.. Сапожник!..)

— Чем ты занят в школе, оболтус? Тебе уже нивроку десять лет, уже можно что-то знать! Ты слышал такое слово "камера-обскура"?

— Нет... — растерянно признаюсь я.

— Так чтоб ты знал: это ты видел камеру-обскуру.

Она улыбается, как человек, показавший вдруг, что его еще рано списывать.

— Даже у нас в школе, хотя в гимназии я не училась, была своя камера-обскура. Не такая большая, как на лестнице Шулемовича, но тоже — ничего. На колесиках, как аппарат в фотосалоне. У нас, между прочим, был молодой учитель (как сейчас помню, Меир Кац, из Полонного... рыжий такой... красавец!), так он так рисовал на стекле этой камеры — мое почтение! Направит на тебя (ты сидишь, не шевелишься) а он на тебя даже не посмотрит — рисует прямо на камере. Выходило — лучше, чем на фотографии. К нему очереди стояли!..

— Бабуль, а что такое "обскура"?

— Темнота!

— Слушай, — раздражаюсь я, — если знаешь, так возьми и объясни. "Темнота!" Сама же говорила, спросить не стыдно...

— Не... — смеется довольная бабушка, — Ты не понял. "Обскура" это "темнота". По-латыни.

Обскура... Я почему-то вспомнил сарай Шулемовича и казнь петуха.

Камера-обскура потрясла меня. Падающая от человека тень была мне понятна. Я так и говорил: от него падает тень. Но чтобы от человека падал свет! Сколько дырочек в стенах, окнах, дверях окружает меня, когда я иду по улице! В скольких квартирах я прохожу по стене вниз головой — уменьшенный, живой, цветной, настоящий — лучше, чем в телевизоре! Это же любая замочная скважина годится... А то, что вниз головой... Вот в школе рассказывали, что когда мы рождаемся, мы сначала все видим вниз головой, а потом привыкаем... Так что, еще не известно, где вниз головой. Может, в камере-обскуре как раз все и правильно — это наши глаза переучились. Я стал ходить по улицам, стараясь не сутулиться, не ковырять в носу, не замирать в дурацких позах. Я понимал, что ОТ МЕНЯ ПАДАЕТ СВЕТ, и нужно быть всегда начеку: как увидят меня те, кого я не знаю? Достаточно того, что я вниз головой.

Теперь я старался не пропустить возможности забежать к мадам Бритве с каким-нибудь поручением. Меня даже не смущал постоянный, восковой какой-то, кладбищенский запах, источник которого был мне непонятен, ведь в их квартире никогда не прерывался кулинарный процесс. Вот у нас в квартире всегда пахло замечательно: или жареная картошка (с чесноком), или жареные котлеты (тоже с чесноком), или, в крайнем случае, — жареная рыба. А в другие дни — ваниль, кофе, горячий хлеб... Квартира Шулемовича всегда пахла похоронными венками.

Просто так я зайти не решился, потому что никому, кроме бабушки, о своем открытии не рассказал. Мне было страшно интересно узнавать на стене Шулемовичевской прихожей знакомых, а признаться, что я подглядываю, было стыдно.

Однажды бабушка послала меня к мадам Бритве рано утром, еще перед школой (за какой-то солью-содой). Солнце на улице еще не разгулялось, и кино было тусклым. Я не стал задерживаться на лестнице, а сразу постучал в дверь. Это был первый раз, когда я застал старика Шулемовича дома. Он сидел за столом, и в полумраке их комнаты я увидел вдруг, что на лбу у него торчит какой-то кубик, сам Шулемович (так мне показав-

лось) опутан тонкими ремешками, а голова и плечи его покрыты длинным полосатым полотенцем. Шулемович бормотал что-то и, покачиваясь взад-вперед, усиленно кивал головой, как будто с кем-то все время соглашался. Старик Хоттабыч, который наколдovывает пасмурный день. На столе лежала книга с золотыми буквами на обложке. Она лежала, как в футляре, в центре малюсенькой, тесной и почему-то всегда холодной комнаты Шулемовича, комнаты, которая, как потертым бесцветным бархатом была отделана изнутри ветхостью и нищетой. Книга сверкала золотом, неуместным в этом нерезком полумраке, и снова возникла у меня ассоциация с Хоттабычем. Или, может быть, с Аладдином, в нищем доме которого сверкала золотом волшебная лампа.

Мадам Бритва не обращала внимания на колдовство мужа, а отсыпала и упаковывала мне то, за чем я явился. А тот вдруг неожиданно все свернул, сложил (я поглядывал то на него, то на нее) и посмотрел на меня ожившим человеческим глазом.

— А я знаю, — сказал я ему, чтобы стряхнуть с себя завороченность, — это еврейские буквы.

— Что ты говоришь! — неподдельно изумился Шулемович. — И откуда, предположим, ты это знаешь?

— А моя бабушка читает книжки с такими буквами.

— Да? — старик резко вздернул косматые брови.

— Да, да! — сказала мадам Бритва. — А ищ паровоз! Ну? Так она читает книжки! Что ты пристал к ребенку?

В этот день Шулемович в первый раз заявился к нам в гости. То есть, не к нам, конечно, — к бабушке.

Папа Кости Деревянко, дядя Петя, — алкоголик и футбольный фанат. Его жена, тетя Поля, жалуется моей бабушке, что у Пети, мол, всего три причины напиться: Черноморец выиграл, Черноморец проиграл, Черноморец сегодня не играет. Моя мудрая бабушка, не знает, что посоветовать, это, может быть, единственный случай, когда она растеряна: у нее нет опыта жизни с пьющим мужем. Обе вздыхают. В самых крайних случаях футбольных переживаний дяди Пети тетя Полина обычно бежит к моему папе — папа знает, что делать. Когда дядя Петя бушует, бывает достаточно того, что папа просто вошел в комнату — буря моментально утихает. Папу дядя Петя боится и уважает. Но когда хмель сильнее инстинкта самосохранения, папе приходится поступать решительно. Через часик проспавшийся дядя Петя просит, чтобы его развязали, и клянется, что теперь — никог-

да. У дяди Пети еще с войны не сгибается нога, и папа, тоже фронтовик, поддразнивает его старой фронтовой дразнилкой, попадающей в ритм хромого шага: "рупь-пять, два-десять". Дядя Петя добродушно отзывается. Для него папа свой, такой же, как он сам, только старше по званию.

Очередное представление. Дядя Петя стоит на балконе второго этажа пьяный в дымину и горячими слезами оплакивает поражение Черноморца. Он чувствует себя на трибуне и все делает чересчур: хрипло орет, рвет на себе рубашку, закидывает негнушующую ногу на перила. Народ останавливается, волнуется, это подогревает дядю Петю еще больше. Наконец изувеченная нога забрасывается на перила чуть более эмоционально, чем тема того заслуживает, и дядя Петя со всего маху шлепается спиной об асфальт. Женский визг, мужские выкрики... Мне с моего балкона видно, как толпа быстро и тесно обступила лежащего. Из парадного вылетает белая (как мед, как смерть, без кровинки в лице) тетя Полина, мечется между людьми, расталкивает их, плачет, кричит: "Дайте ему дышать!". От испуга и отчаяния она не соображает, что нужно сделать, она бросается к каждому, кто на нее смотрит — может, он скажет.

— Что? — кричит она. — Что надо делать?

Кто-то уже окатил дядю Петю водой из ведра, кто-то — побежал к автомату вызывать скорую...

Я вижу сверху, как в толпу втирается мадам Бритва. Она уверенно распахивает локтями столпившихся и говорит с напряжением сама в себя:

— От-т-тойдите все!.. Дайте ему дышать... Что вы к нему прилипли...

Вот она уже в первых рядах, тянет зажатую толпой кофту.

— Полина! — громко, по-учительски, восклицает она и, сильно сощурившись, вглядывается в лежащего дядю Петю. — Полина, слушай сюда!

Все замолкают, все смотрят на мадам Бритву, и тетя Поля с надеждой бросается к ней.

— Полина! — мадам Бритва указывает пальцем на дядю Петю, а потом на балкон. — Полина, он что... упал?

Столбняк тети Полины длится не более секунды. С искаженным лицом она обеими руками ударом отталкивает от себя эту нелепую мадам Бритву. Она отталкивает от себя эту глупость, этот идиотский вопрос, эту дикую помеху. И маленькая, старенькая мадам Бритва летит вперед спиной на руки неуместно смеющейся толпы.

Дядя Петя выжил тогда без особых потерь.

Когда Шулемович приходит к бабушке, бабушка забывает русскую

речь. Они часами говорят о чем-то для меня таинственном, вместе листают наоборотные книжки.

— Бабуль, а почему ваши книжки сделаны наоборот, открываются не туда?
— Умник! А кто тебе сказал, что именно так — это наоборот? А почему не ваши наоборот?

И я вспоминаю про перевернутое изображение камеры-обскуры.

Все разговоры уже после ухода Шулемовича.

— Бабуль, я у Шулемовича видел такие же книжки.
— Не... У него ты видел на древнееврейском, а у нас — на просто еврейском.
— Что это значит?
— У нас — на идиш, а у него — на иврите.
— Бабуль, а ты знаешь на древнееврейском?
— В школе учила.
— Ну, скажи, хоть что-нибудь.

Бабушка думает, потом говорит строго:

— Кол ойхел ба шук, ке дойме ле келев.
— Ну, и что это?
— Это слова, которые именно тебе стоит взять в голову. "Кто кушает на улице — похож на собаку". Ты когда-нибудь видел, чтоб я кушала на улице?
— И вот про это вы все время говорите с Шулемовичем?
— Может быть, ваша светлость научит меня, о чем мне говорить с моими гостями? Ты хоть понимаешь, сколько он всего прожил, пока ты изволил себе родиться? Ты понимаешь, что ты видишь только самый краешек? Он старше моего покойного папы, тебе на долгие годы. Это уже, конечно, не тот Шулемович... Как я понимаю, он был мужчина — мое почтение! Сейчас это только тень Шулемовича, а не Шулемович. Он делал такие дела, что сегодняшней Молдаванке не снилось!

На следующий день, придя с работы, мама, улыбаясь, сообщила бабушке приятную весть:

— Видела вашего нового друга сегодня в городе. Прямо столкнулась к ним нос к носу.
— Ты что, ходишь в синагогу?
— Щас! Синагога! Какая синагога! Мы встретились в трамвае, совсем не нашего маршрута. Ой, вы прямо, как слепая. Весь двор знает, одна вы не знаете.
— Что я не знаю?
— Он же побирается по трамваям, как последний нищий.

— Кто? — бабушка яростно поджала губы.

— Кто! Рэбе ваш ненаглядный. Сижу сегодня в "двадцать третьем", а на Греческой, перед самым поворотом, появляется в дверях его шляпа. А я всегда думала: чего он и летом, и зимой в этой шляпе? А он ее снимает — и "Подайте на пропитание!..". А как меня увидел, кивнул и шляпу нацепил, как будто это он ее снял, чтобы со мной поздороваться. И не глядя сразу сел на соседнее сиденье. А весь трамвай, конечно, посмотрел на меня. Я чуть со стыда не провалилась, а ему хоть бы что. А вы не знали? Меня уже соседи спрашивали, что он у вас делает?

— А какое им дело?

— Как, какое! Это же наше лицо, кто к нам ходит.

— Знаешь что, ему вот указывай, какое делать вам лицо! — толстый бабушкин палец плакатно ткнул в мою сторону. — А меня оставь в покое, я еще в своем уме и обойдусь без твоих указок.

Цилия держит мадам Бритву за кофту и громко говорит, через каждые два слова пожимая плечами.

— Знаете что, я ни во что ни вмешиваюсь, вы в очках — вам виднее. Только возьмите и задайтесь вопросом: что вдруг? Слышите, он же никогда к ним не ходил! Ну, я вас спрашиваю! Для нас всех он старый гелемтер-молodeц, а для нее — а гройсе пурец! Научная личность! Книжки они читают...

Это сцена первая. Сценический круг поворачивается, и вот мадам Бритва стоит в дверях нашей комнаты напротив бабушки.

— Зец зех аныдер! — так эту фразу воспринимает мое бездарное к языкам ухо. Но я знаю, что это "садитесь". — Вус эрцех? (Что слышно?)

Мадам Бритва тяжело проходит к стулу, зачем-то передвигает его немножко в сторону и, кряхтя, садится. У нее на голове пуховый платок, и она сидит, как бы не раздеваясь. Ненадолго, мол.

Их объяснение происходит в моем присутствии, но на идише. Я могу судить только по интонациям и мимике. И то, и другое — избыточно богато. Они спорят о чем-то, они почти поругались... Теперь мадам Бритва жалуется бабушке — и бабушка ее понимает. А вот вступила бабушка. Спорю на авторучку — она сейчас защищает Шулемовича. Для нее он мужчина — "мое почтение!". Теперь соглашается мадам Бритва. Видно, что они пришли к чему-то обоюдному, потому что меня гонят разводить примус и ставить чайник. Лично я очень доволен: с утра в квартире пахло ванилью.

Шулемович умер. От несчастного случая. Он упал в канаву, сломал шейку бедра, но главное — заболел воспалением легких. Пока его вытаскивали, успел простыть. Вот сто лет человеку, а его смерть оказалась для всех неожиданной. На похороны пришел весь двор. Все женщины плакали, а Циля громко что-то втолковывала мадам Бритве — единственной, кто не плакал. Только моя бабушка не вышла из квартиры. Она всплакнула дома. Папа и мама были на работе, а я, когда вернулся, застал бабушку за возней с примусом. Глаза у нее были красные, губы поджаты. Огонь сухого спирта и освещал, и окрашивал ее лицо. Я вспомнил слова бабушки, что это, мол, не Шулемович, это тень Шулемовича, и представил себе, как невероятно длинна его жизнь. Я практически и не застал ее. Она отделена от меня невидимой дверью, по эту сторону которой живу я, а по ту — он, а меня никогда не было. И еще я представил себе, что в центре этой двери есть крошечное отверстие, и сквозь него проливается таинственная, наоборотная, как еврейские книжки, жизнь Шулемовича, и Шулемович, оказавшийся со мной в одном времени, был не тенью, а наоборот — светом. Ну, не тем светом, луч которого в темном царстве, а живой проекцией своей длиннющей жизни, маленьким, цветным, живым изображением. И изображение это казалось мне смешным и перевернутым. Ведь Шулемович, живший в какие-то учебниковые времена, никогда в моем присутствии не проявил себя, как их очевидец и свидетель. В этом смысле он был ничем — древней стены или дерева. Но вот бабушка что-то разглядела, она понимала, кто есть Шулемович на самом деле. Или хотя бы — кем он был. Для меня же он так и остался Хоттабычем-побирушкой, хозяином волшебной камеры-обскуры, о которой он даже не подозревал.

Израиль



Фрегат

Публикуемая глава из романа одесского писателя Родиона Феденева "Граф Ланжерон" относится к тем временам в биографии одного из первостроителей Одессы, которые до сих пор оставались мало известными даже для специалистов: пребывание молодого графа Ланжерона в Америке, его участие в борьбе за независимость Соединенных Штатов от Англии.

Только 25 сентября 1882 года военный фрегат "Aigle", что в переводе означает "Орел", выбрал свои якоря у причала Ла-Рошели, под всеми парусами обогнул западный мыс с крепостью Брест и, не зажигая ночью огня, благополучно миновал посты английских кораблей, которые топили все и вся, что устремлялось к берегам Америки. Задержка в Ла-Рошели объяснялась то медленной доставкой грузов и провианта, то смотром судна морским начальством, а то попросту выгрузкой ядер из трюмов на палубу, где их подолгу и тщательно очищали от ржавчины, а потом снова опускали в трюмы.

Карьера лейтенанта де Ланжерона так или иначе проецировалась на военное противостояние Франции и Англии. Сразу после коллежа пять лет назад он начал службу прапорщиком сверх штата в королевской гвардии Версаля, а потом в чине подпоручика пехотного полка графа де Дама (приходящегося ему дядей по материнской линии) должен был принять участие в военных действиях у берегов Англии. Но эту экспедицию отложили, и граф Ланжерон уже в чине сублейтенанта служил в пехоте Лимозина, а потом в полку драгун принца Конде, где все офицеры устремляли свои взоры на американский континент: там армия Вашингтона сражалась с англичанами при поддержке французов.

Среди сухопутных офицеров на корабле лейтенант де Ланжерон с удивлением увидел графа Луи Филиппа Сегюра и виконта де Ноайля. Первый вел свой род из протестантов провинции Гиен, в Париже имел прозвище молчалиник Сегюр и был сыном военного министра, которому Александр писал о своем переводе в отряд экспедиции. Вторым был братом жены Лафайета. Им на фрегате предоставили отдельную каюту. Трехмачтовый фрегат с шестьюдесятью пушками на борту стал домом лейтенанту Александру. Команда, двести моряков, артиллеристов, обслуга разного сорта и рода, отряд инфантерии — все это помещалось в кубриках, на палубах, даже в трюмах. "Тут многолюдно, как в воскресенье на Ели-

Шулемович умер. От несчастного случая. Он упал в канаву, сломал шейку бедра, но главное — заболел воспалением легких. Пока его вытащили, успел простыть. Вот сто лет человеку, а его смерть оказалась для всех неожиданной. На похороны пришел весь двор. Все женщины плакали, а Циля громко что-то втолковывала мадам Бритве — единственной, кто не плакал. Только моя бабушка не вышла из квартиры. Она всплакнула дома. Папа и мама были на работе, а я, когда вернулся, застал бабушку за возней с примусом. Глаза у нее были красные, губы поджаты. Огонь сухого спирта и освещал, и окрашивал ее лицо. Я вспомнил слова бабушки, что это, мол, не Шулемович, это тень Шулемовича, и представил себе, как невероятно длинна его жизнь. Я практически и не застал ее. Она отделена от меня невидимой дверью, по эту сторону которой живу я, а по ту — он, а меня никогда не было. И еще я представил себе, что в центре этой двери есть крошечное отверстие, и сквозь него проливается таинственная, наоборотная, как еврейские книжки, жизнь Шулемовича, и Шулемович, оказавшийся со мной в одном времени, был не тенью, а наоборот — светом. Ну, не тем светом, луч которого в темном царстве, а живой проекцией своей длиннющей жизни, маленьким, цветным, живым изображением. И изображение это казалось мне смешным и перевернутым. Ведь Шулемович, живший в какие-то учебниковые времена, никогда в моем присутствии не проявил себя, как их очевидец и свидетель. В этом смысле он был ничем — древней стены или дерева. Но вот бабушка что-то разглядела, она понимала, кто есть Шулемович на самом деле. Или хотя бы — кем он был. Для меня же он так и остался Хоттабычем-побирушкой, хозяином волшебной камеры-обскуры, о которой он даже не подозревал.

Израиль



Фрегат

Публикуемая глава из романа одесского писателя Родиона Феденева "Граф Ланжерон" относится к тем временам в биографии одного из первостроителей Одессы, которые до сих пор оставались мало известными даже для специалистов: пребывание молодого графа Ланжерона в Америке, его участие в борьбе за независимость Соединенных Штатов от Англии.

Только 25 сентября 1882 года военный фрегат "Aigle", что в переводе означает "Орел", выбрал свои якоря у причала Ла-Рошели, под всеми парусами обогнул западный мыс с крепостью Брест и, не зажигая ночью огня, благополучно миновал посты английских кораблей, которые топили все и вся, что устремлялось к берегам Америки. Задержка в Ла-Рошели объяснялась то медленной доставкой грузов и провианта, то смотром судна морским начальством, а то попросту выгрузкой ядер из трюмов на палубу, где их подолгу и тщательно очищали от ржавчины, а потом снова опускали в трюмы.

Карьера лейтенанта де Ланжерона так или иначе проецировалась на военное противостояние Франции и Англии. Сразу после коллежа пять лет назад он начал службу прапорщиком сверх штата в королевской гвардии Версаля, а потом в чине подпоручика пехотного полка графа де Дама (приходящегося ему дядей по материнской линии) должен был принять участие в военных действиях у берегов Англии. Но эту экспедицию отложили, и граф Ланжерон уже в чине сублейтенанта служил в пехоте Лимозина, а потом в полку драгун принца Конде, где все офицеры устремляли свои взоры на американский континент: там армия Вашингтона сражалась с англичанами при поддержке французов.

Среди сухопутных офицеров на корабле лейтенант де Ланжерон с удивлением увидел графа Луи Филиппа Сегюра и виконта де Ноайля. Первый вел свой род из протестантов провинции Гиен, в Париже имел прозвище молчалиник Сегюр и был сыном военного министра, которому Александр писал о своем переводе в отряд экспедиции. Вторым был братом жены Лафайета. Им на фрегате предоставили отдельную каюту. Трехмачтовый фрегат с шестьюдесятью пушками на борту стал домом лейтенанту Александру. Команда, двести моряков, артиллеристов, обслуга разного сорта и рода, отряд инфантерии — все это помещалось в кубриках, на палубах, даже в трюмах. "Тут многолюдно, как в воскресенье на Ели-

сейских полях", — записал он в своем дневнике, который озаглавил "Дневник для Дианы". Первую ночь он спал в каюте, которую делил с лейтенантами Шарлем, Риго де Водрелем и капитаном Квентином Ришеборгом. Но на вторую ночь он в каюту не пришел, и сколько его не искали — найти не могли. Лейтенанту Риго пришлось идти в каюту своего отца вице-адмирала де Водреля, который командовал на корабле всем, разбудить его и доложить о том, что лейтенант де Ланжерон исчез.

- Много ли вы пили за ужином? — резонно спросил вице-адмирал.
- Только ром и только положенные четверть пинты, — заверил его сын.
- Не угостил ли вас кто смолой? — спросил отец.

Риго Водрель убедительно протестовал: к смоле, то есть к чаю с ямайским ромом и к опию они не только не прикасались, но сухопутные Ланжерон, Квентин Ришеборг и Шарль Виомениль и понятия не имеют, что это такое — смола.

Вице-адмирал вызвал старшего офицера и приказал начать тщательные поиски. Лейтенанта Ланжерона искали на всех палубах, среди оружейных команд, вахт левого и правого бортов, на спардеке, гон-деке, в кубриках, среди якорных тросов и бочек в трюмах, заглянули в крюйт-камеру, опросили старшин-оружейников, старшин главного и носового трюма, полицейского жилой палубы, офицерского, капитанского и камбузовых коков, рассыльных, вестовых, военного капеллана и даже буфетчика кают-компания — все безрезультатно.

Лейтенант Ришеборг, в первый же день своим могучим телосложением покоривший всю морскую команду, глядя на ровные океанские волны за бортом, без тени иронии сказал:

- Да он как в воду канул!

Капеллан, а следом за ним вице-адмирал перекрестились.

Дождались рассвета, вице-адмирал приказал бить тревогу, и тотчас над палубами фрегата раздалась всепроникающая, с переборами и раскатами барабанная дробь. Все и вся на корабле через несколько минут заняло свои места по расписанию боевой тревоги. И, главное, сделано это было чрезвычайно вовремя! По правому борту на норд-весте был замечен линейный корабль англичан. Пушки его были еще на расстоянии большем, чем на выстрел, а поэтому более легкий французский фрегат, пользуясь попутным ветром, ушел от небезопасной встречи.

— Двойную порцию рома грот-марсовым, что первыми заметили английский линейный! — приказал вице-адмирал.

Но марсовый старшина сообщил, что еще вчера под вечер к нему на

грот-марс влез пехотный офицер лейтенант Александр с театральным биноклем и оставался там до самой смены вахты. Выяснилось, что лейтенант граф Ланжерон не впервые попал на парусник. В детстве и юности он вместе с отцом, губернатором Бреста, бывал в брестском порту и на судах, где, естественно, основным развлечением для него было подняться на марс. И вот на второй день своего пребывания на фрегате, прихватив театральный бинокль, он, хоть и с трудом, но все-таки взобрался к желанной цели. Марс фрегата — сооружение вокруг мачты, напоминает балкон. Марсовые матросы в хорошую погоду и спят тут. Поэтому, вспомнив о душной каюте, лейтенант остался на марсе на ночь, устроив из свернутых парусов романтическую постель. Искавшим его не пришлось в голову послать пару матросов на грот-марс. Поэтому ничего не подозревавший лейтенант проснулся на рассвете и, обозревая в свой театральный бинокль просторы Атлантики, заметил английское судно.

— Да вы в рубашке родились, — сказал вице-адмирал Водрель спустившемуся на палубу хорошо выспавшемуся лейтенанту.

От своей порции рома лейтенант Александр отказался в пользу марсовых, так как этот напиток ему не пришелся по вкусу. Вице-адмирал Водрель пригласил "проштрафившегося" лейтенанта и его друзей в свою каюту на завтрак, где ром был заменен отменным фронтиньян-бордо времен семилетней войны. За завтраком вице-адмирал к вящему разочарованию офицеров сказал, что вряд ли на американском континенте им следует ожидать жарких дел.

— Но зачем же тогда отправлена наша экспедиция? — спросил лейтенант Александр.

— Не могу, не имею права пока говорить об этом, — ответил вице-адмирал. Он взял со стола запыленную бутылку и, указав на дату, когда вино было налито в нее — 1760 — продолжил: — Вот когда все это началось. Мы потеряли наши колонии в Индии и Канаде. Нет, кое-что осталось, но былого влияния в мире, боюсь, нам уж не вернуть.

С этим молодые офицеры согласиться не могли.

— Я со времен коллежа не очень жалую маркиза Лафайета, — сказал лейтенант Ланжерон, — но он в свои девятнадцать лет опроверг вашу мысль. Капитан Лафайет купил и снарядил корабль и с десятком молодых прибыл в Америку именно для этого: возродить былое влияние Франции!

— Может быть, — ответил вице-адмирал Водрель, подав знак своему буфетчику разлить вино по бокалам. — Но из-за чего началась эта так называемая война за независимость Америки от Англии? Из-за налогов

и земли. Оставлять собранные налоги в распоряжении колониальных Ассамблей или отсылать деньги в Англию? Если отсылать, то на что жить в колониях Америки? Но можно жить на доходы от осваиваемых земель. Англичане ввели запрет освоения западных земель. Генерал Вашингтон в первую очередь землевладелец. У него двадцать пять тысяч гектаров. И с ними он был в вечных долгах! Так что ваш Лафайет помогает землевладельцу Вашингтону, а не возрождает былое величие Франции.

— Но это только начало, — сказал капитан Квентин Ришеборг и накрыл своей огромной ладонью бокал с вином. — Потом мы вернем Франции Канаду и владения в Индии.

— Это отличный тост! — воскликнул лейтенант Шарль.

— Не могу к нему присоединиться, — сказал, грустно улыбаясь, вице-адмирал. — У нас просто нет денег на еще одну войну. Мы послали Вашингтону около десяти тысяч солдат, военное снаряжение, свой флот, а теперь едва наскребли немного пороха и обмундирования. Мы одолжили Америке миллионы, а надежда на их возврат весьма сомнительна.

Офицеры поскущели, но капитан предложил:

— Так что, выпьем за счастливый случай, приведший к тому, что лейтенант Ланжерон оказался на грот-марсе со своим театральным биноклем. Иначе сейчас нам было бы совсем не до этого прекрасного вина.

После этого счастливого случая команда фрегата "Орел" присвоила графу де Ланжерону кличку "марсовый лейтенант".

Хотя жизнь на военном фрегате была четко расписана и регламентирована, сухопутные офицеры и их отряд в три сотни человек чувствовали себя изнывающими от скуки пассажирами. Иногда, чтобы встряхнуться, проводили учения на верхней палубе, но эти "сражения" с воображаемым противником набили им оскомину и на суше. Так что основным времяпрепровождением у офицеров были карты, разговоры за полночь и письма, которые писались впрок, в расчете по прибытии отправить их во Францию с оказией. В своем "Дневнике для Дианы" марсовый лейтенант Александр записывал: "Возьмите ваш глобус, милая Диана, найдите точку посередине Атлантического океана и поверьте в то, что я сейчас нахожусь именно здесь. До меня доносится команда ставить какие-то неизвестные мне грот-бом-брамсея, в окошко я вижу то облака, то бесконечно убегающий куда-то зеленый шлейф, над которым постоянно трудится здешний портной — это ветер. Ни наши паруса, ни наш корабль ему не нравятся, но мы используем его недовольство и, как нас уверяют моряки, движемся с хорошей скоростью. Я в это не верю. У меня такое впечатление, что мы

стоим на месте и всего лишь бьемся об эти нескончаемые волны. Одно хорошо: я не удаляюсь от вас. С палубы я вижу рулевого, который напоминает мне кучера парижского фиакра, подъехавшего к вашему дому на Сент-Оноре и вставшего, чтобы посмотреть: можно ли въехать в ворота, украшенные вашим вензелем... Три дня я провел в каюте, мою болезнь тут называют обыкновенной морской болезнью, но я считаю ее расплатой за то, что поступил опрометчиво: уехал из Парижа и, несмотря на ваш запрет, не повидал вас. Но что говорить — я был в отчаянии от вашего письма и оттого, что в Генуе вы даже не повернули в мою сторону свою очаровательную головку.

Как-то утром, умываясь в туалетной при кают-компании, он сказал:

— Вокруг океан, вода и вода... Тут так много воды, что умываться противно.

Когда эта фраза дошла до вице-адмирала Водреля, он послал лейтенанту флакон прованской туалетной воды.

Офицеры от инфантерии старались постичь морские обычаи, жаргон и все время путались в сложных названиях парусов. После двух-трех проб лейтенант Ланжерон воскликнул:

— Нет, если это паруса, то что такое латынь?!

Вице-адмирал смеялся, и его кок выпек в этот день для офицеров английский пудинг.

Лейтенант Александр освежал в памяти английский, просмотрел, а отчасти и прочитал довольно скудный запас книг из библиотеки кают-компании. На ум не шли ни фолианты "Опытов" философа-англичанина Локка ни "Искусство войны" ссыльного флорентийца Макьявелли, враждовавшего с домом Медичи. Лейтенанту сказали, что у матросов есть своя библиотека, и он разыскал трюмного старшину, который держал свою библиотеку в бочке, которую, чтобы показать книги, пришлось перевернуть. Библиотекарь-старшина весьма советовал лейтенанту познакомиться с книгой некоего Нокса, который был девятнадцать лет в рабстве на Цейлоне и написал об этом книгу. В ней он рассказал и о дьяволе, которому местные жители приносили в жертву колбасу, но так и не задобрили его, а он сводил их с ума, потому что, как видно, жертвенная колбаса была не того сорта.

Да, матросы корабля, как установил Александр, развлекались по-своему. Офицеры играли затяжные партии в шахматы. Матросы предпочитали шашки на досках из парусины. Устраивали кулачные бои, сражения на палках. Были среди них и специалисты по татуировкам. Капеллан уверял, что наиболее модная татуировка — распятие, так как матросы-католики

боялись внезапной смерти и надеялись, что их похоронят достойно, увидев на теле такую нравственную наколку. Но лейтенанту показали матроса, у которого была наколота корабельная цепь. Причем она начиналась у шеи и обвивала все тело до пяток, не оставляя живого места.

— Да, это самая дорогая цепь, — подтвердил капеллан. — Татуировка каждого ее звена обошлась этому грешнику тридцать су. Столько же он платил за одно посещение театра, где ему так и не привили начала нравственности.

Театр! Слово было произнесено, и лейтенант Ланжерон поинтересовался: бывает ли театр на военном фрегате? Выяснилось, что моряки во время длинных и однообразных переходов сами устраивают театральные зрелища. Среди них был поэт, матрос вахты левого борта, крьюйс-марсовый Огюст из Нанта. Его привели к лейтенанту. Поэт был хмур и неразговорчив. Оказалось, что свои поэтические творения он хранил подальше от чужого глаза за дульной пробкой в стволе пушки-коронады. Но он не успел достать свои вирши, когда вдруг объявили учебную стрельбу, и все его поэтические перлы были выпущены из пушки вместе с ядром.

Лейтенант Ланжерон утешал поэта:

— Ничего. Читайте, что ваши произведения все-таки были выпущены в свет!

Огюст сочинял на корабле и драмы с лаконичными названиями: "Мечты висельника", "Головорез ночью"... С Огюстом лейтенант и сочинил фарс "Свадьба", используя два театральных типажа пройдохи и простофили. Пройдоха то продавал простофиле спардек и клотик (часть палубы и верхнюю часть мачты), то отдавал ему в жены свою сестру по имени Натель (болт для наворачивания снастей), за которой было богатейшее приданое в виде золотых люков и портов (дыры в палубе и бортах судна).

Но воплотить пьесу на досках юта не удалось: фрегат после месячного плавания приблизился к берегам американского континента и теперь следовало найти хоть один из семи кораблей американского флота или хотя бы наткнуться на какое-нибудь французское судно, чтобы выяснить обстановку и определиться с портом выгрузки снаряжения и припасов для американской армии.

— Теперь не до богини Мельпомены, — сказал вице-адмирал де Водрель. — Театральные начинания отложить, всем смотреть в оба.

"Орел" полным ходом шел мимо залива реки Делавэр, по левому борту уже был Кап-Мэй, как желаемое совершилось: впереди показались паруса, но, увы, это были паруса английского фрегата и двух легких английских клиперов. От тревожной барабанной дробы боевой тревоги все пришлось в движение, капитан коротко посоветовался с морскими офицерами, и при-

нял решение: немедленно вступить в бой. Сухопутным офицерам оставалось лишь комментировать меж собой события и никому не мешать. Правда, на их лицах читался немой вопрос: "Как мы в одиночку вступим в бой с тремя судами неприятеля? Клиперы могут зайти нам в тыл". Лейтенант Водрель, более осведомленный в морских делах — все-таки сын вице-адмирала, — объяснил: "Видите, англичане стали в линию, бортами к нам. Готовятся к стрельбе. И мы становимся к ним правым бортом. Клипера могут приблизиться к нам только слева — тогда мы пойдем им навстречу и наверняка потопим. Но они не приблизятся — вооружение не то".

И в этот миг внизу, где-то в чреве их фрегата, что-то ухнуло и взорвалось так, что палуба будто ударила в подошвы офицерам и сотрясла их ничего не ожидавшие тела — только спустя минуту, в течение которой они почти оглохли, сухопутные догадались: пушки их правого борта начали свою пальбу. И лишь по дымам с бортов английских судов можно было понять: и они обстреливают французский фрегат. Артиллерийская дуэль длилась и длилась, но пушки верхней палубы, где находились сухопутные офицеры, почему-то не вступали в дело, хотя и ядра уж были в стволах, и винтовые прицелы готовы, и фитили зажжены. Лейтенант Александр показал на них и принял удивленный вид — лейтенант Водрель понял его немой вопрос и прокричал лейтенанту на ухо: "Они для ближнего боя!". Двадцатичетырехфунтовые ядра пушек-коронад наносили страшные разрушения, но при сближении на сто пятьдесят ярдов.

Дуэль продолжалась два часа. Одно английское ядро угодило в верхнюю палубу "Орла", взрывом все было сметено, взорвались и несколько коронад, готовых к стрельбе, истошно закричал раненый артиллерист, лейтенант Александр увидел несколько неподвижных тел, но уж было не до них: в гари и дыме появились языки пламени, бухты просмоленных канатов вспыхивали кострами, огонь подбирался к парусам и мачтам, кто-то безуспешно пытался тушить пламя... Когда и как были отданы нужные команды, сухопутные офицеры не уловили, но фрегат снялся с якорей, матросы уж были на реях и распускали необходимые паруса — судно стало уходить от неприятеля в Делавэрский залив. Вице-адмирал Водрель перекрестился и сказал:

— Не сесть бы нам на мель!

В свой театральный бинокль лейтенант Александр успел разглядеть с кормы, что и англичане не остались без потерь: один из клиперов дымил, а на другом была снесена мачта. Но английский фрегат начал преследование. Впрочем, оно закончилось ничем: в бухту Делавэр англичане войти

не решились. К этому времени пожар был потушен, убитого артиллериста накрыли парусиной, ранеными занимался судовой доктор. Выяснилось, что еще одно ядро англичан пробило борт у самой ватерлинии, в трюмы поступала вода.

Вице-адмирал принял решение идти вверх по реке Делавер к Филадельфии. Беспокоило одно: фарватера реки он не знал, а поэтому отдал команду убрать часть парусов и промерять глубины лотом. Несмотря на октябрь, пологие берега залива были зелены и сплошь покрыты непроходимыми зарослями. Когда берега реки сузились, прямо по фарватеру появилась лодка с двадцатью гребцами и вооруженными людьми на ней. Лодка подошла к левому борту, стали различимы кирпично-красные лица гребцов. Это были индейцы с отрядом ополченцев, которыми командовал низкорослый плотного сложения человек с двумя пистолетами и ножом за поясом. Из лодки он крикнул по-французски:

— Я майор Джеймс! Пограничный контроль! Ваши намерения?

Через несколько минут он был на палубе, предложил свои услуги — довести фрегат к причалам Филадельфии, сообщил, что там есть небольшая верфь, где можно затеять ремонт, и сказал, что индейцев надо угостить водкой:

— Они знают все здешние мели и пригодятся вам на разгрузке.

Вице-адмирал Водрель тут же осведомился: какое количество водки надо дать, чтобы индейцы все-таки не утратили свои столь ценные качества. Майор ответил, что это не индейцы племени Делавер, которые могут перепить десяток таких, как могучий лейтенант Ришеборг, а ирокезы, пришедшие сюда с севера, их возможностей он еще не знает, поэтому следует начать с обычной морской порции. Оказалось, что несмотря на великую войну американцев и французов с Англией, индейцы ирокезы ведут свои счета с делаверами, которых и вытеснили из этих краев на Запад. На палубу поднялся и сашем (вождь) племени. Холодок прошел по спинам офицеров, когда они увидели на его поясе болтающиеся на ветру пергаментные, с остатками волос скальпы врагов. Он был в кожаных штанах, шляпе с разноцветными перьями, а на груди поверх куртки охотника лежало в несколько рядов тяжелое ожерелье. Сашем улыбнулся, что-то сказал и деловито выпил матросскую чарку.

От майора-ополченца Джеймса офицеры узнали и последние новости. Генерала Вашингтона в Филадельфии не было. Он со своим штабом расположился под Нью-Йорком, все еще занятым английскими войсками генерала Клинтон.

— Жаль, жаль, что вы не прибыли в Филадельфию чуть раньше, после нашей победы под Йорктауном, — говорил майор. — Восемь тысяч англичан сдалось в плен! Я был при этом. Нет, сдавались они красиво. Шли в своих красных мундирах, колонной, даже с оркестром. Правда, оркестр играл песенку "Мир перевернулся вверх тормашками"... Что мы перед ними? Оборванцы. Но они нам сдались! Их генерал Корноваллис поклялся поймать вашего мальчишку Лафайета, а мальчишка сам поймал его! Вашингтон на банкете пил за здоровье вашего короля.

А в Филадельфии в каждом окне зажгли по свече. Был такой фейерверк, что его, верно, и в Лондоне видели. Вашингтона наградили двумя английскими знаменами, вашего генерала Рошамбо трофейной пушкой, а мой двоюродный брат — он привез весть о победе в Филадельфию — получил лошадь и иппагу. А теперь... Теперь, конечно, Вашингтона называют, как вашего короля, Джорджем Первым. Но нам от этого не слаще. Обещали заплатить жалованье за пять лет — не дали ни гроша. У моего отца имение выше по реке. Он дал армии и лошадей, и провиант. Взамен получил квитанции. А оплачивать их никто не собирается — денег у Конгресса, видите ли, нет! Мы всю эту проклятую войну мерзли и голодали, а нам, и ополченцам, и армии выдали бумажки — сертификаты — мол, потом заплатим! А сами теперь эти сертификаты у солдат скупают за гроши, чтобы самим потом получить сполна. За что мы воевали, если остались с пустыми карманами?

Майор вопрошал хмурые небеса. На груди солдата, сопровождавшего его, ярко выделялось что-то вроде ордена, вырезанного из пурпурного шелка. Лейтенант Александр спросил, что это за награда?

— Орден "За военные заслуги", — гордо ответил солдат. (Это был первый орден, введенный Вашингтоном для своих солдат. Вскоре он был забыт, а возрожден был через сто пятьдесят один год, в 1933 году, как орден "Пурпурное сердце".)

При появлении фрегата на причале Филадельфии собралась толпа. Но первое, на что обратил лейтенант Александр, сойдя на берег, был пес, обклеенный зелеными ассигнациями.

— Доллар настолько обесценился, что так у нас развлекаются, — пояснил майор.

"Этот обклеенный бумажными долларами бездомный пес — итог всех громких слов о Свободе", — подумалось лейтенанту Ланжерону.

С прибывшим представителем военного министерства майор Джеймс быстро организовал разгрузку, заверив, что его индейцы ничего не укра-

дут. Французских войск в Филадельфии не было. Шарль Виомениль спросил у чиновника министерства о своем отце, бароне Виомениле.

— Барон Виомениль? — переспросил чиновник министерства. — Не знаю. Но наверняка он вместе с генералом Рошамбо на подходах к Нью-бери, где стоит штаб генерала Вашингтона.

Одно— и двухэтажная Филадельфия ничем не радовала глаз. Офицеры остановились близ ратуши на первом этаже отеля "Мэй". На втором этаже обитали прекрасные незнакомки, которых хозяин отеля изящно называл потаскухами. Справились о почте и сдали туда пухлые письма в надежде, что какой-нибудь торговый корабль увезет их в Европу. Свой "Дневник для Дианы" Александр адресовал Терезе Вапалье, но передал его капитану Квентину Ришеборгу, который отправлял почту в Париж на имя Мари — кузины Дианы.

Городские власти в честь прибытия фрегата "Aigle" дали распоряжение господам актерам повторить представление первой американской оперы Хопкинсона "Замок Минервы", и французским офицерам пришлось битых два часа внимать скверным ариям и хору, который славил Минерву и Гения Франции и крещендо воспевал увенчанного победой воинственного сына Колумбии, сиятельного Вашингтона. Вечером рекогносцировки лейтенантов Шарля Виомениля и Ригу Водреля на второй этаж отеля дали свои плоды. Прекрасные незнакомки оказались голландками и шведками, и в их компании вечер плавно перешел в ночь.

Встали далеко за полдень. Помня о вчерашнем испытании оперой, лейтенант Александр не пошел в театр на пьесу Гаррика "Лживый слуга", а отправился с графом Сегюром в настоящий американский музыкальный салон. От французского он отличался обветшалой мебелью, выписанной из Лондона, и серомраморными бюстами Шекспира и Мильтона того же происхождения. Прически дам не копировали парижские "корабли и сады", но платья соперничали своими объемами с европейскими. Хозяйка салона мисс Шиппен вполне аполитично исполнила на скрипке несколько песен английских вирджинистов. За вестминстерским чаем и ливерпульским бисквитом лейтенант Александр был свидетелем того, что и всегда молчаливый граф Луи Филипп Сегюр может быть неудержимо разговорчивым и галантным. Разговор зашел о Лафайете, и граф вдруг сказал:

— Все в жизни решает случай. Единственный и неповторимый случай, который часто именуют Судьбой.

Мисс Ратледж, компаньонка мисс Шиппен, попросила объяснить, что имеется в виду, и граф Сегюр продолжил:

— Вот вам случай первый. Ваш маркиз Лафайет, которого тут превозносят, иногда бражничал в харчевне "Деревянная шпага". Это местечко на полпути из Парижа в Версаль, в Булонском лесу. Я имел честь быть его собутыльником. С нами бывал герцог де Ларошфуко — внук моралиста, виконт де Ноайль, брат жены Лафайета, шевалье де Куаньи... Мы веселились, мы импровизировали пародии на Парижский парламент и на короля, низвергали политические системы и обсуждали "Общественный договор" Руссо. На нас, разумеется, донесли. Король вызвал меня и потребовал объяснений. Но Людовика я знаю с детских лет — у нас были общие учителя, а поэтому мне ничего не стоило все свести к шутке. Король смеялся и говорил своему премьеру Морепа: "Я их соучастник. Я смеялся их пародиям!". А не окажись я в это время в Версале, будь я в отъезде? Моего друга Лафайета сослали бы в провинцию, и не было бы никаких Америк!

— Ну, это как сказать, — возразила мисс Шиппен. — Как говорится, чему быть, того не миновать. А ваш второй случай?

— Лафайета все-таки перевели в провинцию, правда, с повышением в капитаны. Ему было тогда семнадцать. И вот случай. В провинциальный Мец заехал к маршалу де Бройлю небезызвестный вам герцог Глостер с супругой. Герцог под влиянием отборных вин иронизировал над своим венценосным братцем королем Георгом. И тогда впервые Лафайет услышал о каких-то тринадцати американских штатах, которые хотят отделиться от всесильной Британии. А на следующий день Глостеру доставили из Лондона почту, а в ней сообщалось о Декларации Независимости, которую тут приняли четвертого июля тысяча семьсот семьдесят шестого года. И был приложен текст этой Декларации, которую герцог зачитал. Лафайет мне потом рассказывал, что в ту же секунду его сердце было завербовано. Еще бы! Оказалось, что мечты о Свободе героя "Общественного договора" Жан Жака Руссо осуществляются где-то за океаном! Он был загипнотизирован этим. А не заехал бы герцог Глостер в провинциальный Мец? И не получи он случайно именно тогда текст Декларации?

Молчание было ответом на этот риторический вопрос. Сегюр продолжил:

— А через два года, весной, Лафайет прибежал ко мне утром, в семь часов, я еще и не вставал, а он плотно закрыл двери, присел на кровать и объявил: "Я уезжаю в Америку!".

— Если он ваш друг, почему же вы не поехали с ним?

— Не успел я поразмыслить, как он исчез, — развел руками граф Сегюр.

Лейтенант граф Александр де Ланжерон совершенно был уверен, что тут Луи Филипп врет. И время поразмыслить было, и Лафайет через год

побывал во Франции — Сегюр мог уехать с ним и тогда. Он просто не рискнул оказаться в немилости у короля, не рискнул положением, потому что все, кто уехал с Лафайетом, считались арестованными. А теперь — теперь можно было и поехать, чтобы и разделить славу друга, и приобщиться к событиям историческим. Граф Ланжерон сказал, адресуясь к мисс Радклиф:

— Мы тут слышали, что Вашингтона именуют Джорджем Первым, как королевскую особу.

— О, да, — ответила она. — Так и следует его именовать. Должен же кто-то в этой стране навести порядок.

— Джордж? Король? — мисс Шиппен рассмеялась.

— Но дорогая, он всем король! И успехами, и статью, — сказала Радклиф.

— Конечно, ростом он два метра, а весит сто килограммов, — продолжала улыбаться мисс Шиппен. — Это был бы самый тяжелый король в свете. И самый неуклюжий. Я помню его молодым на балах. Я тогда была еще девочкой, но говорили, что за один танец с ним можно похудеть на целый фунт. В Вирджинии не было ни одного состоятельного семейства, где были девушки на выданье, куда бы он не явился с предложением жениться. Но почему он так поступал? Потому что был влюблен, да и до сих пор без ума от жены своего друга Джорджа Ферфакса — Салли. Она и сейчас хороша собой. А тогда... само обаяние, сама обольстительность. И умна, весела, общительна. Он все свои успехи и карьеру, и победы до сих пор кладет к ее ногам. Все еще надеется на взаимность.

О, это заявление пришлось по душе лейтенанту Александру. Он, как никто, в этом отношении понимал неведомого ему генерала Вашингтона. А мисс Шиппен продолжила:

— Но дело не только в этом. Неуклюжий молодой Джордж Вашингтон хотел войти в иной мир. В доме Салли звучали не только вульгарные ирландские экосезы, но и Гайдн, и Чимароза. У них говорили о Марке Аврелии, о философии стоиков, о Плутархе, как о соседях по плантации. А Сенеку читали, как Еженедельную филадельфийскую газету. Для него это был другой, заветный мир! Но Салли лишь играла с Джорджем, разжигала его страсть, то отвечала взаимностью, то не замечала его. А потом уехала с мужем в Англию. А Джордж и сейчас, как я знаю от книготорговца, заказывал биографии Карла XII и Петра Первого. И мраморные бюсты Руссо и Вольтера, чтобы, когда Салли вернется, быть с ней вровень. Но теперь, увы, ваш Джордж Первый уже не тот вирджинский молодой великан. Годы берут свое. Он давно женат, обременен семьей. У него зубы держатся на проволоке и, говорят, он слепнет.

Да, горький урок почерпнул в этой истории лейтенант Александр. Его тоска по Диане была столь велика, что он тут же решил пробыть в Америке не больше года и вернуться в Париж, а не воевать, пока у него зубы повиснут на проволоке. В это время мисс Радклиф с такой страстью исполнила на клавишине "Партиту" Фрескобальди, что граф Александр укрепился в своем решении и от всего сердца посочувствовал генералу Вашингтону.

Фрегат "Орел" был отведен на верфь, предстояла починка. Поэтому офицеры решили не терять времени и в сопровождении проводника, все того же расторопного майора Джонсона отправились в ставку Вашингтона в Ньюбери, где застали самый разгар празднеств по случаю проводов французских войск в Европу. Крошечный Ньюбери оброс гигантским палаточным предместьем, где располагались войска двух армий. В нескольких таких палатках, не лишенных походной элегантности, расположились офицеры с фрегата. Лейтенант Шарль быстро отыскал своего отца, барона Виомениля, который сказал при встрече:

— Ты все-таки здесь. Я буду рад тебя поздравить, когда здешняя романтика покажется тебе адом.

Но он был рад. Они были похожи: два лица с одинаковыми орлиными носами и пронзительными черными глазами. Вторую пару родственной схожести являли вице-адмирал Водрель и его сын лейтенант Риго: два голубоглазых розовощеких блондина. Генерал Вашингтон, к дому которого офицеров с фрегата привел для представления командующий французскими войсками генерал Рошамбо, сразу отметил это сходство.

— Замечательный факт, — сказал он, окруженный своими адъютантами и французами. — С французской стороны вместе с нами не только отцы, но и их сыновья. Ваш сын, дорогой Рошамбо, геройски сражается в Вест-Индии. А я... я недавно похоронил сына. Но чем мне не сын вот этот молодец? — он показал на высокорослого гиганта Квентина Ришборга. — Разве мы не похожи?

Действительно, между ними было сходство и в стати, и в росте, и в снисходительном взгляде на окружающих. Правда, Вашингтон был сероглаз, а Квентин сиял карими молодыми глазами, но словам генерала офицеры зааплодировали.

— Вот вашей внешности нет пары, — продолжал генерал, взглянув на лейтенанта Ланжерона. — Но зато тут много сердец, что бьются в унисон с вашим.

— Думаю, что обнаружу такие сердца под каждой шляпой, — ответил лейтенант Александр, разряжая душещипательную атмосферу, которую он

не любил. Генерал улыбнулся. Лейтенант продолжил: — А что касается внешности... Мои родители умерли. Братьев у меня нет. Так что, мне придется побеспокоиться самому, как воздействовать на судьбу и природу.

— Да, — улыбнулся генерал. — Это единственно верное решение.

Ему подвели коня. Через секунду он довольно легко для такого богатырского сложения выпрыгнул в седло и в сопровождении верховых отправился на утренний моцион и осмотр лагеря. Умерший сын был его приемным сыном. Свою верную и долготерпеливую жену Марту он взял вдовой с двумя детьми. Когда четыре года назад в его стане появился девятнадцатилетний Лафайет, между ними сложились отношения дружеские и даже нежные — Вашингтон полюбил молодого француза отеческой любовью. Своих детей у него с Мартой не было.

За порядком в палаточном Ньюбери генерал следил лично. Требовал элегантно оформить палатки, выложить гравием дорожки. В отсутствие жарких дел издал приказ по армии о шляпах и повелевал "придать шляпам вид единой военной формы, подрезав поля, носить надлежащим образом и украсить...". В лагере было множество маркитантских фирм, которые предлагали все, что душе угодно, по части выпивки и съестного, но только за твердую валюту — французский франк или английский фунт, а не за обесцененный американский доллар. Поэтому французские офицеры с осторожностью принимали приглашения к столу от американских офицеров: им не на что было накрыть стол и достойно угостить своих французских соратников. Да и Вашингтон писал в письме Конгрессу о том, что американские офицеры, хоть и хозяева, но могут предложить французам во время визита лишь "вонючее виски, и то не всегда, и жалкое подобие мяса без овощей"... Зато ответные визиты устраивались французами по полной мерке: с винами из фамильных подвалов, сырами всех провинций Франции и вдохновенными творениями национальной кухни. Как-то за завтраком в палатке четверых друзей с фрегата снова зашел разговор о том, что же все-таки ждет эту страну — Америку. Здесь они узнали, что только в битве под Йорктауном французы потеряли сто семьдесят шесть человек убитыми. Оправданы ли эти жертвы? И чем же они оправданы? Предстоящим голодом? Восстаниями в американской армии? Вот о чем спрашивал лейтенант Ланжерон отца Шарля, барона Виомениля, здешнего старожила.

— Да, — ответил тот, — мы слышали, что был бунт войск в Коннектикуте. И там зачинщиков казнили на месте.

Генерал Вашингтон писал Линкольну в Филадельфию: "Я не могу не

опасаться, когда я вижу, что столько людей, обремененных тысячами воспоминаний о прошлом и ожиданием будущего, вот-вот выйдут в мир, измученные нищетой и тем, что они называют неблагодарностью страны. В долгах по уши, не могущие принести домой ни цента, растратив свои лучшие дни (а многие и имущество) ради достижения свободы и независимости... Терпение и долгие страдания армии почти исчерпаны".

— Но не думаю, что Вашингтон станет тут монархом Джорджем Первым, чтобы навести порядок, — продолжал барон Виомениль. — Хотя, как я знаю, многие высшие офицеры и крупные люди хотят этого. У него не тот полет, не тот масштаб. Возьмите последнее сражение под Йорктауном. Он хотел идти сразу на Нью-Йорк. Вы знаете, чего стоило генералу Рошамбо переубедить этого упряма? Он, видите ли, составил свой стратегический план! Рошамбо попросту сказал ему, что французская армия пойдет на Йорктаун, а он может отправиться со своей стратегией куда угодно. И он сдался, согласился с Рошамбо. И теперь пожинает плоды "своей" победы под Йорктауном. Доходило до курьезов. Когда англичане церемониально сдавались под Йорктауном, они склоняли головы и оружие перед нами, перед отлично экипированными шеренгами французов, а не перед разношерстной американской армией, которую за ее вид и армией назвать трудно. Эта армия в столь торжественный момент улюлюкала, гримасничала, а ее оркестр завел этот пошлый "Янки дудль". Английский офицер подъехал к нам, хотел официально вручить акт капитуляции Рошамбо, но нам, что поделать, пришлось его отправить к этим варварам.

— Вы во многом правы, — сказал вице-адмирал Водрель, наслаждаясь блюдовернским сыром и запивая его острым белым бретонским вином, — но, как мне кажется, вы не правы в главном. Я тут разговорился с одним из его соратников. Он говорил, что действительно, генералу напрямую предлагают стать Джорджем Первым. Считают, что союз тринадцати штатов дальше может существовать только в форме монархии. Но Вашингтон никогда на это не пойдет. И не потому, что он так уж любит республику и конституцию, а просто потому, что, во-первых, это было бы предательством всей идеи и тысяч таких же землевладельцев, как он. А он порядочный человек, не без ошибок, конечно, но не властолюбец без совести и меры. И, во-вторых, страна эта не так уж бедна, чтобы воздать должное армии и вернуть все долги. Просто тем, у кого есть большие деньги, это не выгодно. Они скупили все долговые обязательства и с помощью голодной армии, раздавая подачки, хотят по этим долговым обязательствам получить все в твердой валюте. Им выгодны бедствия этой страны. А генерал

Вашингтон, по сути, остался землемером, фермером. И интересы финансистов отлично видит и понимает, и никогда не узурпирует с помощью армии власть, чтобы его тут же прикончили и нажились на всем этом.

Посчитав тему исчерпанной, барон Виомениль сообщил сухопутным господам офицерам с фрегата, что генерал Рошамбо принял решение отправить их вместе с экспедиционным отрядом к владениям Франции на Гаити.

— Там предполагаются боевые действия против англичан, — сказал он. — Я назначен командиром десантов. Вице-адмирал Водрель будет руководить соединением кораблей для десантирования.

Господа сухопутные офицеры восприняли эту новость весьма воодушевленно, хотя старались ничем не выказать этого. Они могли быть в числе ста восьмидесяти шести погибших, если бы оказались на этом континенте раньше. Эта мысль угнетала многих из тех, кто представлял себе собственную судьбу немного иной. Может быть, поэтому сливки высшего света виконт де Ноайль и граф де Сегюр решили возвращаться вместе с экспедиционным корпусом во Францию.

Проводы воинов Рошамбо из Ньюбери, несмотря на веселую музыку полковых оркестров, были грустными. Палаточные предместья опустели, деревянные колышки и гравийные дорожки будто свидетельствовали о разорении. Французские войска в белых мундирах, со знаменами, под волны барабанной дробы колоннами уходили мимо склонившего голову генерала Вашингтона. Они шли вдоль рядов синемундирной американской континентальной армии и ополченцев в ладных куртках и шляпах с фазаньими переливчатыми перьями. Все было с иголочки. И сапоги, и башмаки. Фрегат "Орел" привез среди прочего и воинскую одежду для американцев. Главное, все пришлось в пору. И в этом сказывался опыт, потому что в прошлых поставках две тысячи башмаков, сделанных мастерами Бретани, оказались слишком миниатюрными для ног американской солдатни. Американский военный оркестр играл французский военный марш до тех пор, пока колонны не исчезли в дальних холмах. Весь вечер накануне остающиеся офицеры писали письма домой. Лейтенант Ланжерон написал полковнику де Дама, теткам Аделаиде и Альбертине довольно оптимистичные послания. Диане Вапалье он писал: "Судьба моя мне представляется картиной, на которую я сам кладу краски и стараюсь сделать так, чтобы они были верными. Но как бы ни было, какими бы намерениями я ни руководствовался, краски эти образуют ваш портрет. Мне отрадно смотреть в заводь ваших глаз, я боюсь притронуться к золотому локону у вашего виска, потому что портрет ваш оживает, вы улыбаетесь, и я надеюсь, что, может быть, и мне".

Время потекло в ожидании и военных занятиях. Теперь они жили в одном из освободившихся домов, и на Рождество у них был гостем генерал Вашингтон. Он был весел, говорил, что мирный договор с англичанами — дело решенное. Когда фрегат "Орел" еще был в Атлантике, шли конфиденциальные переговоры американцев с Англией, а тридцатого ноября мирный, хоть и предварительный, договор был подписан.

— Еще бы! — восклицал генерал. — У Англии на руках война не только с нами и Францией, но и с Голландией и Испанией. Россия нейтральна, но создала Лигу нейтральных государств, к которой присоединились семь стран, и даже Священная Римская империя! Раньше в Англии говорили: даже если американцы займут Вестминстер, мы не дадим им независимости! А теперь их Парламент принял резолюцию, по которой каждый, желающий продолжать войну с нами, объявляется врагом Британской нации. Вы должны извинить наших представителей в Париже Джона Адамса и Бенджамена Франклина. Они действовали столь успешно, что король Людовик уволил вашего премьера Вержена. Правда, дал ему пост министра финансов, и остается надеяться, что на этом посту Вержен проявит себя лучше.

Был и ответный визит в дом генерала, где их встречала его жена Марта, приехавшая из поместья Маунт-Вернон. Глядя на эту низкорослую довольно полную женщину, наблюдая за простыми манерами Вашингтона, который вместе с тем не терпел панибратства, лейтенант Ланжерон думал о том, как себя чувствует этот, уже убежденный сединами человек, более двадцати лет проживший в мире и согласии со своей женой, но всю жизнь любивший ту самую, единственную, может быть, и предназначенную ему, но по воле небес разлученную с ним Салли... Как это могло быть? И почему так судилось этому человеку? Каковы были причины, что помешали этой любви стать разделенной? Разумеется, девятнадцатилетний граф Александр проецировал эту судьбу на себя и ужасался мысли, что с ним может случиться что-либо подобное.

Ремонт фрегата близился к концу, и последние французы оставили гостеприимный Ньюбери и радушного генерала. В Филадельфии реконструкции на второй этаж отеля Мэй оказались тщетными: доступные голландки и шведки исчезли, да и барон Водрель распорядился, чтобы господа офицеры заняли каюты на фрегате. "Aigle" ранним утром вышел в залив Делавэр, сопровождаемый добровольным лоцманом майором Джонсоном. Но лодка с индейцами и ополченцами приняла его на свой борт вместе бочонком спиртного, который был незамедлительно, еще на воде пущен в дело.

При выходе из залива, уже в океане, их поджидали еще два фрегата, "Великий Конде" и "Бретань", пришедшие из Бостона. Об этом было договорено заранее. И вице-адмирал Водрель поднял на мачте свой брейд-вымпел, объявив этим свое командование над соединением кораблей. Курс держали строго на Зюйд, перед Кубой взяли Вест, и уже поворачивали к острову Гаити, как купол неба среди ясного безоблачного дня будто налился свинцом, а на горизонте возникла темная полоса. Старшины засвистели в свои дудки штормовое предупреждение, хотя по-прежнему все было спокойно. Сухопутные офицеры на корме перед кают-компанией с удивлением наблюдали корабельную суету, взирали на матросов, спешно убирающих паруса, а барон Водрель отдал команду своему адъютанту: всех пехотинцев упрятать во внутренние помещения и трюмы, а офицерам посоветовал разойтись по каютам. Но было поздно: неизвестно откуда и без видимой причины на судно обрушился ураганный ветер, многих сбил с ног, и они ползком стремились укрыться в кают-компанию. В ее иллюминаторы офицеры увидели вал воды, как им показалось, высотой в горный хребет, было произнесено слово "цунами", и вал накрыл судно вместе со всеми его надстройками и мачтами. Корабельный капеллан молился, но палуба ушла из-под его ног, и он опрокинулся, полетел спиной вниз к дверям, по пути сбивая вцепившихся в обеденный стол офицеров. Шторм не утихал и через день, и через два. Было много раненых. Лекарь не успевал ставить примочки. У всех были бледные лица, мучила головная боль.

— Наш фрегат надо было назвать "Приглашение к похмелью", — сетовал лейтенант Александр.

Шторм стих так же внезапно, как и начался. Приходили в себя, определяли местонахождение, осматривались. Двух других фрегатов видно не было. Началось новое испытание — зноем. Моряки ходили по палубам полуголые. Офицеры в каютах отлеживались нагишом. Когда швартовались в Порт-о-Пренс, подлинным испытанием было облачиться в мундир. "Великий Конде" и "Бретань" уже стояли у причалов — они пришли раньше. В Порт-о-Пренсе была база французского флота, и в ожидании начальственных распоряжений офицеры в сопровождении старшего морского офицера Мишо, который бывал здесь, сошли на берег. В одноэтажном городке смотреть было не на что. В харчевне попробовали ананасового вина и решили его закупить — хорошо утоляло жажду. Лейтенанта Ланжерона удивило обилие негров, некоторые из которых были без ушей. Капитан Мишо объяснил:

— Это свидетельство того, что негр пытался бежать от хозяина. За это им здесь отрезают уши.

— Странно, — сказал граф Александр. — Разве они используют уши, когда бегут?

Местечко было в прошлом пиратское. Оказывается, и у французской просвещенной нации были свои пираты! Двести лет назад они истребили тут английских конкистадоров, проливали реки крови, но свою столицу назвали Порт-де-Пе — Порт Мира. Англичане еще тогда укрылись неподалеку, на Ямайке, где и теперь базировался английский военный флот. Лейтенант Шарль в качестве курьеза купил огромную черепаху, которых тут во множестве продавали в лавках. Один из ближних островов из-за обилия черепах назывался Тартю — остров Черепаха. Тут же продавалось и свежее черепашее мясо.

— Ты ее съешь? — спросил Александр у Шарля, имея в виду его покупку.

— Увезу в Париж. Они долго живут, — ответил Шарль.

— Тогда назови ее Мазарини. У нее непроницаемый взгляд.

Сам он купил изображения негритянских божков и символическую женскую фигурку из ярко-рубинового горного минерала. Торговец сказал, что это Жозефина, приносящая счастье, потому что была принесена в жертву богам вместе с петухами и голубями.

Когда вернулись на фрегат, вице-адмирал Водрель объявил им в кают-компанию, что завтра утром "Орел" снимается на Венесуэлу.

— Англичане захватывают и разоряют испанские порты, — сказал барон Виомениль. — Как вы знаете, у нас с Испанией военный союз. Нашей эскадре приказано идти к порту Пуэрто-Кабельо и задать жару англичанам.

Утром все три фрегата ушли из Порт-о-Пренс, взяв курс к берегам Южной Америки. Венесуэла — маленькая Венеция — была названа так, потому что ее первооткрыватели увидели тут дома на сваях, но в Пуэрто-Кабельо никаких подобных домов не было и в помине. Тут были причалы и укрепленный форт. У причалов стоял восьмидесятипушечный линейный корабль англичан и два фрегата. Французские суда еще не приблизились на расстояние выстрела, как за кормой "Великого Конде" стали ложиться ядра. Это открыли стрельбу длинноствольные пушки форта. Вице-адмирал Водрель приказал сделать разворот и выйти из зоны обстрела. Даже начать артиллерийскую дуэль не было никакой возможности из-за этих пушек. Положение было безвыходным. Вице-адмирал через сигнальщиков указал курс остальным кораблям: строго на Норд. Это означало ретироваться с позором, возвратиться на Гаити. Это, видно, поняли и на англ-

лийских судах: там над мачтами расцвел в вечернем небе издевательский фейерверк. Но как только берега скрылись на горизонте, вице-адмирал распорядился идти назад, но не на Пуэрто-Кабельо, а незаметно проскользнуть к Каракасу — порту в полусотне миль от Пуэрто-Кабельо. Каракас был настолько хорошо укреплен, что к нему английские суда не подходили. Здесь вице-адмирал затребовал для своей эскадры три гребные баржи, которые были тут же заполнены бочками с порохом и нефтью. На фрегаты взяли лоцманов, знающих прибрежные мели, и под звездным сияющим небом, в темноте, следом за баржами начали движение в сторону Пуэрто-Кабельо.

Когда стали видны огни форта, фрегаты остановились, а баржи пошли вперед самым тихим ходом, стараясь производить как можно меньше шума. Фрегаты тем временем спустили на воду лодки, и сухопутные офицеры заполнили их со своими солдатами. Лейтенант Ланжерон был во второй лодке с двадцатью солдатами на борту. Рулевой взял курс следом за баржами, гребцы-матросы действовали так, что и уключины весел не скрипели. Тишина южной ночи не нарушалась ничем. Очевидно, и англичане уверились, что фрегаты еще вчера вечером ушли на Гаити, потому что баржи с порохом и нефтью подошли к бортам их линейного корабля и к фрегатам беспрепятственно, зажгли фитили, и команды гребцов попрыгали в приготовленные лодки, уже не заботясь о производимом шуме, чтобы успеть уйти от взрыва.

Но это был не взрыв, а разверзшийся ад, полыхнувший пламенем до небес. Лейтенант Ланжерон всего лишь жестом смог отдать команду грести изо всех сил к причалам, потому что спустя какие-то минуты пушки форта начали обстрел отлично освещенной сцены залива, которая представляла собой три пылающих английских судна, с которых в воду прыгали уцелевшие моряки. В них стреляли из ружей, а оказавшихся близко закалывали шпагами. Коронады и пушки французских фрегатов расстреливали форт прямой наводкой, но прекратили залпы, когда отряд лейтенанта Ланжерона — это было отлично видно с фрегатов — подошел к причалу и перебрался на его дымящийся деревянный настил, и лейтенант с пистолетом и шпагой в руках повел его к стенам форта. Достигнув их, он направил отряд в обход и, всего лишь замешкавшись в крепких зарослях возле рва, оказался в тылу форта, ворота которого преодолели с помощью веревочных лестниц. Во внутреннем дворе форта в полутьме вспыхнула схватка холодным оружием, но лейтенанту пришлось стрелять, когда на него напали два английских солдата. В это время подошла и помощь — по

приставным лестницам на стенах форта появились солдаты Шарля, и он сам со шпагой в руке пробирался к бойницам. Все было кончено в считанные минуты. Неожданность, ночь, пылающие факелами английские суда, паника — англичане стали прыгать со стен, и, кто уцелел, бежали через пригород в сторону городка Сан-Фелипе. Французские фрегаты вошли в залив, и вице-адмирал Водрель с бароном Виоменилем, оказавшись на берегу, поздравили офицеров с крещением боем. Выставили посты охраны. В кают-компаниях кто-то уже вспоминал моменты схватки, кто-то говорил о стратегии Фемистокла у острова Саламин в четырехстах восьмидесятом году до новой эры, где тоже все решила внезапность и быстрота, но граф Александр Ланжерон в разорванном и запачканном кровью мундире просто упал на свою кровать и тут же заснул. Со вчерашнего утра он не спал тридцать восемь часов.

Когда они вернулись на Гаити, все французские и испанские суда отдали должное их победе, приспустив свои флаги на мачтах. После крещения боем небольшая эскадра вице-адмирала Водреля курсировала вдоль американских берегов. Были небольшие стычки с английскими судами, долгие артиллерийские дуэли, высадки в маленьких портах, где суда ремонтировали, а команда и сухопутные войска приходили в себя, завязывались береговые знакомства и даже романы, имевшие свою лирическую фабулу, характерную своей пылкостью и быстротечностью. Дальнейшие экспедиции в порты маленькой Венеции были отменены: до Гаити дошла весть о том, что 20 января 1783 года был заключен предварительный мир между Францией и Англией. Военные действия прекратились. Известие это пришло на фоне слухов о сыне генерала Рошамбо. Он усмирять бунт негров на "Эспаньоле" и был так жесток, что подчиненные ему офицеры возмутились и потребовали его удаления. Негров он не только казнил лично, отрезая им пальцы, руки и языки, но и заставлял пленного негра выкалывать глаза своему негру-отцу. Офицеры подали петицию в Военное министерство, сыну Рошамбо предстояло предстать перед трибуналом, но он сдался англичанам без боя. "Дневник для Дианы" лейтенанта Ланжерона был закончен, и он отправил его с одним из кораблей по адресу Дианы Вапалье в Париж. А спустя две недели был получен приказ и эскадре Водреля возвращаться во Францию.



Два рассказа

Красная Шляпочка

Медноволосая и зеленоглазая девочка Аля с детства мечтала поступить в театральный институт. Но у нее были кривые зубы. И родители, которые раньше не имели времени заниматься исправлением Аличкиных зубов, сумели сейчас убедить девушку, что лучше стать простым, хорошо оплачиваемым программистом. Поэтому Аля оказалась на мехмате университета, где радость общения, бесшабашное студенчество и свобода передвижения, ранее не знакомая домашней девочке, затмили мечты об актерстве. Училась Аля ровно, ездила на практики в инофирмы, мужчины вниманием ее стройную фигурку не обходили, и мама уже присматривала, кому же из кавалеров вручить свое дитя. И все бы сложилось у Али в жизни хорошо, но однажды она встретила на пороге своего дома соседку, которая имела двух дочек, ровесниц Али, пресных и скучных, малорослых и некрасивых.

— Ой, Алечка, — воскликнула соседка, заглядывая снизу вверх в Алино личико, — ой, да ты почти такая же красивая, как мои дочки, только вот зубы тебя портят, торчат в разные стороны, а так ты такая симпатичная выросла, на удивление.

Аля ничего не нашлась ответить, только постаралась побыстрее уйти в тень, чтобы не была заметна волна густой краски, которая покрыла все ее белоснежное лицо. Еще долго оставался этот удушливый жар, горели и шея, и плечи, и даже спина. Впечатлительная Аля долго не могла прийти в себя после столь лестного отзыва о своих прелестях. Что-то не складывалось в ее судьбе, и виной тому были два нелепых зуба.

"Современные люди имеют гораздо более вялую челюсть по сравнению со своими предками, которым буквально приходилось рвать добычу зубами. Со своим галопирующим развитием человечество ест с каждым веком все более мягкую пищу, добротню отваренную и хорошо перемолотую. Потребность пережевывать пищу отпала, и, следовательно, челюсти с каждым поколением не развиваются, а деградируют. Зубы же по-прежнему вырастают такими, какими, например они были у питекантропа", — доходчиво объяснил Але ее проблему участковый ортодонт.

Аля послушно кивала ему с открытым ртом, куда были направлены взор и реплики эскулапа.

"Лечение должно проходить в детском возрасте. Вы, барышня, переросли слегка", — меланхолично пожал напоследок плечами эскулап, но направление на кафедру, где рассматриваются особо интересные случаи, все-таки выписал.

На кафедре Алю придирчиво осмотрел профессор и мимоходом толпа студентов.

— Милочка, вы твердо решили исправлять свои зубы? — строго спросил светило зубоврачебной науки.

— Да, — отважно кивнула в ответ Аля.

— А боли боитесь?

— Конечно, — не соврала пациентка.

— Ну, не знаю, не знаю... Пойдите для начала вырвите оба четвертых зуба, потом поглядим. Необходимо освободить место для этих не уместившихся у вас резцов.

Молодой хирург долго не соглашался рвать здоровые зубы. Он с сожалением смотрел на Алю и терпеливо объяснял.

— Вы такая юная, обаятельная и привлекательная, зачем вам лишаться двух абсолютно здоровых зубов?

— Как вы не понимаете, доктор? — всхлипывала Алечка, — Мне еще жить и жить, а зубы портят улыбку.

— Вот именно, подхватывал на лету доктор, — жить и жить. Другие за здоровые зубы платить готовы, а вы решили ими разбрасываться. Не подымается у меня рука. А улыбка у вас и так красивая. Кстати, что вы делаете сегодня вечером?

— Вы мне зубы не заговаривайте, доктор! — собрала остатки воли Аля. — Рвите, и ни каких гвоздей.

От досады хирург кисло скривился и вкатил Але лишнюю порцию обезболивающего. В один прием рвать два зуба он отказался, и Аля вынуждена была прийти еще раз. За это время доктор изучил ее худенькую историю болезни, из которой почерпнул Алин домашний номер телефона и сведения о том, что в детстве она болела ветрянкой. Историей болезни начинающий врач остался чрезвычайно доволен. Именно такую девушку, длинноногую и целеустремленную, здоровую и красивую, он ждал в своем кабинете с самого начала своей медицинской практики, и вот, кажется, она пришла. Хирург без колебаний влюбился сразу и по уши.

Профессор искренне обрадовался настойчивости новой пациентки и решил именно на ней испытать изобретенную им недавно новую технологию. Каждое посещение кафедры для Али заканчивалось осмотром тридцати

тью пятью будущими протезистами и дантистами, которые старательно вписывали в свои курсовые работы миллиметры изменения положения ее зубов. На все зубы бедной девочке надели специальные скобы. Улыбаться Алечка вовсе перестала, а разговаривать стала гораздо меньше. Каждое слово, перед тем как открыть рот, она тщательно взвешивала. Начала следить за своей мимикой, никогда ничего не ела в присутствии других. Для всего курса осталось неизвестным, что Але надели железные коронки.

Поклонников от этого у нее не стало меньше, а как раз наоборот. Ореол загадочности и неприступности шлейфом катился за бывшей болтушкой, теперь только изредка приподнимавшей края губ для приветствия.

Подруги отреагировали немедленно — обозвали Алю мымрой и художочной воображалой. А студенты-однокурсники напрашивались в гости: помочь справиться с написанием очередного реферата. Але не обращала внимания на все это. Ее постоянно преследовала боль. Растяжение и приведение непослушных зубов в правильное положение оказалось делом ужасно долгим, моторошным и трудным. Кушать разрешалось только каши и перетертые овощи. Жевать вообще невозможно. Три раза в день подкручивать винты в коронках, при каждом повороте которых боль усиливалась. И только Але привыкала к этой боли, проходили положенные шесть часов, и необходимо было подкручивать снова.

Але худела, но не сдавалась. Снять коронки можно было самостоятельно в любой момент, но ни разу малодушная мысль не посетила Алину головку. Чтобы отвлечься от боли, Але запоем читала Станиславского и Мейерхольда, разучивала стихотворения и басни, длинные монологи и романтические отрывки. Посещала бассейн, цирковую студию и ипподром. Ее недельное расписание не знало пробелов.

В один из пасмурных и невеселых дней февраля, когда боль окончательно измотала Алю, она стремительно бежала по городу на очередную тренировку и наткнулась на витрину универмага. Там, в витрине, стоял совершенно неуклюжий манекен, одетый женщиной неопределенного возраста. Все в одежде было плохо, и только огромная красная шляпа была необыкновенно хороша. Але не сомневалась ни секунды, она вложила в свою просьбу столько красноречия, что завсекцией не смогла устоять, и сняла с манекена шляпу. Але выложила за нее всю свою повышенную стипендию. Из универмага на тренировку Алю провожал замдиректора, который случайно оказался в зале и наблюдал сцену примерки.

На курсе покупку не смогли не заметить. "Красная Шляпочка" прилипло к Але мгновенно и навсегда. Шляпа дала ей второе дыхание, она

своей энергией подталкивала к новым подвигам и свершениям, и легче стало переносить боль.

В середине весны, после полутора лет мучений, коронки сняли. И Красная Шляпочка улыбнулась всему миру ослепительной, безукоризненной улыбкой. Воздыхатели изумились этой неожиданной радостной перемене и дружно улыбнулись ей в ответ.

Легкомысленно и непринужденно Але, никому не отдавая предпочтения, встречалась по очереди с хирургом, замдиректором и однокурсником. Правда, сообщать им о существовании соперников как-то не приходило ей в голову. Мимолетные свидания для нее ничего не означали, и к своим любовным победам она относилась легко и просто, не задумываясь о последствиях.

Ухажеры же по злой иронии в один солнечный майский день вдруг взяли и решили попросить ее руки и сердца, причем втроем, с огромными букетами в один и тот же час собрались возле Алиной квартиры. Бурная сцена объяснений друг с другом неожиданно привела к обвинительному акту в адрес ветреной вертихвостки, жеманной кокетки и лживой обманщицы. Мужским коллективом решено было проучить Красную Шляпочку на всю оставшуюся жизнь, чтобы неповадно было. Каждый в отдельности из собравшихся был неплохим человеком, но когда в присутствии других ущемлено пресловутое мужское самолюбие...

Боже мой, каких только казуистических предложений не поступило на рассмотрение от раздухорившихся петухов. После долгого спора план действий вырисовался в деталях. И может быть, они бы одумались, переложив эту дурость на завтра, но зловредный огонек мщения зажегся у каждого в глазах, и поэтому студент позвонил в дверь, а остальные подкарауливали на площадке.

Беззаботная Красная Шляпочка с радостью приняла приглашение пройти в парк погулять. Первые теплые денечки, свечки каштанов, трепещущие на ветру листочки. Они взялись за руки и пошли вперед. Двое несостоявшихся женихов поплелись следом. В старом тенистом парке, в дальней аллее трое обозленных кавалеров задрали Красной Шляпочке платье и отстегали ее крапивой. В порыве своей глупой мести они слегка увлеклись, сбивая тоненькую фигурку девушки на землю. Але ударилась зубами о камень, и слабые, не устоявшиеся на своих местах резцы были выбиты. В разные стороны убежали нападавшие, когда девушка повернула к ним свое лицо. Волком выл хирург, он знал больше, и от этого ему было хуже остальных.

Первые несколько минут Красная Шляпочка не могла прийти в себя, ее колотила нервная дрожь. Она сидела на земле и не могла понять, как такое могло случиться. В состоянии полной прострации через несколько часов после порки ее нашла дворничиха парка.

Скорая отвезла Алю в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ей зашили губу и выдернули опеньки передних зубов. Аля терпеливо сносила процедуры и не разговаривала. Врачи не могли добиться от нее ни слова. Родители почувствовали неладное и по очереди дежурили у ее постели, опасаясь, чтобы с ней не случилось чего-нибудь похуже. Аля лежала, отвернувшись от всего мира, и беспрерывно глядела в одну и ту же точку на стене.

За большую взятку через неделю родителям удалось забрать Алю домой, в таких случаях пациентов положено переводить в психбольницу. Смена обстановки не изменила ее поведения. Ни уговоры отца, ни причитания матери не действовали. Красная шляпа сиротливо пылилась на стене в прихожей. Трое отличившихся воздыхателей, струсив, разъехались из города кто куда.

В конце мая светило медицинских наук неожиданно решил продемонстрировать на конференции результат своей работы. Профессор позвонил Але домой, чтобы договориться о дне показа, и был неприятно поражен грустной новостью. Семидесятидвухлетний доктор мгновенно понял, что происходит, он не поленился тут же приехать и осмотреть свою больную. Сухопарый подтянутый профессор не стал долго разглагольствовать на темы "Что делать? Как поступить?". Он вызвал дежурную машину, и уже через полчаса Але на кафедре готовили слепки для имплантации зубов по суперсовременной американской методе. Профессор не уговаривал, он отрывисто отдавал распоряжения и спрашивал у пациентки: "Не давит? Не жмет?". И волей-неволей Але пришлось отвечать. Вживание длилось около месяца.

В этом же году Красная Шляпочка с легкостью поступила в театральный институт. Приемная комиссия была в восторге от единственной настоящей трагической героини из всей оравы абитуриентов. От ее лаконичных жестов, от ее непринужденности поведения на сцене, от широко распахнутых зеленых глаз, от ее лучезарной улыбки в самых неожиданных местах, которая естественно подчеркивала пронзительную глубину монологов.

Аля учится ровно, ее часто приглашают сниматься в рекламе, и даже были уже пробы в кино. С выбором своих знакомых она стала чрезвычайно осторожна. Недавно она встретила соседку по дому.

"Ой, Алечка, — воскликнула та, — ты почти такая же удачливая, как мои девочки. Они, знаешь, в Америку письма написали, и теперь ехать к женихам собираются. Хочешь, я и тебе адрес агентства подскажу? А то ты все одна да одна..."

Аля вежливо отказалась.

Перевоплощение

Спать всегда просыпаться трудно, а тут еще музыка какая-то над ухом противно так жужжит. Поднял голову, оглянулся, вокруг все незнакомое. До одурения незнакомое. Простыни, страшно сказать, шелковые. На лампе абажур ядовито-зеленый, обои в мелкую крапинку и кровать под балдахином на полкомнаты. И я, значит, собственной персоной, абсолютно голый в середине этой кровати торчу. Чертей, гадов ползучих нигде, правда, не наблюдается, но все равно очень твердо решил, что это белая горячка.

Немного так, для приличия полежал, авось все растает и превратится в родной вытрезвитель. Не растает, елки-палки. Попытался зрение на чем-то одном сосредоточить. Не фокусируется, зараза. Только музыка надоедливо ужасно попискивает. Не поймешь, какая музыка, но не попса точно.

Попробовал незаметненько, боком с кровати сползти, ну чтоб очнуться, значит, а тут баба в комнату входит. Японский бог, скажу я вам, какая баба. Мне в глазах темно в момент стало, я такой даже в журналах не видал. Кожа белая, аж перламутровая, ноги из-под зубов растут, глаза с поволокой. И одетая по случаю, в чулки с поясом, и в лифчик, и все... Ну, чтоб с места мне не сойти, коли вру. Я, конечно, чтоб не оконфузиться, назад под одеяло нырнул, выглядываю осторожненько, до чего эта горячка меня доведет. А баба плавно так по комнате вышагивает и ко мне под одеяло — шашь. И лежит рядом, дышит. Одеяло от ее дыхания легонько колышется. Меня сразу пот пробил, елки-палки.

Как с ребятами вчера начинал — помню, как обычно после получки, в баре на углу по ершику. Как продолжал — помню, как обычно, в подъезде — портвейн. Как уже домой собрался и, как обычно, на посошок одеколон употребил. Даже это помню, но чтоб баба эта хоть где-то в углу сознания была? Не было у меня отродясь таких знакомых.

Поворачиваю голову к ней, а она на меня смотрит в упор. Глаза, что твои тарелки в пол-лица.

— Может нужно вам чего-нибудь? — тихонько спрашивает.

Очень приятная, думаю, горячка, за другими упыри с водяными гоняются, а мне баба мерещится. Очень даже ничего, эта самая горячка, пусть подольше продлится.

- Отчего ж не нужно, валяй, опохмелиться у тебя найдется?
- Вы, что предпочитаете, водку, виски, джин?
- Вот джином, значит, ни разу в жизни не опохмелялся.
- "Gordon's", "Beefeater"?
- Первое...

Ушла, только запах духов оставила. Все, сейчас очнусь. Вот чувствую, вот немного еще, самую малость осталось... Вернулась. Бедрями слегка качнула, меня аж подбросило, ну как у Айвазовского, девятый вал и все тут, елки-палки. Какую ерунду мне вчера в стакан домешала, что со мной сегодня такое происходит? И где я на самом деле сейчас, еще дома или уже на дурке?

А она столик на колесиках прямо мне под самый нос подкатывает, в стакан лед кладет, лимончик, и джин наливает, а сама опять ко мне под одеяло — шашь.

Не долго думая, я стакан джину, сдуру, весь и опрокинул. Скажу по правде, водка для опохмелки гооораздо лучше. Льдом закусываю, от него, сатаны, скулы сводит, но ничего, держусь, только зубами похрустываю. А баба, значит, посигар золоченый мне протягивает, а в другой руке у нее зажигалка щелкает. Я вот на все уже согласный, и на чертей, и на белочек, но чтоб так за мной ухаживали? Невыносимо совершенно это для непривыкшего человека.

- Чего, — говорю, — тебе от меня надо?
- Ничего, люби меня и все, — шепотом отвечает.

Полюбил я ее, очень крепко полюбил, никогда со мной такого не случилось, чтоб вот сразу взял и полюбил. И до того у нее в постели мне понравилось, не хочется уходить и все тут. А хозяйка после любви отряхнулась вся как-то и вещи мне подает. Гляжу я, а вещи не мои. Дорогие это вещи. Ну, не знаю доподлинно, там Карден или чтоб Версачей какой, а просто видно сразу, что не на базаре куплены.

— Извините, — говорю, — хозяйшюка, ошибочка тут вышла. Не мои это шмотки, мне этих не полагается.

— Бери, — протягивает она шмотки, — бери, носи, не бойся, новые. Везла мужу из Милана. А он дату приезда мою перепутал, веселье сильное тут у них вчера организовалось. У нас здесь и собирались. Халат мой он своей секретарше презентовал. Она в нем мне на звонок и открыла. Отчего ж я теперь не могу кому хочу его вещи подарить?

— Я не твой секретарь. Мне тряпки твои не нужны.
— Ты не секретарь. Правда. Ты вчера был самым последним из всех мужиков, которые на улице валялись. А я поклялась себе, что если и пересплю с кем, так с самым грязным. Бери, я твои лохмотья выкинула. Тебя вымыла, а то запах был...

— Ты что же использовала меня так? Как шлюх пьяных на улице подбирают и трахают в полусознании? Мужу мстила, значит? Ты... — у меня от злости и возмущения в зобу дыханье сперло. Меня ветром с кровати сдуло, прыгаю на одном месте, как дурак, не могу ногой в штанину попасть.

— А что, тебе плохо со мной было?

— Нет.

— Так почему же я тебя использовала? Ты ж в сознании это все делал? На видеокамеру нас не снимали, фотографий папарацци тоже тут не щелкали, слава Богу, не с кого... — ручкой так на меня указывает, мол, не принцесса Диана, не принц монахский.

— Ты, давай, иностранными словечками не очень-то бросайся. На хрена это все нужно было? Нашла бы кого посolidнее. Неужто никто не позарился? Ты на себя погляди, погляди, да ты любого закадрить бы смогла.

— Смогла бы. Знаешь, сколько разных ко мне кадрилось? А я все верность берегла. Понятие в современном мире устаревшее и ненужное. В командировке все про мужа вспоминала, а он так глупо и пошло, как в анекдоте, с секретаршей... — и вдруг как заплачет. Слезы из нее не просто ручьями, а форменная истерика.

Я в первый момент даже растерялся, елки-палки. Жалко бабу и за себя обидно, это ж она меня только что последней скотиной по-интеллигентски так обозвала. Стою истуканом, не знаю, что и делать. Тут мне лед на глаза попался. Я ей ведерко льда на голову и одел. А как стали льдинки по ней обнаженной катиться, ну, не смог я с собой сладить. Ну что тут поделаешь? Отделал ее по первое число, в разных позициях, значит. Лежим оба после этого умиротворенные, в потолок глядим.

— Уходи, — наконец-то говорит, — уходи. Ты самое непонятное, что со мной в этой жизни случилось.

— Ты что же, первый раз мужу изменила? Не верю.

— А ты не Станиславский, тебе верить мне необязательно.

— Тоже мне нашлась, артистка великая, мстительница-ревнивица, Нонна Мордюкова, Софи Лорен, Мурлин Монро... елки-палки, — грубю ей, а сам думаю: и вправду я сволочь немытая, получается. То, что это самое лучшее, что со мной в этой жизни стряслось, бабе сказать не могу. Вот не поворачивается мой дрянной язык, и все тут.

— Уходи, — совсем глухо, и отвернулась.

Потоптался я на месте, что тот медведь. Делать нечего, пришлось уйти в мужнином шмотье. Классный такой прикид, доложу я вам, получился. Иду я по дороге, а ноги меня к себе домой не ведут. Оглядываюсь в витрины. Совсем другой человек из меня получился. И куда мне теперь во сем этом показаться?

Мне тридцать три года, и только что самая красивая и лучшая женщина на свете назвала меня самым последним дерьмом, палки-елки. Мне жизнь перевернуть всю захотелось. Что же это делается, как до такого себя допустил? А тут на глаза объявление на столбе кинулось: "Курсы ораторского искусства. Запись по вторникам и пятницам. Совсем недорого".

Сегодня как раз вторник, значит судьба, к тому же недорого. Пошел я на эти курсы. Три месяца отходил, теперь по-другому разговариваю. Пить я, конечно, бросил. Не до того стало: спряжения, падежи, местоимения и прочее, сами понимаете. Руки трястись только к концу второй недели перестали. Осанка появилась, уважение к себе, что ли. На работе я так шефу и сказал:

— Любезный Сидор Петрович, если вы не сообразовите мне поднять заработную плату, то чаша моего терпения переполнится, и я возьму расчет.

Представляете, он поднял. Только что мне с этого? Ту женщину не вернешь. Забыл я адрес, где все происходило. Но ничего, сегодня иду, на столбе опять объявление висит: "Курсы аутотренинга и сновидения. Помощь в нахождении самого себя и утраченных ценностей. Запись по средам и субботам. Оплата индивидуальная — по способностям". Извините, с рассказом заканчиваю, сегодня суббота, поэтому спешу записаться. Зарплата у меня уже приличная, думаю, дорос до индивидуальных занятий.



ПОЭЗИЯ

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ
Вдогонку книге стихов 202

Аркадий ГУРОВИЧ
Королевство любви 208

Полина ТАРАНЕНКО
Герой Нашего Времени 212

Александр МАРДАНЬ
Лишние билеты 214

Эвелина ШАЦ
Это было в Одессе 216

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК
Бабочки на счастье 218

Вдогонку книге стихов

Современных голландцев часто попрекают предками: мол, те были богатырями, вон как кистью работали — что большие голландцы, что малые. Попрекают напрасно. Кто бывал в Амстердаме, тот непременно обратил внимание на незашторенные окна жилых домов. Глаз от этих окон не оторвешь: что ни интерьер, то произведение искусства. Искусство гениев-одиночек в современном Амстердаме стало подлинно народным. А родилось подлинно народное искусство благодаря врагам-оккупантам: подозрительный принц Альба (XVI век) запрещал голландцам прятаться за шторами, занавесями, жалюзи.

Лирика — это Амстердам. Эдгар Дега заметил, что художник начинает работу над произведением искусства примерно с таким же чувством, с каким преступник совершает злодеяние. Действительно, книга лирики — это взлом. Поэт распахивает окна, взламывает двери не только своей жизни, но и жизни близких. "Окно открыть, что жилы отворить", — писал Пастернак. Но отворить свои жилы — это одно, а вот чужие...

Однажды полузнакомая официантка в пражском ресторане рассказала мне, за что она бросила мужа в России. Он ей изменял, но не просто изменял, а всякий раз приходил и каялся. Можно подсчитать, сколько у него было кайфов. Во-первых, собственно физиологический, во-вторых, предчувствие раскаяния, в-третьих, сама процедура раскаяния. Лично мне этот тип глубоко неприятен. Но чем-то лирика на него смахивает. Сначала — интимность сочинительства, почти одновременно — предвосхищение публичного жеста, и, наконец, сам жест. Так что поэту не стоит обольщаться в отношении поэзии. Но поскольку она — призвание, то ему ничего не остается, кроме как сжиться с этой маленькой преступницей.

Баллада о ротном

Около семи (вечера)
он начал стричь ногти.
Прежде еще была надежда,
что она придет, и он не стриг.
Щипчики у него классные —
фирмы "Manicare" (подарок друга из Лондона).
Отщипывают с первого укуса.
— Тіки так, — как говаривал его ротный
лет тридцать назад. С гаком.
Точно: "тіки так". Классно отщипывают.
Но кожа у нее... как бы это сказать... отзывчивая.
Лучше не рисковать.
Он всегда держал это в уме.

Держал, держал, а потом уронил.
Задумался? Засмотрелся на кого? Уснул?

И тогда ударило.

— Вдарило, — как сказал бы все тот же ротный.

Пока понятно, о чем речь?

А як же! —

Раз уж переводчик, толкователь

Марсея и ему подобных о ротном вспомнил.

Остроумный был малый, этот ротный.

Однажды один салабон

получил телеграмму о смерти невесты,

так ротный его пожалел:

— Не бери дурного в голову.

Может, и резковато, но по существу — верно.

Разве не так?

Он включил телевизор.

Выключил.

Позвонил мне

и долго не отпускал.

Прости, Максим

Я считаю, что это — хамство.

Она, конечно, нас использовала.

Люди были все свои, отвязанные:

сами кого хочешь эпатируют.

Между белым и красным

она вышла в уборную и, вернувшись в комнату,

обнажила правую грудь.

Что называется, на пустом месте.

(Простите за каламбур.)

Какое нам дело, что у нее там с Максимом (мужем).

При чем здесь мы?

Когда она это сделала,

я тотчас вспомнил, что она левша.

Потому что если бы она была правша,

то обнажила бы левую.

Значит, статистика не ошибается:

среди левшей больше неврастеников.
Но, отвлекаясь от публичного аспекта скандала,
должен признать: сосок ее груди (правой)
выдерживал сравнение с ягодой малины,
которую я первый раз в жизни нашел и сорвал
в буковинском перелеске под Цецино полвека назад
и после снова нашел (прости, Максим)
полвека спустя.

О свойствах страсти

Любовь — это чередование
маленьких нежных подробностей.

Так. Я хочу разобраться. Вслух:
чтоб мне возражали.
Что же получается?
Они (мужчины) похищают девушек
и чаще всего насилюют их,
таким образом уговаривая
выйти замуж.
Пока верно?
В итоге, десятки тысяч жен живут с мужчинами,
которые их изнасиловали.
Живут себе, живут, детей рожают.
Девочек растят. А те сотни тысяч,
которых не изнасиловали,
конечно, знают, что им повезло.
Плодотворная, надо признать, атмосфера.
То-то женщины у них такие смелые:
слова не выжмешь.
А если не насилюют?
Мужчины у них тоже отважные, рискованные:
за девушками не ухаживают.
Снаряжают гонцов, засылают сватов, торгуются издалека.
Первая брачная сцена романтическая-романтическая.
Невеста знакомится с мужем в спальне.
Стоит себе незнакомый мужик,
расшнуровывает лаковые туфли,

стягивает носки, хлопает резинкой трусов.
А через час (два часа максимум — для особо чувствительных)
надо вынести гостям окровавленный платок.
Только не говорите мне об особенностях племенной культуры.
Документированных свидетельств
нервных срывов, помешательств, самоубийств и пр. — за глаза.
Почему меня это волнует?
Точно не знаю. Но допускаю.
Разговорился я с одной жертвой.
Вроде нашли общий язык, но стоило найти,
как она не своим голосом запела хвалебную песнь племени.
Так что, не жалеть их?
Действительно не жалеть?
Допустим. Но все равно противно жить в мире,
где десятки тысяч (Господи, миллионы) жен
делят ложе (дурацкое выражение) с мужьями,
с которым познакомились
при попытке (чаще всего успешной) изнасилования.

* * *

В общем,
мне нравилась ее речь,
точнее, ее просторечие
с пряными корнями
(хрена, пастернака, сельдерея).
Но одна фраза корбила:
"Что ты все перебарщиваешь!".
Было в этом "борще" что-то
обидное, оскорбительное,
к любви — моей любви —
никакого отношения не имеющее.
Где "похлебка из свекольной квашни
с чесноком и свиным салом",
а где — "любовь"?
Я, было, пытался объяснить:
мол, любовь — это и есть перебор,
как ты выражаешься —
"перебарщивание".

Но она не слышала.
Ко времени разрыва
ей словно уши заложило —
один сплошной рот.
В памяти осталась не именем, не запахом,
а членораздельным лаем, горловыми корчами.
Родилась такой или
я руку приложил?

* * *

Надо отдать ей должное:
за любовь она боролась отчаянно. Вроде и не проклинала, а так,
каркала: мятое лицо, старость в окружении диких греков
на берегу, но тусклом, морщинистом, чужом-чужом.
Еще сулила бедность — нет, на вино хватит, но горькое, вкуса
паленой резины.
Что еще? Сын забудет, сочинять бросишь, а если сочинишь,
то коту хвостатому...
Да, боролась отчаянно, жаль только, что со мной.

* * *

Не знаю,
было у вас такое:
ничего не делаешь. Нарочно.
Чтобы жизнь медленно-медленно уходила сквозь пальцы.
Откроешь. Пчел слушаешь.
Понюхаешь. Лизнешь. Дурью помаешься.
Не дай бог: копать, сочинять, читать.
Люблю пустоту. Пустоту жизни.
Какой дурак говорил о ней, кривя губы?!

О снах

Она закричала сразу —
так взмывают боевые вертолеты вертикального взлета,
что ей приснилось, как он прямо на улице
откинул прядь волос со скулы N.,
прижался губами к ее уху

и то ли шептал, то ли делал вид, что шепчет,
а на самом деле вылизывал раковину
этого самого уха.
Потом, нет, не потом, а сходу
она дала затрецину, оплеуху, пощечину, затрецину.
В носу зашекетало.
Вот, вот, — думал он восторженно, —
это и есть архаичное сознание:
никакой границы между сном, явью, поступком.
"Сон — это дверца, ведущая в самые потаенные...
космической ночи... во тьме первобытной..."
Ну, Карл. Ну, Густав. Ну, Юнг!
А по мордасам?!
Надо бы позвонить N.
Сегодня уже не получится, а завтра прямо с утра.
Что если N. тоже смотрела сны, и все совпало.
Между тем из носа хлынула кровь, тоже сразу.
Он открыл морозильник, выковырял кубик льда
и прижал его к переносице.

Прага



Королевство любви

Приглашение

Уйдем в Поэзию, —
Там княжество наркоза,
Органной музыки
И пенья райских птиц,
Где облака,
Цветы,
Деревья
И стрекозы,
И где лучистые улыбки
Милых лиц!
Возьмем туда,
Где сны и сбычивость желаний,
Где нет болезней,
Скуки,
Горестей
И слез,
Все те, кто с проседью,
Сундук воспоминаний,
И все, кто юные,
Шкатулку светлых грез.

Vade mecum*

Идти по дороге
С небом, потом и пылью,
Спать на привалах
С улыбкой
И видеть хорошие сны,
Уходить от удобств,
От ржавящего изобилия,
От горечи встреч,
От застигшей врасплох весны.

*Vade mecum (лат.) — идем со мной.

Уносить свое сердце
От самой пустячной тревоги,
Не страдать от раздумий,
Не знать ничьего лица, —
А просто идти
По дороге,
Идти без конца.

Джаз

Посвящается квартету Дэйва Брубeka

Четыре черных человека,
Четыре перстня,
Восемь глаз,
Рояля вскинутое веко,
Альт-сакс,
Ударные
И бас.
Сначала тихо,
Робко,
Скрытно,
Как будто выбирая лад,
Сердца, захваченные ритмом,
Часами
Четкими стучат.
И в этом бое учащем,
Сорвавшись в дрожь,
Хмельную трель
Рука безумца-саксофона
Кладет
На клавишей постель,
Где миг назад
Он в спешке страсти
Пел,
Задыхался
И терзал,
И каждый крик,

Как приступ счастья,
Выплескивал
В притихший зал.
Дитя любви
Шального века,
Стон,
Слезы,
Смех,
Молитва —
Джаз!
Всего четыре человека
И тысяча
Раскрытых глаз.

Дождь

Косым дождем
Нахлынувший прелюд
Сто небылиц
Плетет оконным стеклам,
И все по обе стороны промокло;
А я тебя по-прежнему люблю.
По клавишам
Моих соленых скул —
Уколы ль это молний,
Капель стук ли? —
Он продолжает петь
Той давней кукле,
Как некогда терзался и тонул.
Ослабить боль
Или приблизить даль
Не в силах,
Потому и упрекаю
Себя за влюбчивость:
О, будь другая, —
Кто вспомнил бы
Рыдающий рояль?
Сомнений горек мед,

Из пустоты
Я умоляю ливнем
И прелюдом:
Да сбудется несбыточное чудо,
Чтоб знала ты,
Чтоб просто знала ты.

Осенний сад

Заплелся сад
Осенней паутиной;
И ветерок,
Сентябрьский сибарит,
Лениво
Невидимкой-хворостиной
Оранжевые листья
Шевелит.
Когда твое лицо
Держу в ладонях,
То будто слышу,
Как атласом щек,
Твоим дыханием природа стонет,
Прося у осени:
"Побудь еще!"

Лос-Анджелес



Герой Нашего Времени

Вольные волны к ладоням валунным
Льнут, наблюдая свои отражения
В глянцевой тверди, лоснящейся в лунном
Трепетном свете, ловящем движения.

Скрывшись на дне небосводного брода,
Дочери сумерек шепчут в волнении:
"Ночь не одна! В ней чужая свобода —
Жгучая воля неслетлого Гения".

Кудри его как змеиные клубни,
Руки — как ветви небесного явора,
Ягоды глаз — черно-синие студни,
Губы — из теплого мягкого мрамора.

Юное сердце наполнено ядом —
Медом поэзии, опийным солодом.
Волны! Застыньте под гибельным взглядом!
Камни! Рассыпьте, пронзенные холодом!..

...Звезды текут с озаренной твердыни,
Тени горят, истощенные вальсами.
В снежную пыль безымянной пустыни
Утро впивается белыми пальцами...

Alise in chains

Невесомые маки в пустых облаках...
Синтетический вкус кокаиновых слез...
Я хочу в тебя верить, Алиса в цепях,
Я хочу потеряться в твоих зеркалах,
Заблудиться в лесах расплетенных волос...
В пыльных каплях с ресниц быются странные сны,
Как тревожные вихри в цементном мешке...
Изумленные краски умершей весны

Равнодушно светлы, холодны и нежны,
Ты хоронишь их тайны в зыбучем песке.

Ты играешь. Ты плачешь. Ты правишь парад.
Ты теряешься в стенах бесчисленных зал.
Шелест век... Взгляд назад — Солнце падает в Ад.
С блудных пальцев стекают колонии карт
И сгорают в ловушках бермудских зеркал.

Таверна

Посвящается Р. С.

Эти стены ломает фальшивящий джаз,
Эти двери открыты для творческой страсти:
Неглубокие взгляды затершихся глаз,
Неглубокие раны на сгибах запястий...

Мне противно и гадко, но я еще здесь
Среди призрачной сволочи — годы и ночи
Прожигаю свой пыл и давлую свою спесь,
И люблюсь на стыд, да на срам, да на корчи.

А со мной — Птица-Правда — огонь в зеркалах,
Нагота, начиненная кровью и перцем,
В черно-красной фате, в серебре и в цветах
Она пляшет и плачет, безумная сердцем.

О блудница в темнице своей чистоты!
Восемнадцатый ангел из Табора Смерти
Слышишь? Angst вызывает из недр Пустоты
Насажденных на вертел слепой круговерти!

Мне так страшно и больно, но мы еще здесь —
В синих бархатных снах, как в тугом палантине,
Поджигаем глазами горящую смесь
В полуполном и теплом бокале Martini.

Лишние билеты

Развалины открытых кинотеатров
В местах, где отдыхала Та страна,
У них печаль античных амфитеатров,
Где сквозь гранит века растет трава.

В них пахло табаком, а не полкорном,
Тут грызли семечки, не зная про "тик-так",
И восхищались ставшим непокорным
Рабом, известным всем под именем Спартак.

Сами себе казались мы пружиной,
Что сжали страхом, придавив тоской,
Никто не верил, что в сюжете длинном
Останемся лишь смятою травой.

Как жаль, что до конца не распрямились
И, как Спартак, свободным стать мы не смогли,
А может, не те фильмы здесь крутились,
Или не в том ряду сидели мы.

Всем зрителям билетов не хватало,
Мальчишки фильм смотрели сквозь забор.
Того, что нам тогда недоставало,
Отправили вчера мы на костер.

Давно уж нет дверей и сожжены сиденья,
Их очередь настала согреть,
И не вернуться никогда мгновенья
В ряду последнем юность обнимать...

Точка

Я у себя один
Ты у себя одна
И больше не глядим
Из нашего окна.

.....

Любовь и Боль — из букв одних
И вместе спят в историях болезни.
Но не читайте современных книг,
Что воздержание от них полезней.



Это было в Одессе

Юрию Олеше

В Одессе осень.
Падают листья и
скрипят как корабли.
Так образ
польского сознания,
проникнув в языки,
стал строчкой
Ни дня без строчки.
Так чувственно
воссоздавалась жизнь, а
прошлое вставало Прустом,
и пахло канифолью,
и груды солнца густо
пылили желтым на чердаке
заброшенной истории, и
в пустоте бурьян над морем,
спуск с Ланжерона,
обрывы, цирк, каштаны,
акации, бульвары,
на Пушкинской — платаны
и птичий гам,
латынь и Древний Рим,
ксендз, кирха, парашют,
костел, собор и мир,
сорвавшись с якоря,
из настоящего летит
стремительно — куда? Оттуда —
фиалки в феврале,
бессмертие и смерть
на палубе или арене цирка,
зеленый луч в степи.
Дорога, рассекающая степь
лучом, благоухает жгуче.

Эвелина ШАЦ

А дело было лунной ночью:

у одесситов не бывает без луны.
Она — маяк в степи. И по дорожке лунной
пловец уходит к звездам, от моря отрываясь,
как аэродрома. И дом приобретает
во вселенной округлых очертаний колесо.
Как О Одессы, О, свет! В светелке занебесья
сущность Зазеркалья и... книги,
совсем не светские писменья.

А в лунном свете поднебесья —
подлунная любовь транжирит песни
и святость единственности предает.
И вновь высокая луна колдует,
И блеск беззвучно взрывает тишину.
В ней Гоголь спит с открытыми глазами.
Олешу время наставляет писать короче,
оставив ненаписанному место: тому
особый способ данности присущ.
У, Юрка, молодец, — вьются слова собрата.
Поэты как атлеты: сонеты сочиняют,
сжигая чудо интеллекта. На камень,
как вода, стекают рассыпанные мелом
буквы, будто листья — *скрипят как корабли,*
ведь снова осень. В нее ушел Багрицкий.
Все дальше, дальше. Наверное Олеша
дальше писал, а думал *выше*
небом. *Время тлеть!*
Кутя иль колево, и *miserere*.
И длинный александрийский стих.*

Милан



*Так странно звучал Бодлер у Дерибаса

Бабочки на счастье

* * *

Мы копили годы!
День, ночь,
снова день....
Потемнели воды.
Днем тень,
ночью тень.
От вещей лишь тени.
Стук в дверь,
запирай!
Я бегу от лени.
Где рай?
Мне бы в рай!

Мы копили деньги...
Дом, сад,
снова дом.
Мы купили веник.
И метем,
опять метем.
Ведь с деньгами мусор
в сад, в дом,
Снова в сад.
Я не буду трусом!
Я бард!
Может бард.

Мучаю, пытаю
свой стих,
новый стих.
Я от лести таю,
но миг,
только миг.
Мы копили мысли.
Ночь, день,

снова ночь.
Может, их услышат
наш сын,
чья-то дочь?

* * *

Обними меня, мой добрый человек.
Здесь одни сидим мы у камина!
Знаю, ты молчишь про белый снег...
Между гор огромные корзины.
И в корзины кто-то там с небес
Хлопья снега день и ночь бросает.
Распахни окно, послушай лес,
как молчание над лесом висит.

Ночь в горах...
И ты молчишь про снег.
Про него и я молчу с тобою.
Обними меня, мой добрый человек —
эта ночь подарена судьбою.
Днем здесь шумно.
Ночью хорошо...
Я, к тому ж, — философ по природе,
день жалею, что уже ушел,
день встречаю, что уже приходит.

Моим родителям

Рука в руке, и взгляд один,
волшебный, нежный взгляд.
Как будто лампу Аладдин
потер сто лет назад.

Но нет, не сто, а двадцать пять.
Поверьте мне, с тех пор
кружится сказка. И опять
об этом разговор.

У сказки этой нет конца,
она живет всегда.
Покуда в такт стучат сердца,
не постучит беда.

А вдруг беда — все нипочем,
ее рука в твоей.
Как хорошо, что вы вдвоем
растите дочерей.

Любимых вами два цветка
так быстро подросли:
исчезли горки из песка
у речки на мели,

игрушки сломаны давно,
вам вновь их покупать,
ведь вы во внуках все равно
себя должны узнать.

И вновь к вам молодость придет,
как за зимой весна.
Хоть новой книжки переплет
густая седина.

Морщинок больше чуть?
Ну что ж!
Не все они от бед.
Когда улыбку не уймешь,
она оставит след.

И вновь улыбки вижу я,
они вам так к лицу,
и рядом верные друзья!
Танцуй, судьба, танцуй!

И пусть сегодня допоздна
кружат, кружат, кружат,

И счастье здесь, и там луна —
серебряный наряд.
Любовь и радость, и весна...
Серебряный обряд!

Вечер с друзьями

И раз, и два — знакомый фарс
знакомой музыкальной фразы.
Танцует вечер...

Профиль, фас —
друзья по кругу. Видно сразу,
что вечер не устал гостить.
Зачем же он тогда прощался?
У старой дружбы старый стиль —
ничье тусовочное счастье.
И раз, и два — и три, вот так...
Собачий вальс.
Собачий холод.
Замерзла я,
я не мерзляк:
сквозит прощание из холла.

— Спокойной ночи...
— Всё, пока...
— Целую всех...
— До скорой встречи...
Как будто мы из драмкружка,
а режиссер сегодня — вечер.



ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Верить на слово — не пристало Богу 223

Елена ШЕЛЕСТОВА

Подводное течение жизни... 224

Феликс КОХРИХТ

Когда Дед был молодым 233

Анатолий ГЛУЩАК

На прощання з Юрієм Коваленком,

художником і поетом 234

Феликс КОХРИХТ

Лирическая величина Ельца 236

Михаил ГОЛЬДШТЕЙН

Воспоминания 240

Верить на слово — не пристало Богу... Из беседы Евгения Никифорова с махатмами 9.07.1979 об Олеге Соколове



Для Алисы плоскость была объемной: можно было ударить по своей руке и не почувствовать боли.

Для русской сказки объемной была линия: и каждый шаг за клубком уводил все дальше в глущину леса.

Разлинеенная плоскость Олега Соколова — тоже объемна, но куда она ведет?

Говорят, что художники пишут кровью и болью своего сердца. Но достаточно ли для этого вскрыть себе вены?

Боли нет, пока есть привычка. Привычка — разрушенный Храм Истины. Храм запустел. Священник забыл, зачем он там нужен. И вот в Храме комфорт, как в шикарном отеле, есть бассейн, электричество, газ, горячая вода вместо крови шумит в трубах, а священник работает барменом. Всем весело. По Храму проложили колеи и разъезжают в трамваях.

Едут и смеются, пряники жуют.

Но до времени. Время идет. Продолжается разрушение. И вот, в один прекрасный, нет, скорее, дождливый день сквозь вконец продырявленную крышу просачивается струйкой дождя в Храм Истина. Она плачет, рыдает над своим прахом, припадает к своим костям, но им нет до нее дела: счастливыми стрекозами разлетаются привычки по долинам Кампаньи, и им не до своей смерти: ведь они и так мертвы. Сухенькие мумии из лавры.

Куда же ведет линия продолжения от колеи привычки? Дальше?

Вступив за плоскость зеркала, Алиса укололась о подушки. Как будто разрядилась на заостренные торцы линий. И тогда каждое прикосновение линии отзывалось болью.

Не пугайтесь, я сочиняю новую сказку, и, чуть схожу с колеи, как мне жжет руки и все тело.

Художник — о, простите, я — сын эпохи — мазохист. Ибо как иначе определяю блаженство боли, когда всем телом ощущаешь достоверность бытия.

А дальше линия вилась... по кругу. Эллипс, овал, продолженная линия замыка-

лась, кусая свой хвост, и в сладострастных судорогах боли кружилась, летя к созвездиям чистоты, ловя в сеть линий, как в сито, и Будду, и Брамму, и Ситу, прекрасную с ликом из роз, и тернии Бога, принесшего пламя: Сладчайший Христос, каждое Твое слово — Это боль и стенанье. Я умираю каждый день, — говорил апостол.

Но что же художник? — Он ищет линию, но находит себя, а нашед себя, находит Бога или истину, это как вам угодно. И поэтому каждый штрих его пера — это богоявление.

"Да", — кивают головами махатмы.

Но верить на слово — не пристало Богу. Не утолив жажды, он бежит к колодезю с пугающей звонкостью прохладных стен. И когда его тело глянуло в колодезь — оно отразилось Пустотой трепещущего времени,

розовошерстной стопой Иисуса,
фиолетовыми глазами Будды,
гудящей разлинеенной плоскостью.

Евгений НИКИФОРОВ

Елена ШЕЛЕСТОВА

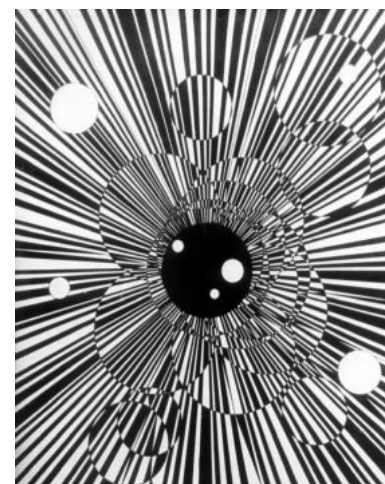
Подводное течение жизни...

Когда-то этот текст — изящное эссе — преподнес Олегу Соколову в день 60-летия (15 июля 1979 года) его молодой сотрудник по музею Женя Никифоров, помнится, только возвратившийся тогда из поездки в Индию. Сейчас Евгений Константинович — видный религиозный деятель России (московское общество "Радонеж"). А тогда он входил в группу Ильи Рудяка при киностудии, сам ставил спектакли в Доме ученых, в Доме актера и, как было заметно всем, имел "абсолютный" вкус к изобразительному искусству (это подтвердилось затем и его работой в музее). Так что неудивительно, что он дружил с популярным тогда в одесской интеллигентской среде художником Олегом Соколовым, понимая его, что называется, адекватно. Кандинский не любил слова "понимать" применительно к искусству, но по отношению к деятелям искусства, я думаю, оно иногда применимо... Мне кажется, что именно Женя в те далекие от современной свободы совести годы нашел мастер-ключ к творчеству художника-космиста, шельмуемого в свое время за серии "пейзажей неведомых звезд". Этот ключ — слово "богоявление" (точнее, "Богоявление"), хотя, употребив это слово с маленькой буквы, Женя проницательно синтезиро-

вал здесь христианство с индийским космотеизмом буддизма. Существует нигилистическое мнение, что иудео-христианское мышление отрицает наличие космических законов как таковых (см. Л. Гумилевский (не Гумилев), книгу о В. Вернадском из серии ЖЗЛ). Здесь уместны другие акценты, если учесть, что православие принимает космос, но, так сказать, от "противного", считая интерес к космосу "прелестью", "греховным прельщением". Об этом можно прочесть и у Н. Бердяева в связи с его защитой А. Блока от обвинений (со стороны П. Флоренского и др.)

в пристрастии к космическим наваждениям. Бердяев полагает, что искусство как таковое и "не связано со святостью", ибо "творчество связано с грехом". Действительно, даже само слово "искусство" одного корня со словом "искушение" (прельщение). Но диалектика искушения такова, что оно, как утверждают диалектически мыслящие теологи, призвано только укреплять в человеке В Е Р У. Такова и природа искусства, обязательно связанного, если оно настоящее, с шестым чувством — верой.

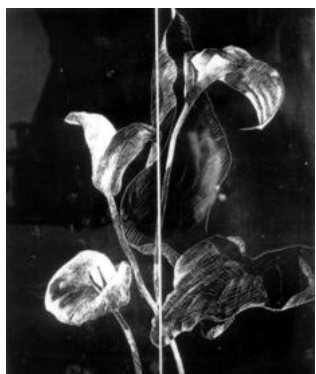
Почему, собственно, появилась потребность в искусстве? Потому что естественные законы (законы природы) невыносимы для человека. Так утверждает, ссылаясь на апостола Павла, ученый-теолог, бельгиец Люсьен Морен в своей известной работе "Бог свободен и связан". Появилась потребность в повиновении каким-то иным законам. Буквально "искусственным", но, по слову С. Рериха, "сверхъестественным" законам, присутствующим именно искусству. Недавняя анафема (отлучение от христианской церкви) Рерихов является недопониманием со стороны некоторых христианских ортодоксов "глубинной откровенческой" природы искусства, которое, проводя человека через искушение и прельщение, неистово укрепляет тем самым в нем способность верить. Недаром С. Кьеркегор определяет ситуацию "зритель-картина" как "прыжок веры". Думается, что и природа самого христианства сложнее, чем ее трактуют некоторые узкие фанатики — догматисты. Ведь даже Папа Римский в середине XX века принял космогоническую научную теорию Большого взрыва как Бо-



жественный акт сотворения Вселенной, точки отсчета времени ее возникновения. Об этом пишет в книге "Краткая история времени" свободный от предрассудков, хотя и маловерующий, английский физик Стивен Хокинг.

Не стоило бы делать такие рискованные (хотя бы своей пространностью!) отвлечения-отступления, если бы... Если бы в архиве Олега Соколова не нашлось утонченнейшей по духу и цвету графической работы, тщательно оформленной им самим под стекло и надписанной: "Пророчество доктора Штейнера", 1988 (существует и такая, принятая до революции огласовка этого имени). Я думаю, что среди немалого числа загадок творчества этого "легендарного одессита" (по слову А. Титаренко, киевского искусствоведа-галериста) это произведение должно занять основополагающее, *ключевое* место, ибо эта загадка — нечто вроде авторского "ключа с секретом". Не будем называть это энигмой Соколова, т. е. "загадкой без разгадки", как бы красиво это ни звучало. Не будем и "взломщиками" печатей этой тайны, памятуя слова Флобера, не терпевшего иллюстраций к своим произведениям: "Не стоило с таким трудом давать туманные образы для того, чтобы явился какой-нибудь сапожник и разрушил мою мечту нелепой точностью". Я, проводившая 27 лет рядом, бок о бок с Олегом — и на работе, и дома — ручаюсь и гарантирую, что точности не будет, будут только догадки и предположения, удивленный читатель поймет, почему...

Выводимая здесь (и в книге, которую я пишу с тем же симптоматичным названием "Пророчество доктора Штейнера") концепция подтверждается только косвенно, отдельными строчками из стихов, названиями графических работ, ибо сам он мне не говорил того, что вырисовывается нашему воображению и пониманию уже после его ухода. На всей его жизни лежала печать некоего "табу" — запрет разглашать кому бы то ни было



принципы и законы своего образа жизни и своего творчества. Ибо, по всей вероятности, это был адептат. Т. е. духовный путь отдельного человека, равносильный тому, чем для социума является культурный процесс, с оговоркой, что коллективного адептата не существует. Так говорил адепт Ордена Креста и Розы, современный художник, испанец Луис Ортега, выставившийся в Музее западного и восточного искусства, увы, уже после смерти Олега Соколова. Жаль, они бы поняли друг друга без слов: и для того, и для

другого существовал закон "посвященности" — единство учения и творчества. Только Олег Соколов был (вероятно) адептом другого толка, пройдя тот же путь, что и доктор Штайнер — от теософии через антропософию в христианскую философию, нося в себе гены раскольников-староверов из семьи Морозовых (по материнской линии, это я знаю со слов самого Олега). Р. Штайнер очень лояльно относился к христианству, уважая при этом и буддизм. Процесс объединения религий Запада и Востока Штайнер мыслил себе пластичнее (подключая к этому процессу и естественные науки Запада), чем, может быть, Елена Блаватская, которую О. С. весьма почитал. Но все же, видимо, "доктор Штайнер" был ему ближе как Учитель. Да, Учитель, о котором он никогда и никому не имел права рассказывать, так велили дисциплина и этика тайновеления — "сокровенное" должно быть "сокрыто". Поэтому свидетельства тому, что О. С. был тайным адептом антропософии, могут быть только косвенные, вроде стихотворных строк на тему каких-то обетов и преодолений неких "порогов":

Один, без вас, неумолимо строг.

Переступлю пылающий порог.

О "порогах" с пугающего вида "стражами" возле них, с которыми адепт встречается уже после смерти, идет речь в известной книге Р. Штейнера "Как достигнуть познания высших миров". Возможно, эта книга имела в богатой оккультической библиотеке отца О. С. Аркадия Семеновича, фотографа по профессии и убежденного спирита и спиритуалиста по призванию. По глухим намекам Олега можно заключить, что он нарушил запрет отца, не подпускаявшего юного сына к своим книжным сокровищам и, видимо, "контрабандно" прочел эту книгу. Возможно, ему тогда было 15 лет, именно в этом возрасте он открыл в себе дар графолога-проскописта (ясновидящего, угадывающего по почерку человека его будущее). В будущем это станет его преимуществом (или эксклюзивом?) как абстракциониста: он "ведал, что творил", ибо за каждой черточкой ему открывался не видимый другим смысл, значение знака. В автобиографических стихах есть штрихи, намекающие на ответный гнев отца вплоть до... якобы проклятия! Удивляться нечему, ибо сам Р. Штайнер свидетельствует, что оккультисты избегают "втягивать" кого бы то ни было (особенно близких) на свои трудные стези достижения "сверхчувственного" знания, потому что при этом человек теряет навсегда простое, чувственное счастье невведения. Переступив без разрешения порог отцовской комнаты (там сейчас ждет реставрации его фреска "Реквием жертвам сталинизма"), возможно, Олег Соколов переступил свой первый порог — шагнул в адептат, в пол-

ную трудов по самосовершенствованию жизнь "человека-культуры", человека, который готовит себя — свою физиологию и психику — к "надпороговому" в земных условиях существования бытию человека, не такого как все... Выдержки и физических сил хватило у Олега на 70 лет, ровно столько же, между прочим, как и у Кришнамурти, великого посвященного, о котором Мери Латьенс в своей книге писала: "В течение 70 лет сверхэнергия, нет, огромная энергия, огромный разум использовали это тело, проходя через это тело, словно 12-цилиндровый мотор". Возможно, что-то подобное происходило и с Олегом, который знал, что 4, 7, 14, 21, 24, 27 и 30 числа каждого месяца он имеет доступ к "сверхчувственному знанию" (это удивительно похоже на расписание ритмов для водителей авто в цивилизованных странах: в определенные строго для каждого дни их не выпускают из гаража на улицы — опасность со стороны космоса не дремлет!). Но Олег был "антибдительным" в такие дни: он работал тогда только в "эзотерической", "небесной", т. е. абстрактной манере, в остальные же дни мог писать и рисовать с натуры, несколько "расслабившись"...

Внутреннее, подводное течение жизни Олега Соколова выглядело как эволюционная модель перехода человека от мистериальной к мистической сути — от миста (адепта языческих античных мистерий) до христианского мистика (последнее состояние для человека-художника означает ощущение (по мастеру Экхарту), что его глаз — это одновременно и глаз Бога, которым Бог смотрит на него... "Напророчил" ему доктор Штейнер такую жизнь, рассказав в своей книге 1917 г. "Христианство как мистический факт и мистерии древности", изданной за 2 года до рождения Олега, как протекает эта эволюция — от язычника к родившемуся в Духе. Невольно задумаешься: случаен ли был такой этап в жизни Олега, как "служение" Бахусу (да и Венере заодно) — сколько его графических листов и целых альбомных "серий" посвящены оргиастическому бытию 50-х — до середины 60-х годов, в котором принимали участие еще живые его собутельники и уже покойные: талантливая сестра-пианистка Татьяна и первая жена, ветреная красавица, натурщица Грековки Людмила Маслова. Созданы были не только серии "под Бахусом", но и масса разошедшихся по рукам эротических (в духе Бердслея и Сомова) работ. Это был период, когда художник вкушал жизнь, текущую вином и лобзаниями, что "слаще мирра и вина"... Но великолепный разум не дремал в этом человеке, он осознал и закономерный приход кризисного состояния (в его стихах появилось слово "алкоголизм", рифмующееся с: "и я катился вниз и вниз"...).

В это время (1962-й год) в его судьбу вошла женщина, о которой он,

армейский кавалерист, выразился по-некрасовски: она, фигурально выразился он, остановила его, как коня на скаку, окриком "Постой!". Эта женщина — я, его жена и ученица (впоследствии "личный искусствовед"). Наложить "вето" на возлияния Бахусу, впрочем, было делом не слишком хлопотным; к удивлению знакомых врачей, он "просто перестал пить", принял волевое решение. Впрочем, пообещал вернуться уже перед смертью к дионисийству, что, к сожалению, и исполнил, замкнув свой "славянский круг — разрозненность начал и эпилогов" (есть у него такие стихи и такая графическая работа). Но период 60-70-80-х, вплоть до 1990 г. — года смерти — был разыгран в его жизни и творчестве, как по нотам. "Incipit vita nova", по Бердслею, у него стала переходом от языческого упоения к христианскому упованию, скажем так. Поезд его искусства помчался по рельсам взыскующей любви — к Богу, Любви, по-христиански прекрасной в своем смирении; вдохновившей его на дивный манифест-кредо:

И творчества Господне подаянье

На землю радугою перекинет мост.

Ровно за 12 лет до смерти, день в день (минут ни много ни мало — целый астрологический цикл между годами Лошади), 17 мая 1975 года он написал стихи на картине — шифрограмме своей смерти, где есть строки:

Спаси меня, Господь, и дай понять

Любви космогоническое иго.

Речь идет, конечно же, о том иго, о котором Иисус сказал: "Иго Мое благо, бремя Мое легко". Речь идет, конечно же, не о земной любви между полами, а о той любви, которая есть Закон и Космоса, и Логоса. До сих пор в его квартире-сироте, до сих пор (из-за финансового дефицита) не ставшей, как решено было городом Одессой в год смерти художника, его музеем-квартирой, на пианино лежит крохотный пожелтевший листочек, видимо, задуманный как заставка с текстом из Св. Иоанна, написанный карандашом:

Любовь не делает ближнему зла.

Но она есть исполнение закона.

Бог есть Любовь, Любовь жертвенная. Это единственный закон творения — мира у Господа, которого Иоанн Кронштадтский называет "вели-



ким художником, у которого и прах говорит", и у художника, помнившего всегда, что искусство требует жертв (это говорили ему и его львовские педагоги из Института скульптуры и прикладного искусства, где он учился и пытался отпроситься однажды навестить больную мать в Одессе). Пафос творчества у этого земного художника был, по сути, глубоко альтруистическим. Все, кто знал его, помнят, что именно за это он был ценим одними высоко, а другими — не очень, что он подставлял свое плечо незаслуженно забытым и оклеветанным гениям, будь то Бердслей, Гофман, О. Уайлд, А. Грин, миriskусники, модернисты Запада; не себя, небывалого и любимого, выставлял он, а поддерживал собою их, это еще не осознано: Соколов творил, просто включаясь в "контекст культуры" (в этом суть поддержания целостности энергоресурсов мировой культуры, по Вернадскому, через созидательный синтез. Повторюсь, Олег подставлял гонимым свое плечо художника-Воина (так у оккультистов называется человек, выковавший себя как Рыцаря знания и понимания), ясновидящий и ясновыслушавший "вещий Олег". Он был в 50-е — 60-е годы один в поле воин, но сумел сделать невероятно много — и Чюрлениса — собрата-теософа прославил, создав в Одессе клуб его имени, в то время, когда о гениальном литовце говорили, что он "мертвящий и реакционный". Клуб назывался "Цвет, музыка, слово", под его крышей собирались люди, страдавшие "жаждой синтеза". Так сказал и об Олеге одесский поэт и культуролог Илья Рейдерман в своей статье о нем, опубликованной в США. Да, он был одержим жадой синтеза — видов, жанров, искусств, искусства и науки, искусства и религии.

Но стоит развить идею, которой я коснулась в этой статье и которую надеюсь шире осветить в книге. У Олега Соколова мы находим попытку синтеза язычества и христианства (актуального сейчас для Украины), и по Штейнеру, и по голосу крови: ведь старообрядцы ходили вокруг аналая "посолонь" — т. е. "по солнцу". Звезды владели воображением этого художника, наверное, с тех пор, как он прочел у Оскара Уайлда рассказ "Мальчик-звезда" ("Маленький принц" Экзюпери был уже потом). Но дело в другом — в понимании того, что "Закон звезды и формула цветка" — едины, — недаром Парацельс называл растения "земными звездами". Эти аналогии по линии "земля-небо" владели изобразительным видением Олега Соколова, равнявшегося без стыда на многих великих, любя особенно испанцев:

Распял Христа художник Сурбаран,
И возвестив Спасенье через муку,

В крошечной тьме звезда была порукой,
В крошечной тьме кровоточащих ран.

Нужно ли приводить еще какие-либо аргументы в пользу того, что третируемый автор звездных пейзажей верил и в свою звезду — буквально, когда писал, как всегда, о себе с мягкой, застенчивой иронией:

Но в центрифуге маленькой Вселенной
Молекулярной биологии изъян:
В туманность Андромеды дух мой пленный
При жизни тянется, друзья!

А ведь до туманности Андромеды 2 миллиарда световых лет! На кладбищенском камне Олега Соколова высечены другие его космические стихи:

Отбрасывая тени бытия на лучезарные чертоги Бога,
Я знаю, птицы долетят к пределам тем, где нет порога.

Что он хотел сказать? В его стихах о небе всегда есть тема любви как света или тепла (ведь говорил же Григорий Нисский, что одни воспринимают Бога, как свет, а другие — как огонь). Но если речь о Любви, то это всегда и то, и другое. Незадолго до смерти Олег написал мне, будущей своей вдове, утешительные строчки:

Пусть гробовыми досками
Обшит твой суженый.
Пустых небес не разгадать:
Горячая зона любви.

Хорошо сказано, если он имел в виду открытое астрофизиками реликтовое излучение во Вселенной (по мнению философа Г. Маргенау, это свидетельство акта Божественного творения мира); излучение это напоминает по частоте излучение почти абсолютно черного тела. Не забудем, что его одиозные для большевистских критиков звездные пейзажи — были черными, как бы просвечивающимися изнутри, как бы клубящимися (клубы взрыва?). Эти пейзажи конгениальны "черному квадрату" Малевича, но они намекают на "конкретное" — например, на "черные дыры", продолжающие, к удивлению ученых, излучать, хотя звезды, которыми были они, эти "дыры" во Вселенной, как будто бы умерли... Да, модель звездной судьбы для Соколова была "порукой" и нашему Спасению, нашей вечной жизни и вечной жизни в Царстве небесном, которое, как говорил Иисус Христос, "внутри нас". Это микрокосм наших душ, подчиняющийся тем же законам, что и Макрокосм природы Небесной. "Не воображай, художник, что ты можешь создать нечто большее из своей души, чем та сила, которую Бог вложил в созданную им природу" — предостерегал

в XV веке А. Дюрер, один из любимых классиков Олега. Олег Соколов и не "воображал", ибо почитал природу до высочайших степеней, вплоть до степени "прельщения космосом". Может быть, этот грех простится ему, ибо он не был из тех закоренелых грешников, о которых говорится: "не ведают, что творят". Он — "ведал", будучи графиком-графологом, значит, ему это было дано, как всем художникам-мистикам (мы уже отмечали это). Этот эксклюзивный дар называется "единство учения и творчества". Его надо нести как крест, осуществляя миссию искусства почти мессианскую — т. е. не для славы от людей (которая часто бывала скандальной не только для О. Соколова, но и для Е. Блаватской, например), а во славу Божью*. В дни гонений его утешала участь религии в СССР. Но не патетически, а пафосно он писал об этом:

Молекулярное строенье естества,

Нанизано на формулу вниманье.

Один из постулатов Божества — непониманье.

"Пролог от Автора, всегда им будет Бог", — торжественно объявил он "сквозное" кредо своего творчества. Этот художник и поэт полагал свое искусство лишь служением, следованием. "Je suis" — "я следую, а не я есмь", — он говорил по-французски, и хорошо понял этот годаровский лозунг направления, под знаменем которого он присягал искусству модернизма. Советская власть недопоняла антибуржуазного, абсолютно бунтарского, чистого, как огонь, характера этого течения и третировала Олега Соколова совершенно напрасно. Теперь это ясно как день. Впрочем, в истории искусства прецеденты были...

Статья иллюстрирована работами Олега Соколова



*т. е. творить для будущего, жить в будущем времени, которое (это еще не осознано наукой) существует и существовало всегда. Как сказано о славе, любви и времени в Евангелии от Иоанна (17:24): "Да видят славу Мою, которую Ты дал мне, ибо возлюбил Меня прежде основания мира".

Когда Дед был молодым...

...А было это лет сорок назад — если считать по обычным возрастным меркам, но применительно к Коваленко следует перейти на другой отсчет. Сегодня, когда Юры уже нет с нами, можно подвести итог: оказывается, время было над ним не властно...

Разумеется, в бытовом, физиологическом измерении годы брали свое: убрались кудри, явив мощный череп, седина ударила в бороду, а бес, как ему и положено, — в ребро. Он был эпикурейцем и гедонистом, но нашего, прилукско-одесского разлива: любил выпить, закусить и пошуметь, как Есенин в участке.

Поэт ведь тоже был из крестьян, но Юрий Андреевич прожил дольше его и к заходу Солнца приобрел схожесть и с Сократом резца Праксителя, и с Паном кисти Врубеля, и с Кола Брюньоном карандаша Кибрика...

Кряжистый, с рукопожатием немереной силы, одетый и незгарбно, и артистично, этот старик, этот дед был и остается молодым. Его голубые глаза сохраняли зоркость и избирательно выхватывали из общего ряда людей и вещей лишь то, что достойно иной жизни — на его холстах, картонах, клочках бумаги. Как правило, Коваленко довольствовался малым, но отбор вел всегда по критериям, которым не изменял, не поддаваясь на соблазны.

Удивительным образом Юрий Андреевич, не получив ни званий, ни премий, ни орденов, давно был знаменит и востребован, как и не снилось иным лауреатам. Он много выставлялся, и с каждого вернисажа картины уходили в музеи, в коллекции, в подарки — а их он умел и любил делать. Журналисты, искусствоведы, критики охотно и от души писали о Коваленко, и я — в этом числе. Редко кто из собратьев по цеху может похвалиться тем, что о них при жизни создана книга, а вот Коваленко такой подарок получил: Олег Губарь придумал, создал и с любовью издал сборник "Человек с улицы Тираспольской". Не из Прилук, не из Питера, где Коваленко учился...

Сегодня можно подивиться тому, как он провидчески угадал, увидел дождливый майский день и нас, собравшихся в старом одесском дворе, чтобы проститься с его замечательным жильцом...



в XV веке А. Дюрер, один из любимых классиков Олега. Олег Соколов и не "воображал", ибо почитал природу до высочайших степеней, вплоть до степени "прельщения космосом". Может быть, этот грех простится ему, ибо он не был из тех закоренелых грешников, о которых говорится: "не ведают, что творят". Он — "ведал", будучи графиком-графологом, значит, ему это было дано, как всем художникам-мистикам (мы уже отмечали это). Этот эксклюзивный дар называется "единство учения и творчества". Его надо нести как крест, осуществляя миссию искусства почти мессианскую — т. е. не для славы от людей (которая часто бывала скандальной не только для О. Соколова, но и для Е. Блаватской, например), а во славу Божью*. В дни гонений его утешала участь религии в СССР. Но не патетически, а пафосно он писал об этом:

Молекулярное строенье естества,

Нанизано на формулу вниманье.

Один из постулатов Божества — непониманье.

"Пролог от Автора, всегда им будет Бог", — торжественно объявил он "сквозное" кредо своего творчества. Этот художник и поэт полагал свое искусство лишь служением, следованием. "Je suis" — "я следую, а не я есмь", — он говорил по-французски, и хорошо понял этот годаровский лозунг направления, под знаменем которого он присягал искусству модернизма. Советская власть недопоняла антибуржуазного, абсолютно бунтарского, чистого, как огонь, характера этого течения и третировала Олега Соколова совершенно напрасно. Теперь это ясно как день. Впрочем, в истории искусства прецеденты были...

Статья иллюстрирована работами Олега Соколова



*т. е. творить для будущего, жить в будущем времени, которое (это еще не осознано наукой) существует и существовало всегда. Как сказано о славе, любви и времени в Евангелии от Иоанна (17:24): "Да видят славу Мою, которую Ты дал мне, ибо возлюбил Меня прежде основания мира".

Когда Дед был молодым...

...А было это лет сорок назад — если считать по обычным возрастным меркам, но применительно к Коваленко следует перейти на другой отсчет. Сегодня, когда Юры уже нет с нами, можно подвести итог: оказывается, время было над ним не властно...

Разумеется, в бытовом, физиологическом измерении годы брали свое: убрались кудри, явив мощный череп, седина ударила в бороду, а бес, как ему и положено, — в ребро. Он был эпикурейцем и гедонистом, но нашего, прилукско-одесского разлива: любил выпить, закусить и пошуметь, как Есенин в участке.

Поэт ведь тоже был из крестьян, но Юрий Андреевич прожил дольше его и к заходу Солнца приобрел схожесть и с Сократом резца Праксителя, и с Паном кисти Врубеля, и с Кола Брюньоном карандаша Кибрика...

Кряжистый, с рукопожатием немереной силы, одетый и незгарбно, и артистично, этот старик, этот дед был и остается молодым. Его голубые глаза сохраняли зоркость и избирательно выхватывали из общего ряда людей и вещей лишь то, что достойно иной жизни — на его холстах, картонах, клочках бумаги. Как правило, Коваленко довольствовался малым, но отбор вел всегда по критериям, которым не изменял, не поддаваясь на соблазны.

Удивительным образом Юрий Андреевич, не получив ни званий, ни премий, ни орденов, давно был знаменит и востребован, как и не снилось иным лауреатам. Он много выставлялся, и с каждого вернисажа картины уходили в музеи, в коллекции, в подарки — а их он умел и любил делать. Журналисты, искусствоведы, критики охотно и от души писали о Коваленко, и я — в этом числе. Редко кто из собратьев по цеху может похвалиться тем, что о них при жизни создана книга, а вот Коваленко такой подарок получил: Олег Губарь придумал, создал и с любовью издал сборник "Человек с улицы Тираспольской". Не из Прилук, не из Питера, где Коваленко учился...

Сегодня можно подивиться тому, как он провидчески угадал, увидел дождливый майский день и нас, собравшихся в старом одесском дворе, чтобы проститься с его замечательным жильцом...



У его изголовья — огромные деревья, пока еще без плодов. Насторожились коты, заплакала собака... Все они, как и мы, не что, а кто. Коваленко углядел живую душу и в яблоках-грушах, и в животине, и в хатах под соломой, и в винарках, и в закоулках Староконного, где сегодня безуспешно ищет старого собеседника и собутельника один из городских чудиков (привет от Шукшина и Венички Ерофеева) по прозвищу Параджанов...

А вот и он сам — с цветком граната и чачей в серебряном кубке — встречает друга. Седобородый, коренастый, выдумщик, перехитривший, как и наш Юра, если не годы, то время...

Анатолій ГЛУЩАК

На прощання з Юрієм Коваленком, художником і поетом

Нас батожить полум'я біди,
В цім дворі уже нема де стати...
Тут з картин його усі діди,
І бабусі, і півні, й хлоп'ята...

Саваоф, пророк чи блудний син?..
Змієборець чи козак Нетяга?
Ти зірвався з горніх стромовин,
На спізнавши страму або страху.

Світ, мов глину, наново ліпив
І купав у райдужних джерелах!
Проклинав цей світ...
Але й любив!!!
Шив за нього свій полинний келих.

Українець — з неба до землі,
Одесит в сто першій поколінні,
Не бруднився ув олжі та злі,
Не ганьбив себе на дармовині.

Ти писав церкви, а не попів,
Зневажав чинуш, які картали...

В гніві ти зубами так скрипів,
Чутно було аж за два квартали.

Ковалі сьогодні не кують.
Тяжко тужать дзвони у Прилуках, —
Ти зібрався у найдовшу путь
З невблаганним іменем розлука.

Братолюб. Галерник. Галайда.
— Прощай! — ми кажем наостанок.
Там... батьки зустрінуть... Нечерда...
Піросмані стріне... І Степанов...



Лирическая величина Ельца

Этот небольшой русский город расположился на берегах речки со смешным и трогательным названием — Ельчик, притоке Дона...

Первое упоминание о Ельце в Никоновской летописи относится к 1146 году, но и раньше в этих краях жили крестьяне, купцы, ремесленники: выращивали и продавали хлеб, торговали медом, солью, железом и изделиями из него. В иные годы Елецкое княжество было размером с нынешнюю Голландию. Кто знает, может, ходили бы князья черниговские под елецкими, да помешало расположение города на самом беспокойном месте.

Он "принадлежал к тем важнейшим оплотам России, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею, первые видели зарево страшных ночных и дневных пожаров ими запаленных, первыми давали знать Москве о грядущей беде и первыми ложились костями за нее".

Вот лишь самые известные разорители крепости Елец, каждый раз вновь встававшей на их пути:

- 1238 — Чингисхан
- 1380 — Мамай
- 1382 — Тохтамыш
- 1395 — Тамерлан...

Цитата, которую мы привели выше, принадлежит перу Ивана Алексеевича Бунина. Питомец знатного, но обедневшего рода, он родился в Воронеже, а вскоре семья переехала на хутор Бутырки Елецкого уезда: "Тут, в глубочайшей полевой тишине, ...прошло мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной". С 1881 по 1886 год учился в Елецкой гимназии. В то время богатые местные купцы не жалели денег на строительство храмов, на содержание учебных и просветительских заведений. И даже создали стационарный театр — один из первых в российской провинции. Он был широко известен, и именно здесь взяла ангажемент героиня чеховской "Чайки" Нина Заречная.

С Чеховым было связано и наше пребывание в этих местах. В Липецке проходили юбилейные Театральные встречи, на которые их учредитель — народный артист России, лауреат Государственных премий, профессор Владимир Михайлович Пахомов уже в двадцатый раз пригласил театроведов, критиков, журналистов, режиссеров из разных стран.



Елецкий монастырь

ли и одесситы — драматург Александр Мардань (его пьесу "Лист ожиданий", впервые опубликованную в нашем альманахе, ставят в липецком театре) и автор этих строк.

Поездка по старинным городам русского Черноземья, посещение храмов и монастырей, заповедных мест, с которыми неразрывно связана жизнь великих писателей и поэтов, выдающихся деятелей отечественной культуры — все это по замыслу организаторов конференции должно было приблизить нас к истокам их творчества. Пушкин и Лермонтов, Толстой и Чехов... В Ельце и его окрестностях родились писатели Василий Розанов, Марко Вовчок (Мария Вилинская), Михаил Пришвин, актриса Варвара Массалитинова, композитор Тихон Хренников, академики медицины Николай Семашко и Владимир Виноградов...



Липецкий театр

Владимир Пахомов (справа)
и Александр Мардань

И все же здешний педагогический институт, недавно ставший университетом, носит имя именно Ивана Алексеевича Бунина. Справедливо сказано: в России нужно жить долго...

Среди экспонатов музея писателя, расположенного в старом деревянном доме мещан Ростовцевых, где снимал угол маленький



Дом-музей Ивана Бунина

гимназист, есть факсимильная копия Нобелевского диплома, на котором вместо герба государства — родины лауреата — помещены рисунки художника Ивана Билибина — близкого друга. Бунинская Россия тогда уже не существовала, а для СССР он был врагом и изгоем. Диплом этот — подарок музею собирателя литературных раритетов Ричарда Девиса. А объемистый чемодан, с которым Иван Алексеевич в 1933 году ездил в Стокгольм на торжественную церемонию вручения премии, прислала в Елец друг музея госпожа Грин.

Есть и более скромный, но важный и трогательный дар. Недавно семья горожан передала в музей чашку и блюдо, из которой пил чай Ваня Бунин, будучи в гостях у одного из своих одноклассников по гимназии...

Трудными были школьное детство и юность будущего великого писателя. Вконец спившийся отец проиграл в карты все — даже ворота от промотанного имения. Страдали от бедности и унижения все члены семьи высокородных дворян, и особенно — младший сын, отличавшийся гордостью и ощущением "небывалости своей судьбы"... В Ельце он пишет первые стихи, заносит в дневник строки, не предназначенные для чужих глаз...

Пройдут годы, и Бунин, писатель с мировой славой, вспомнит этот провинциальный городок — с его магическим сплетением "захлавленной суетным житием россиян древности", первой любовью, "последним целованием". Здесь ему были даны первые опыты "горького счастья жизни", и до конца своих дней он, по воспоминаниям близких, сохранил в облике нечто мальчишеско-детское...



Именно ощущение русского "уездного" стало для Бунина тем, что Александр Блок называл Лирической величиной.

Хозяйка музея — Тамара Георгиевна Кирющенко и ее милые помощницы переписываются со



Экскурсию ведет директор музея Т.Г. Кирющенко

А вот и знакомый адрес: "Одесса, ул. Княжеская, 27, Петру Александровичу Нилусу...". Конверт, исписанный летучим бунинским почерком, совершил (через века и тысячи километров!) путешествие к Черному морю и недавно вернулся к берегам Дона... В первый раз в Одессу Бунин приехал в конце XIX века — молодым и счастливым. Подружился с художниками, жил у Нилуса, на Княжеской. В 1898 женился на красавице Анне Цакни, но брак этот был несчастлив и через год распался, а их сын Коля (единственный ребенок Бунина) умер в раннем детстве... Анна Николаевна дожила в Одессе до 1963 года, я ее помню...

Из Одессы Иван Бунин 21 мая 1918 года навсегда ушел из России и уже в эмиграции издал дневники, которые вел в Южной Пальмире, где власть менялась каждый день, но красные все же победили... Свои записки он назвал "Окаянные дни"...

Хранитель елецкого собрания показала нам материалы, полученные в свое время от одесских коллег, и выразила надежду на то, что связь между учеными и литераторами, артистами и художниками городов, отмеченных печатью бунинского таланта, будет и впредь плодотворной.

В Одесском литературном музее с этим полностью согласны.

Фото автора
Одесса — Липецк — Елец — Одесса



Среди участников конференции был и Лев Анненский (второй справа)

Воспоминания*

Фрагменты

Встретил я в Одессе талантливую певицу Розу Гинзбург. Она уцелела в городе в годы оккупации. Ее муж был педагог университета Литовченко. Она приняла его фамилию, изменила свое имя на Галину. Все знали ее национальное происхождение, но уберегли от опасности.

В годы оккупации одесская опера давала спектакли. Часто там гастролировали известные певцы. Приезжал в Одессу даже Тито Скипа. Мне рассказывали, что одесситам жилось в годы оккупации не так уж плохо. Продовольствие было в избытке, развлечений сколько угодно. В моих руках случайно оказался комплект газеты "Молва", выходившей в Одессе в годы оккупации. Почти каждый номер газеты изобиловал рецензиями на оперные спектакли или концерты. А их было множество. В этих концертах одесситы впервые познакомились со многими замечательными музыкальными произведениями, которые почему-то игнорировались советскими "репертсгостями".

Мне предложили в Одессе должность художественного руководителя Областного радио. Я отвечал за организацию музыкальных программ. Все шло гладко, но однажды меня вызвал работник отдела кадров.

— Вы переписываетесь с Америкой?

— Да, я в переписке с моей кухней.

Это было большим грехом. Мне предложили прекратить переписку с зарубежными странами. Иначе... Я послушался совета и лишился возможности получать от кухни интересующие меня ноты. Вскоре я оставил свою деятельность на радио, решил быть только педагогом и солистом. Часто писал статьи в одесских газетах. Иногда играл свои произведения. Случилось мне сыграть свою композицию и на украинские темы. Нашелся критик, который резко обругал меня за связь с украинской тематикой.

— Вы не можете правильно понимать украинскую музыку, ибо в ваших жилах другая кровь, от другой национальности.

Кто-то пытался возразить, что даже Бетховен писал произведения на украинские народные темы, хотя не жил на Украине, и в его жилах не текла украинская кровь. А Гольдштейн все-таки родился и жил на Украине.

*Этот материал прислал в редакцию профессор Александр Ровенко, ныне живущий в Германии. Воспоминания опубликованы издательством "Сикорски" (ФРГ).

Неумолимый критик без тени смущения заявил:

— Но Бетховен же не был евреем!

В те дни в Москве еще существовал еврейский театр, издавалась еврейская газета "Эйникайт". Михоэлс с пеной у рта доказывал в Америке, что в СССР не существует преследования евреев. И он доказал своей собственной жизнью, что глубоко заблуждался.

Помню встречи в Одессе с талантливым украинским историком и драматургом Всеволодом Андреевичем Чаговцем. Он написал либретто для известного украинского балета "Лилея". Он жил в Киеве, но любил Одессу и часто туда приезжал. С восторгом он рассказывал о своих неоднократных встречах с Шолом-Алейхемом. Показывал памятные фотоснимки с писателем. Это был высоко эрудированный человек. Настоящий украинец, с чистой совестью и душой. Часто он осуждал антисемитские "выходки" Хрущева и его единомышленников. У нас завязалась тесная дружба. Я с ним поделился впечатлением от критики моих украинских опусов.

— А ты докажи, что он ничего в музыке не понимает!

— А как же доказать?

— Так, как сделал скрипач Фриц Крейслер.

Известно, что Крейслер в начале своей композиторской деятельности не мог добиться признания. Тогда он решился на мистификацию. Он сочинил несколько музыкальных произведений и объявил, что их написали другие композиторы. Так появились на свет многие произведения "старинной" итальянской и немецкой музыки. Долгое время Крейслеру верили. Но настал момент, когда всемирно знаменитый скрипач был вынужден разоблачить свою мистификацию.

Чаговец говорил:

— Напиши симфонию на украинские темы, а композитором пусть будет, скажем, помещик Овсянко-Куликовский. Он когда-то имел свой крепостной оркестр в Одессе и в 1810 году подарил его оперному театру. Мог же этот помещик сам написать музыку или купить ее у другого композитора? Даже у Моцарта хотели купить "Реквием".

Чаговец настойчиво убеждал меня в необходимости такой мистификации. Вскоре я встретился в Одессе с композитором И.О. Дунаевским. Естественно, когда он приехал в Одессу, я рассказал о своем желании сочинить подделку.

— Непременно! — обрадовался Дунаевский.

В то время в ходу была теория о влиянии русской культуры на иностранную. Самым ходовым термином был "приоритет". Доходило до анек-

дотов. Часто вытаскивались на свет совершенно беспомощные бумагома-
дания. Этим "произведениям" незаслуженно приписывались художест-
венные достоинства, их насильно включали в концертные программы. До-
стоинство этих произведений было лишь в том, что их сочинили в России.

— Сделать музыкальную подделку легче легкого, — доказывал Дунаевский.

Он вспомнил, что в опере "Моцарт и Сальери" есть эпизод, который
сочинил Н.Н. Римский-Корсаков в стиле Моцарта. Сам Чайковский на-
писал мазурку, которую назвал "а ля Шопен". Роберт Шуман также сочи-
нил произведение в духе Шопена. Дунаевский напомнил мне, что его
увертюра к кинофильму "Дети капитана Гранта" написана в духе Моцар-
та. Правда, он сознался, что не совсем "дотянул" до Моцарта, но сходство
все же чувствуется.

— Как видишь, я умею и сам сочинять за других, хотя меня обвиняют,
что другие сочиняют за меня.

Он сыграл мне красивую украинскую мелодию.

— Тебе она нравится?

— Очень! Что это?

— Узнаешь потом.

— Запишите мне эту тему.

Он записал. Впоследствии это оказалась песня "Ой цветет калина" из
музыки к кинофильму "Кубанские казаки". На нотах стояло обозначе-
ние — музыка Дунаевского. Кто-то говорил, что это видоизмененная на-
родная тема. Но я ее впервые узнал от Дунаевского. Я решил ее использо-
вать для произведения, которое сочинял для симфонического оркестра.
Чтобы не получилась полная цитата, я видоизменил часть мотива.
Впоследствии эта тема вошла в мой украинский танец для симфоническо-
го оркестра, который я назвал "Казачок". Сознаюсь откровенно, я написал
это произведение в духе музыки начала прошлого столетия. Боялся
усложнять гармонию, иначе меня бы обвинили в извращении украинской
музыки и тлетворном влиянии Запада. Вскоре я приписал к "Казачку" ос-
тальные части, и получилась украинская симфония, тоже "в духе Моцар-
та". Даже оркестровал я эту симфонию в старинном стиле.

Показал партитуру тогдашнему художественному руководителю одес-
ской филармонии М.А. Казневскому. В то время предполагалось его на-
значение на должность начальника Управления музыкальных учрежде-
ний в Комитете по делам искусств УССР, и он готовился выехать в Киев.
Ему хотелось чем-то ознаменовать свое новое назначение. Увидев в моих
руках партитуру "неизвестной украинской симфонии", он потребовал,

чтобы я немедленно подготовил ее для концертного исполнения. Были
расписаны голоса, и должна была состояться специально назначенная ре-
петиция симфонии.

В то время уже была известна симфония "неизвестного украинского
композитора". Впоследствии выяснилось, что это была компиляция про-
изведений известных авторов. Но симфония привлекла внимание. Снова
создавать симфонию "неизвестного автора" не очень хотелось. Я вспо-
мнил о помещике Овсянико-Куликовском. Это был дед известного русско-
го литератора Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского. Действи-
тельно, он имел собственный крепостной оркестр. Вспомнил рассказ Ча-
говца об этом помещике. Так симфония получила "отца". На вопрос, явля-
ется ли эта симфония первым произведением Овсянико-Куликовского, я
высказал "предположение", что нет, что это уже 21-я его симфония. Моя
гипотеза была принята безоговорочно. Никто не потребовал от меня под-
линного манускрипта.

С молниеносной быстротой симфония завоевала успех. Ее сыграли
в Киеве, затем в Москве и в Ленинграде. Есть пластинка с записью симфо-
нии, которую исполнил заслуженный Ленинградский симфонический ор-
кестр под управлением Евгения Мравинского. Ловкачи от науки стали со-
чинять диссертации о симфонии и ее "авторе". В Большой Советской Эн-
циклопедии появилась заметка о "композиторе" Овсянико-Куликовском.

Каша была заварена, пришлось ее расхлебывать. От меня стали требо-
вать подлинный манускрипт симфонии. Особенно свирепствовал киев-
ский музыковед В.Д. Довженко: он готовил книгу об Овсянико-Куликов-
ском! Вскоре мне пришлось признаться, что симфонию сочинил я сам.
Из-за такого признания я был вынужден уехать из Одессы. История
с симфонией превратилась в своеобразный анекдот. А много лет спустя,
в начале 1959 года, в "Литературной газете" появился фельетон Яна По-
лищука, где он поведал этот анекдот широкому кругу читателей.

В новом издании советского "Музыкального Энциклопедического
Словаря" (Москва, 1966) уже не упоминается Овсянико-Куликовский
в качестве автора симфонии. Но там есть заметка о музыкальных поддел-
ках, где вспоминается анекдот с симфонией Овсянико-Куликовского. Од-
но время эту симфонию считали гениальным произведением, подлинной
сокровищницей классики, высоким образцом симфонизма. Но когда вы-
яснилось, что Овсянико-Куликовский ее вовсе не сочинил, тогда она
перестала быть гениальной.

В общем, я отделался легким испугом, и думаю, что мне очень повез-

ло. Не все безграмотные партийные музыканты любят, когда подчеркивают их ничтожество. Наоборот, они считают себя мудрыми наставниками и требуют беспрекословного подчинения. Они направляют на правильный путь, дают директивы и учат "уму-разуму".

Словом, могло случиться гораздо хуже!

Прощаясь с Одессой, я подумал: как жаль, что в этом знаменитом городе могли получить неограниченную власть всяческие невежды — музыкальные и иные.

Никогда раньше не было в Одессе такого сильного "обострения национального вопроса". Были времена погромов и кратковременной власти антисемитствующих разбойников. Но в Одессе всегда легально существовали разнообразные учреждения еврейской национальной культуры, печатались книги и газеты на еврейском языке, существовали сионистские организации, был свой театр, национальные концерты. Попробуйте в теперешней Одессе найти что-либо подобное!

Гений или злодей

Такой заголовок придумал московский журналист Ян Полищук, которому было поручено написать статью для "Литературной газеты" и в ней рассказать о приключениях 21-ой симфонии украинского композитора Овсяннико-Куликовского. Эта статья появилась на свет 5-го января 1959 года в московской "Литературной газете" и сразу же стала темой для многочисленных разговоров. Одни смеялись, другие злорадствовали, а третьи испытали разочарование.

Я позволю себе снова вернуться к этой удивительной истории, вспомнить некоторые подробности. 1948 год отличался в СССР непримиримой борьбой с космополитизмом. Доставалось преимущественно лицам еврейской национальности. Конечно, заодно дубасили видных ученых и крупных специалистов разных национальностей, внушая им, что никакого заграничного влияния на советскую культуру никогда не было, нет и быть не может. Выходило, что всё в СССР родилось на пустом месте, что вся цивилизация появилась лишь на территории СССР, а за ее пределами жили и живут варвары и недоразвитые дикари, которые никак не могли оказать влияние на советскую или русскую культуру.

Слово "космополит" обрело зловещую связь с понятием "враг народа" или "агент империалистической разведки". По части ярлыков в СССР имеются крупнейшие специалисты. Чего только ни придумают!

Меня, например, объявили не просто космополитом, а еще "подпевалой космополитов". Хуже это или лучше, мне сказать затруднительно. Если уж быть космополитским подпевалой, то надо это чем-нибудь оправдать. Не носить же зря такой экзотический титул! Вот я и сочинил "симфонию Овсяннико-Куликовского". Должен оговориться, что при сочинении этой симфонии я совершенно упустил из виду, что в начале 19-го столетия медные духовые инструменты еще не имели усовершенствованной конструкции и могли исполнять только отдельные ноты своего собственного звукоряда. Лишь впоследствии валторны и трубы обрели возможность пользоваться хроматическим строем. Пришлось переписывать отдельные фразы, пересочинять темы. В результате на нотах появились наклейки, которые свидетельствовали о процессе переработки. Когда я сочинил 3-ю часть, которая получила название "Менуэт", я позабыл, что в классических образцах этого танца должна быть добавочная нота перед начальным текстом. Словом, если бы я сочинил эту музыку в начале 19-го столетия, она бы выглядела совсем иной. Стилизация требует особого искусства и специального мастерства, тонких знаний характерных особенностей.

Я ждал, что моя мистификация будет сразу же разоблачена. Я не верил, что встречу так много наивных людей. А получилось совсем иначе. Желание "погреть руки" на моей "находке" привело к невиданной активности в ее популяризации. Предоставляю слово автору фельетона:

"— Заутра двинем рать! — воскликнул худрук, вырывая у своего подопечного черную папку. — Нас призывает Киев! Нас ждут вышестоящие товарищи!

На следующий день, даже не простившись с первооткрывателем симфонии, Казневский умчался в столицу.

Стоит ли удивляться, если через некоторое время симфония исполнялась лучшими оркестрами республики?"

Что же касается советской прессы, то здесь не было недостатка в похвале. Говорили о симфонии с таким восторгом, какой не всегда расточается по адресу Моцарта и Бетховена. В эпоху сталинской борьбы с "космополитами" такая симфония обретала особый смысл. Характерно, что имели место и абсурдные утверждения.

Опять слово автору фельетона:

"Один из тех, кто решил произвести глубокое исследование в этой области, был научный сотрудник Института искусствоведения, фольклора и этнографии Валериан Данилович Довженко. Он ринулся в Одессу, чтобы на месте происшествия отыскать все данные, касающиеся вновь от-

крытого композитора. Естественно, что первый научно-исследовательский визит он нанес Гольдштейну".

Здесь требуется уточнение. В.Д. Довженко прибыл в Одессу, не поставив меня об этом в известность. Он кинулся в одесский архив. Там перевернул все вверх тормашками, но никаких следов симфонии не обнаружил. А я упорно утверждал, что нашел симфонию в архиве. Тогда Довженко ринулся по всем возможным организациям, вплоть до милиции, чтобы найти какие-нибудь следы. Но его метушня была напрасной, он ничего не мог найти. Лишь тогда он соблаговолил обратиться ко мне. Хотел я было сразу ему доказать, что это мистификация. Но потом передумал и стал "обнадеживать" Довженко. Опять слово газете:

"Разговор протекал в энергичном темпе, известном в музыке под термином "престо".

— Так вы утверждаете, — начал Довженко, — что композитор родился в 1787 году? Значит, свой шедевр он написал, не достигнув двадцати двух лет?

— Если вы очень хотите, то он мог создать симфонию и в более зрелом возрасте. Ну, скажем, к сорока годам.

— Тогда наш подысследуемый появился на свет в 1768 году. Так и запишем! Скрупулезное изучение материала продолжалось".

Конечно, фельетонист ради красного словца досочинил подобные реплики. Но они недалеки от истины. Действительно, я знал, кто такой Довженко, и хорошо понимал его намерения.

Далее написано:

"— А когда Овсянко изволил скончаться?

— Точно не скажу, но кажется, в 1846 году...

— Ага, точных данных нет... Значит, сведения о нем зажимали реакционеры..."

Через месяц в газете "Радянське мистецтво" за подписью В. Довженко появилась пространная статья о творчестве и личности Овсянко-Куликовского. Авторитетно-приоритетно музыковед сообщал: "По имеющимся сведениям, Николай Дмитриевич Овсянко-Куликовский родился в 1768 году в селе Бехтеры под Николаевом... Он был очень одаренным и просвещенным человеком... Сведения о деятельности композитора-патриота, начиная с двадцатых годов, исчезают, даже в 1846 году, в день его смерти, ни одна из газет феодально-помещичьей России ни словом не обмолвилась о выдающемся сыне своего отечества..."

Еще одна цитата:

"Музыкальная общественность была восхищена. Наконец-то найден композитор, которому можно было приписать все безымянные сочине-

ния. Час от часу в биографию доселе неведомого симфониста вписывались увлекательные интимные подробности. Все понимали, что усилиями такого серьезного и многоопытного музыковеда, как В. Довженко, фигура композитора скоро предстанет во весь свой могучий рост.

Так оно и было. Довженко непоколебимо решил, что у него достаточно данных, чтобы приступить к капитальному труду о творчестве Овсянко-Куликовского... О первооткрывателе симфонии Гольдштейне в этой изыскательной сутолоке как-то позабыли".

Настал момент, когда надо было открыть истину. И я открыл ее при очень своеобразных обстоятельствах. Делом о симфонии "Овсянко-Куликовского" заинтересовались... следственные органы милиции. Я жил в это время в Москве и работал в концертном ансамбле Центрального Дома Советской Армии (ЦДСА). Готовилась большая концертная поездка.

Неожиданно пришло сообщение, что я должен явиться в районное отделение милиции Москвы. Не ожидая никакого сюрприза, я зашел туда вместе со скрипкой Амати, ибо решил потом пойти на репетицию. Но оказалось, что меня уже ожидают в Главном управлении милиции на улице Огарева. Меня посадили в машину и привезли в "центр", где меня ждал следователь из Киева, некий Бернасовский.

Он попросил меня рассказать мою биографию. Я рассказывал. Далее старался по его просьбе быть более подробным. Неожиданно разговор перешел на тему о симфонии Овсянко-Куликовского. Вот тут-то и пришлось мне рассказать всю правду. Я понял, что до встречи со мной следователь Бернасовский основательно "подготовил" материалы. К счастью, следствие происходило через 4 года после смерти Сталина, и Бернасовскому приходилось пользоваться человеческими методами допроса. Когда он узнал правду о подлинном авторе произведения, он был явно растерян. Он полагал, что автором я никак не мог быть. После многочасового допроса меня привезли домой, и в моем присутствии был устроен обыск в квартире. Не так легко было разобраться в гряде нот и книг, составляющих мою библиотеку. Но, несмотря на сложность этой задачи, три следователя производили тщательный обыск. Бернасовский обратил внимание на книгу репродукций знаменитых произведений изобразительного искусства. Там была изображена репродукция с обнаженной Венеры.

— А-га, значит, собираете порнографические рисунки!!! За это по советским законам сурово наказывают. Возьмем этот аргумент. Он нам пригодится.

Напали на мои дневники. Я там записывал разные события из моей музыкальной жизни.

— Возьмем эти записочки, — обрадовался следователь, — они очень полезны для чтения.

Нагрузив чемодан разнообразными "уликами", следователи торжественно запечатали его сургучом и погрузили в машину. Меня с собой не захватили, но утром я должен был снова явиться к следователям. На сей раз без машины.

Чемодан вскрыли при помощи понятых. Сразу же выяснилось, что обнаженная Венера лишь произведение искусства, и оригинал ее находится в одном из московских музеев для всеобщего обозрения.

Дневники были изъяты для штудирования.

Снова продолжался допрос. Следователи обнаружили, что они недостаточно провели подготовительную работу, и поэтому было мне предложено через некоторое время приехать в Киев и в Одессу, чтобы продолжить расследование в других условиях. Пришлось подчиниться. Вскоре я оказался в Киеве. Здесь узнал, что создана специальная комиссия для изучения моих композиторских способностей. В состав этой комиссии согласился войти украинский композитор Глеб Павлович Таранов. По всей вероятности, следственным органам нравилась боевая фамилия композитора, они рассчитывали, что Таранов возьмет меня на таран и поможет следователям установить мою вину. Еще мне было известно, что в состав комиссии войдет композитор Борис Николаевич Лятошинский. Называли и других музыкантов. Словом, я готовился встретить авторитетнейших специалистов в области композиторского творчества.

Мысленно я представлял себе эту встречу по-разному. Мне думалось, что меня запрут в специальное помещение, дадут нотную бумагу, на которой кроме линеек ничего не будет, и скажут: "Даем вам 8 часов на сочинение симфонии". Перед этим меня тщательно обыщут, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо шпаргалок. Всякого можно ожидать.

Я, однако, ловил себя на том, что не испытываю никакого страха и волнения. А многое меня просто сместило.

Итак, я оказался в Киеве. Явился в назначенное время и по назначенному адресу. Вошел в указанную мне комнату. Здесь меня ожидал следователь Бернасовский. Он любезно спросил меня о самочувствии. Я весело ответил, что все в полном порядке. Его очень смущало мое веселое настроение и, вероятно, он считал его наигранным. Наша беседа длилась не очень долго, она была прервана появлением композитора Г.П. Таранова. Невольно я подумал, что кроме него никто не явится. Так оно и случилось. Лишь один Таранов рискнул явиться на свидание со мной. В руках

у него была написанная моей рукой партитура мнимого произведения Овсяннико-Куликовского. Таранов углубился в ноты и медленно переворачивал страницы. В комнате воцарилось тягостное молчание. Вероятно, следователю оно показалось слишком долгим, и он нарушил его вопросом к Таранову:

— Считаете ли вы, что это произведение сочинил композитор Овсяннико-Куликовский?

— Позвольте мне позднее ответить на ваш вопрос. Сперва я хотел бы услышать мнение Гольдштейна.

Я обратил внимание Таранова на то, что процесс создания этой партитуры был связан с целым рядом приемов стилизации. Указал историю наклеек на ранее написанные ноты, напомнил, что мне пришлось сделать правки из-за того, что я забыл о старинных конструкциях медных духовых инструментов. И еще обратил внимание на самый характер оркестровки, который не совсем соответствовал началу XIX века. Таранов был вынужден согласиться с моим мнением.

В конце концов, Таранов сделал заключение, что эта симфония никак не могла быть сочинена в начале XIX века. Но тут же он оговорился, что не считает меня автором симфонии. Такое заключение было сделано без ознакомления с моим творчеством, без попытки даже узнать о нем.

Собственно, Таранов высказал не только свое мнение, но и мнение других лиц, которые пришли к такому заключению.

С чувством разочарования я покидал комнату, где происходил допрос. Мне так хотелось, чтобы я оказался в изолированной комнате и по приказу следователя сочинял симфонию. Обидно. Не состоялось.

Чтобы окончательно поставить точку над *i*, пришлось мне еще совершить поездку в Одессу. Я ничего не имел против. Почему бы не погулять по родному городу?

Как выяснилось, в Одессе меня ожидали сразу три свидетеля. Что они должны были свидетельствовать, сказать трудно. Один из них был театровед Л. Розен. Другой — валторнист из местного симфонического оркестра филармонии. Третий — библиотекарь консерватории. Встреча со всеми свидетелями произошла в один день. Все трое оказались в неловком положении. Они ничего не могли доказать и ничего не знали.

Валторнист вспомнил, что я предлагал ему переписывать оркестровые голоса. Другие говорили всякую чепуху. Сам следователь понял, что он втянут в какую-то дикую историю, и отпустил меня с миром.

Я возвратился в Москву.

ПУБЛИКАЦИИ

Многие музыканты в Москве уже знали историю моей встречи со следственными органами. Ходили всякие анекдоты и, в общем, было очень весело.

А спустя некоторое время московская "Литературная газета" поместила цитированный выше фельетон. После фельетона стало ясно, что симфония уже вовсе не гениальная, что ее незачем исполнять в концертах.

Во втором издании советского "Энциклопедического музыкального словаря" (вышло в Москве в 1966 году) симфония "Овсяннико-Куликовского" попала в статью "Музыкальная подделка" (стр. 331). Здесь же вспомнили, что музыкальными подделками занимались француз Ф. Куперен, Франц Лист, Фриц Крейслер. А французский скрипач М. Казадезюс в 1933 году даже опубликовал якобы найденную им рукопись неизвестного скрипичного концерта В. Моцарта, который носил название "Аделаида". Правда, Крейслеру или Листу не пришлось иметь дело со следственными органами. А жаль, что не оказалось для этой цели дураков. Вот случилась бы такая история с Листом при жизни Сталина — ему бы показали, что значит выдавать свои произведения за композицию Бетховена!



Бенедикт САРНОВ	
Скуки не было	252
Алена ЯВОРСКАЯ	
По составу крови	261
Семен ГЕХТ	
Шмаков и Пранайтис	267

Скуки не было

Под таким названием в московском издательстве "Аграф" выходит первая книга мемуаров известного литературоведа и прозаика Бенедикта Сарнова. Несмотря на времена, им описываемые, скуки действительно не было...

В предлагаемой читателям главе из будущей книги звучит и тема Одессы. А открывает эту главу знаменитая песня "Одесса-мама", написанная еще в 1938 году москвичами Евгением Аграновичем и Борисом Смоленским...

Одесса-мама

В тумане тают белые огни...
Сегодня мы уходим в море прямо.
Поговорим за берега твои,
Родимая моя Одесса-мама.

Мне здесь родиться было суждено
И каждый день любить тебя впервые.
Одесса, мне не пить твое вино
И клешем не уютить мостовые.

Мы все хватаем звездочек с небес.
Наш город гениальностью известен:
Утесов Леня парень фун Одесс,
А Инбер тоже бабелъ из Одессы.

Сам Агасфер — старик космополит
Лечил в Одессе стрепанные нервы.
В своих трудах он прямо говорит:
"Одесса — это мама номер первый".

Был Одиссей бесспорно одессит,
За это вам не может быть сомненья!
А Сашка Пушкин тем и знаменит,
Что здесь он вспомнил чудного мгновенья.

Ты мне один-единственный маяк.
Мне жить теперь так грустно и отвратно...
О, сжался, сжался, мамочка моя,
Ой, мамочка, роди меня обратно!

Итак, у этой знаменитой песни было два автора. Но называют обычно только первого, что, конечно, несправедливо, хотя второму (Борису Смоленскому) принадлежит только один ее куплет.

Вот как рассказывает об этом своем друге-соавторе и об истории создания этой песни Евгений Агранович:

"Борька был на два года моложе меня, еще школьником — а я первокурсник, — но дружба была высшей пробы. Как поэту ему не дали раскрыться полностью, так рано убили на карельском фронте. Сохранилась тонкая тетрадка стихов, порой блестящих, демонстрация таланта, обещание будущего взлета...

Однажды зашел я к нему, пишет что-то. Он бредил бурями и парусами, мечтал о кораблях и океанах. У него был готов куплет как бы от имени моряка, покидающего любимый порт. Но дальше автор не знал, куда плыть. Предложил мне продолжать, сославшись на занятость: надо было бриться. И что там росло? Ну, я переложил руля, круто свернул с морской романтики на дразнилку, гаерскую шутку.

Такая получилась песенка".

(Евгений Агранович. "Я в весеннем лесу пил березовый сок...". М., 1998, стр. 225.)

Публикуя песню, оставшийся в живых автор к строке "А Инбер тоже бабелъ из Одессы" сделал такое подстрочное примечание: "А Бабелъ был еще живой, на свободе". Так оно и было, поскольку песенка была сочинена в 1938-м, а Бабеля арестовали год спустя, в 39-м.

Но и годы спустя, когда самое имя Бабеля давно уже было запретным, неупоминаемым, песенку про "Одессу-маму", вместе с этой вдруг ставшей крамольной строчкой, пели по всей стране. Я же с ней — и с единственным оставшимся в живых ее автором — познакомился в Литературном институте, куда поступил в 1946-м, и куда Женя Агранович, ушедший на войну с первого курса, как раз в это время вернулся.

Главное в этом нашем институте (так, во всяком случае, мне тогда казалось) происходило не на лекциях и даже не на семинарах. Из всей моей литинститутской жизни ярче всего мне запомнилась лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте, так именно вот здесь, на этом подоконнике.

Читали мы там, у подоконника, стихи арестованного Манделя (Коржавина). И никому не приходило в голову, что это может быть опасно. (Впро-

чем, даже на каком-то общеинститутском собрании один из наших студентов-старшекурсников во всеуслышание с трибуны объявил, что арест Мандела он считает ошибкой, потому что арестовали этого великого путаника как раз в то время, когда он стал поворачиваться лицом к советской власти.)

Со смехом, но и с искренним восхищением читали ставшие потом знаменитыми, но тогда мало кому известные четверостишия Коли Глазкова:

Все говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

С восторгом повторяли другое Колино четверостишие, сочиненное им в первый день войны:

Господи! Вступися за Советы!
Охрани страну от высших рас.
Потому что все твои заветы
Гитлер нарушает чаще нас.

И вот это:

Я на мир взираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный!
Чем столетье интересней для историка,
Тем оно для современника печальнее.

Иногда там, у подоконника, возникал и сам Коля. Объяснял, откуда взялась первая, вроде бы никемущная строка этого четверостишия. По пьянке поспорил он как-то с приятелем, — сейчас уж не помню, о чем. По условиям спора проигравший должен был залезть под столик и, сидя там, выдать какой-нибудь новый — обязательно новый, только что родившийся — поэтический текст. Коля проиграл, и вот — выполнил условия этого, как оказалось, весьма плодотворного спора.

Появляясь у нас, Коля всякий раз приносил с собой очередную самодельную книжечку, на картонной обложке которой внизу, где полагалось обозначать, какое издательство выпустило книгу, было выведено: "Самсебязиздат". Или еще короче — "Самиздат". (Вот кто изобрел это, ставшее потом знаменитым, слово.) А на задней стороне обложки этих его самодельных книжечек неизменно значилось: "Тираж — 1 экз.".

Похваставшись очередной своей самиздатовской книжкой, Коля предлагал всем, кто отважится, помериться с ним силой. Но стального его рукопожатия не мог перебороть ни один из наших институтских силачей. Даже Поженян, который частенько тут же, у этого подоконника, давал жelaющим уроки бокса ("хук справа", "хук слева").

Поженян, кстати, кроме этих уроков бокса нередко демонстрировал новичкам — после не слишком долгих просьб и упрашиваний — свой коронный номер. Он читал стихотворение Блока (читал, кстати сказать, замечательно):

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Прочитав, становился на руки и, стоя в такой необычной позе, читал то же стихотворение, но уже в обратном порядке — от последней строки к первой:

Аптека, улица, фонарь.
Ночь, ледяная рябь канала...
И повторится все, как встарь:
Умрешь — начнешь опять сначала.

Все будет так. Исхода нет.
Живи еще хоть четверть века...
Бессмысленный и тусклый свет.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.

Самым поразительным в этом эксперименте было то, что волшебное стихотворение Блока в перевернутом виде оставалось таким же чарующим. И — мало того! — не только весь эмоциональный настрой, но даже и смысл его при этом ничуть не менялся. Скажу даже больше: этот лихой Поженянов номер, пожалуй, даже усиливал трагизм блоковского стихотворения, так сказать, структурно обнажая и подтверждая главную его мысль: вертись хоть так, хоть этак, хоть становись с ног на голову — все равно. Жизнь — замкнутый круг. "Все будет так. Исхода нет".

Здесь же, у подоконника, певали мы любимые наши институтские песни. Главную из них, наш институтский гимн, сочинил Владик Бахнов:

Есть в городе бульвар небезызвестный,
А на бульваре памятников два.
Быть по соседству с ними очень лестно.
Но наш Лицей имеет все права!

Пусть Тимирязев повернулся задом,
И Пушкин прикрывает шляпой зад, —
Сыны Лицея будут только рады,
Что классики за ними не следят.

Знакомые дорожки и тропинки
И коридоров тесненький уют.
Здесь гении в изодранных ботинках
Высокое искусство создают.

До "Прогулок с Пушкиным" Андрея Синявского, вызвавших при своем появлении дружный вопль негодования — и у нас, и в эмиграции (там одна из рецензий на эту книгу называлась простенько, но мило: "Прогулки хама с Пушкиным"), — было еще ох как далеко! Но панибратское, фамильярное, амикошонское отношение к классику было свойственно нам уже тогда. И выражалось оно не только в озорной строчке из этого нашего институтского гимна ("И Пушкин прикрывает шляпой зад"), но и во многих других любимых наших песнях. Хотя бы вот в этой строке из "Одессы-мамы" про Сашку Пушкина, который "тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудного мгновенья". Она, как и упоминание запретного имени Бабеля, тоже несла в себе некий особый, тайный смысл. Ведь еще в 37-м о Пушкине кем-то метко было сказано, что он стал членом Политбюро. А это значило, что так вот, запросто, трепать его имя даже опаснее, чем поминать всуе имя Господа Бога. Пожалуй, не менее опасно, чем имя земного нашего бога — Сталина.

Женя Агранович не только сочинял стихи, но и сам подбирал к ним мелодии. О нем можно сказать, что он был первым нашим бардом. (А ведь еще целую эпоху — и какую! — предстояло прожить до появления первых песен Булата, Галича, Высоцкого.) Не могу утверждать, что мелодия песни про Одессу была им сочинена. Скорее — именно подобрана. Но прелесть этой, как и многих других его песен, состояла в том, что текст ее рождался одновременно с мелодией. Мелодия была не одеждой, не платьем, а плотью песни. Текст и мелодия были, как сказано в Евангелии про мужа и жену, — едины плотью. И этому ничуть не мешало то обстоятельство, что иногда Женя подбирал (тут, пожалуй, даже уместнее сказать — сочинял) мелодии и на чужие тексты.

Самой знаменитой (без преувеличения можно сказать, знаменитой на всю страну) была в те годы песня "Пыль", написанная им в соавторстве с Редиардом Кипплингом. Точнее, — с переводчицей британского поэта

А. Анашкович-Яциной, которая создала совершенно изумительный русский текст этого кипплинговского стихотворения:

День-ночь-день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь — все по той же Африке —
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!..

Брось-брось-брось-брось — видеть то, что впереди,
(Пыль-пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог!)
Все-все-все-все — от нее сойдут с ума,
И отпуска нет на войне!..

Я-шел-сквозь-ад — шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы — ни жаровен, ни чертей,
А только пыль-пыль-пыль — от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!

Эту свою песню Женя сочинил в сорок первом. В первые дни войны был сформирован в Москве из студентов и других добровольцев 22-й истребительный батальон. В числе этих добровольцев были и наши — литинститутовцы: Миша Львовский, Сергей Наровчатов, Сергей Смирнов (будущий автор "Брестской крепости"). Был среди них и он — Женя Агранович. В своей роте он был запевалой. Но что петь? "Если завтра война?" — так война была уже сегодня, и сразу стало ясно, что будет она совсем не такая, как предсказывалось в той бодрячком песне. Так же мало гондились в той обстановке и другие предвоенные советские песни про то, как, "гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход" и "первый маршал в бой нас поведет".

На марше всплыли у Жени в голове любимые строчки Кипплинга, и он сам не заметил, как из топота сапог и хриплого дыхания товарищей стала складываться, рождаться мелодия. Сперва робко, неуверенно попробовал запеть. Товарищи по роте — свои, литинститутские мальчишки — слова Кипплинга знали не хуже, чем он. Тут же подхватили. А через день новую песню на марше пел уже весь батальон. И даже комиссар пел вместе со всеми стихами "барда британского империализма".

Что-то он, правда, почувствовал своим партийным, классовым чутьем. Спустя несколько дней сказал Жене:

— Песня хорошая. Только вот слова какие-то не наши. Ты б заменил, а? Заменить все кипплинговские слова было не в Жениной власти: песня

ему уже не принадлежала. Но постепенно к каноническим, киплинг-ским куплетам он стал добавлять новые, свои:

Семь-дней при-каз: шире шаг и с марша в бой!
Но драз-нит нас близкий дым передовой.
Пыль-пыль-пыль-пыль от шагающих сапог
Отдыха нет на войне.

Го-да прой-дут, — вспомнит тот, кто уцелел.
Не смерт-ный труд, не бомбежку, не обстрел,
А только пыль-пыль-пыль от шагающих сапог,
Отдыха нет на войне.

В этих новых, Жениных куплетах не было и тени крамолы (да, собственно, и в киплинг-ских тоже — разве только одиозное имя их автора). Сочиняя эту свою песню, он и думать не думал о том, чтобы встать "поклонениям и толпам поперек", противопоставив ее строй и лад строю и ладу тех бодрых, зажигательных маршей, которые неслись тогда из всех репродукторов: "Легко на сердце от песни веселой...", "Нам песня строить и жить помогает...", "Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух...", "Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, то всегда найдет!.."

Энергия этого повсеместно звучащего "марша энтузиастов" полностью исчерпала себя в более поздние времена. (Тогда-то покорили в одночасье всю страну песни Булата, Галича, Высоцкого.) Но и в те времена, о которых я рассказываю, энергия эта уже стала постепенно иссякать. И само собой вышло так, что марш Киплинга в аранжировке Жени Аграновича — быть может, даже независимо от намерений и воли автора — стал противовесом этому, уже порядком обрыдшему всем нам "маршу энтузиастов".

Годы спустя, уже в новую, другую эпоху, у другого литинститутского поэта, Миши Львовского, — как я уже сказал, он тоже в первые дни войны был в том 22-м истребительном батальоне, — выплеснулось из души такое коротенькое стихотворение:

Самогон — фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге — мутной, ржавой,
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,

Хоть и горькая она.

Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!

Так вот, хотел того Женя Агранович или не хотел, но его "киплинговский марш" был именно вот таким "самогоном", к которому всех нас инстинктивно тянуло тогда "от казенного вина".

Таким "самогоном", к которому всех нас тянуло "от казенного вина", были все тогдашние наши институтские шлягеры. Даже самые невинные. Терпкий аромат этого "самогона" был сладок нам уже только тем, что в нем начисто отсутствовал тот "особый запах тюремных библиотек, который исходил от советской словесности". (Выражение В. Набокова.)

Почти все они были пронизаны духом пародии. И, конечно, не только потому, что главным их автором был будущий знаменитый наш пародист Владлен Бахнов. (Иногда он сочинял их в соавторстве с кем-нибудь, чаще в одиночку.)

В одной из своих песен-эпиграмм Владик ненароком прикоснулся к теме, которой в недалеком будущем предстояло обрести весьма далекий от юмора смысл. Но тогда она еще звучала юмористически и вполне безмятежно:

Агранович нынче — Травин,
И обычай наш таков:
Если Мандель стал Коржавин,
Значит, Мельман — Мельников!

Тут, пожалуй, не до смеха:
Не узнает сына мать!
И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать!

Беспечный автор этих строк словно предчувствовал, что скоро тут будет совсем не до смеха: ведь сочиняя их, он, как и мой покровитель Борис Владимирович Яковлев, еще не знал, что вот-вот разразится землетрясение.

Но даже в тех песнях и стихах, в которых, казалось бы, даже самый строгий цензор не мог бы унюхать никакой крамолы, все равно было что-то "самогонное", рожденное инстинктивным отталкиванием от тошнотворного "казенного вина". Ну какими своими приметам могла противостоять "запаху тюремных библиотек" такая, например, не шибко осмыс-

ленная песня, тоже принадлежавшая к числу самых наших любимых (она досталась нам в наследство от литинститутцев старшего поколения):

Я влюблен в шофершу Нинку робко,
Вам в подарок от меня коробка.

Подаю, как кавалер, манто вам,
И стихи поэта Лермантова.

По заборам я, голуба, лазаю,
Чтоб увидеть вас, голубоглазую.

А душа поет, как флажолета,
Выпирая из угла жилета.

Были там еще какие-то строчки, которых я уже не помню. Помню только, что заканчивался этот иронический романс так:

Уроню аккорды с пианина,
Сядь со мной на форд и спи, о Нина!

Исходящий ото всей тогдашней печатной продукции "запах тюремных библиотек", о котором говорил Набоков, был неистребим. Им были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорывавшиеся сквозь все мыслимые и немыслимые цензурные и редакторские заслоны.

Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочинений, как отличается белье, полученное из прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе.

Вот поэтому-то неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством ("А Сашка Пушкин тем и знаменит, что тут он вспомнил чудного мгновенья...") воспринимались как глоток свежего воздуха. Это, в сущности, и был тот ворованный воздух, о котором говорил Мандельштам.

Нечто подобное, вероятно, имел в виду и Михаил Михайлович Зощенко, когда, прочитав какой-нибудь унылый советский роман, говорил:

— Ну, это диктант...

Весь этот наш институтский фольклор был хорош уже тем, что это был не диктант. Каким бы пустяком ни был какой-нибудь очередной стишок, звучавший на очередном нашем институтском капустнике, какими бы относительными и даже сомнительными ни были его художественные достоинства, он всегда оставался вольным сочинением на вольную тему.

По составу крови

"Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови... Таким писателем был Гехт", — писал К. Паустовский.

Семен Григорьевич Гехт не вошел в число звезд первой величины южнорусской литературной школы. Он упоминается в литературных словарях, но все же имя и творчество его сегодня практически забыто. И знают его в основном как персонажа книги Паустовского, много и тепло о Гехте вспоминавшего.

Согласно справочникам, Гехт родился 14(23) марта 1903 года в Одессе. Но в книге одесского раввина за 1903 год запись о рождении отсутствует.

В семье было три сына. Старший Давид, Семен и младший — Шулим. Родители погибли во время погрома 1905 года. Семен Гехт жил в семье Давида (дочь Давида была немного старше своего дяди). О юности Гехта известно немного. По семейным воспоминаниям, Семен был замкнут, немногословен, очень любил читать. Часто уединялся и писал стихи. Фира Раскина, племянница Гехта, со слов матери знает, что он уехал в Москву еще в 1919 на крыше паровоза.

В действительности он жил в Одессе до 1923 г. Работал рассыльным в типографии, наборщиком.

В это же время Гехт подружился с молодым поэтом Сергеем Бондариним. И — удивительная вещь! — судьбы их во многом повторяют друг друга. Оба — ученики Э. Багрицкого, обоим покровительствовал И. Бабель, влюблены были в одну и ту же девушку — Генриетту Адлер, были фронтовыми журналистами, арестованы в 1944, отсидели, вернулись, остались друзьями.

С. Бондарин, вспоминая зиму 1920-1921 года и вечера в "Коллективе художниц" — там обитали милые девушки Маруся Тарасенко (будущая жена И. Ильфа), Генриетта Адлер (будущая жена Бондарина), Тоня Трепке и Рая Менделевич, туда приходили Э. Багрицкий, И. Ильф, Л. Славин, — писал: "Пришел задумчивый пролетарий Гехт в кожаной куртке наборщика, попахивающей свинцом".

22 января 1922 на страницах литературного приложения к газете "Известия Одесского губпрофсовета, губисполкома и губкома КП(б)У" были напечатаны стихи С. Гехта "9 января". Стихи и рассказы его стали появляться в дневном и вечернем выпусках "Известий", на страницах журналов "Силуэты" и "Шквал".

Гехт, как и многие начинающие литераторы, посещал литературную организацию "Потоки Октября", лидером которой был Э. Багрицкий. "В кружке этом я познакомился осенью 1922 года со всеми одесскими литераторами того времени".

ленная песня, тоже принадлежавшая к числу самых наших любимых (она досталась нам в наследство от литинститутцев старшего поколения):

Я влюблен в шофершу Нинку робко,
Вам в подарок от меня коробка.

Подаю, как кавалер, манто вам,
И стихи поэта Лермантова.

По заборам я, голуба, лазаю,
Чтоб увидеть вас, голубоглазую.

А душа поет, как флажолета,
Выпирая из угла жилета.

Были там еще какие-то строчки, которых я уже не помню. Помню только, что заканчивался этот иронический романс так:

Уроню аккорды с пианина,
Сядь со мной на форд и спи, о Нина!

Исходящий ото всей тогдашней печатной продукции "запах тюремных библиотек", о котором говорил Набоков, был неистребим. Им были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорывавшиеся сквозь все мыслимые и немыслимые цензурные и редакторские заслоны.

Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочинений, как отличается белье, полученное из прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе.

Вот поэтому-то неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством ("А Сашка Пушкин тем и знаменит, что тут он вспомнил чудного мгновенья...") воспринимались как глоток свежего воздуха. Это, в сущности, и был тот ворованный воздух, о котором говорил Мандельштам.

Нечто подобное, вероятно, имел в виду и Михаил Михайлович Зощенко, когда, прочитав какой-нибудь унылый советский роман, говорил:

— Ну, это диктант...

Весь этот наш институтский фольклор был хорош уже тем, что это был не диктант. Каким бы пустяком ни был какой-нибудь очередной стишок, звучавший на очередном нашем институтском капустнике, какими бы относительными и даже сомнительными ни были его художественные достоинства, он всегда оставался вольным сочинением на вольную тему.

По составу крови

"Есть люди, без которых невозможно представить себе настоящую литературную жизнь. Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей сути, по составу крови... Таким писателем был Гехт", — писал К. Паустовский.

Семен Григорьевич Гехт не вошел в число звезд первой величины южнорусской литературной школы. Он упоминается в литературных словарях, но все же имя и творчество его сегодня практически забыто. И знают его в основном как персонажа книги Паустовского, много и тепло о Гехте вспоминавшего.

Согласно справочникам, Гехт родился 14(23) марта 1903 года в Одессе. Но в книге одесского раввина за 1903 год запись о рождении отсутствует.

В семье было три сына. Старший Давид, Семен и младший — Шулим. Родители погибли во время погрома 1905 года. Семен Гехт жил в семье Давида (дочь Давида была немного старше своего дяди). О юности Гехта известно немного. По семейным воспоминаниям, Семен был замкнут, немногословен, очень любил читать. Часто уединялся и писал стихи. Фира Раскина, племянница Гехта, со слов матери знает, что он уехал в Москву еще в 1919 на крыше паровоза.

В действительности он жил в Одессе до 1923 г. Работал рассыльным в типографии, наборщиком.

В это же время Гехт подружился с молодым поэтом Сергеем Бондариним. И — удивительная вещь! — судьбы их во многом повторяют друг друга. Оба — ученики Э. Багрицкого, обоим покровительствовал И. Бабель, влюблены были в одну и ту же девушку — Генриетту Адлер, были фронтовыми журналистами, арестованы в 1944, отсидели, вернулись, остались друзьями.

С. Бондарин, вспоминая зиму 1920-1921 года и вечера в "Коллективе художниц" — там обитали милые девушки Маруся Тарасенко (будущая жена И. Ильфа), Генриетта Адлер (будущая жена Бондарина), Тоня Трепке и Рая Менделевич, туда приходили Э. Багрицкий, И. Ильф, Л. Славин, — писал: "Пришел задумчивый пролетарий Гехт в кожаной куртке наборщика, попахивающей свинцом".

22 января 1922 на страницах литературного приложения к газете "Известия Одесского губпрофсовета, губисполкома и губкома КП(б)У" были напечатаны стихи С. Гехта "9 января". Стихи и рассказы его стали появляться в дневном и вечернем выпусках "Известий", на страницах журналов "Силуэты" и "Шквал".

Гехт, как и многие начинающие литераторы, посещал литературную организацию "Потоки Октября", лидером которой был Э. Багрицкий. "В кружке этом я познакомился осенью 1922 года со всеми одесскими литераторами того времени".

В апреле 1923 г. Семен Гехт и его друг Сергей Бондарин собираются ехать в Москву. И. Бабель пишет две небольшие рекомендательные записки — В. Нарбуту и М. Кольцову.

"Друг мой, Владимир Иванович.

Вот два бесшабашных парня. Я их люблю, поэтому и пишу им рекомендацию. Они нищи до крайности. Думаю, что могут сгодиться на что-нибудь. Рассмотрите их орлиным своим оком <...>".

"От Бабеля, без вести пропавшего, заточившего себя добровольно — Кольцову, прославленному древле от всех.

Вот Гехт и Бондарин. Их актив: юношеская продерзость и талант, который некоторыми оспаривается. В пассиве у них то же, что в активе. Им, как и пролетариату, нечего терять. Завоевать же они хотят прожиточный минимум. Отдаю их под вашу высокую руку. — От сего дня в непродолжительном времени я напишу вам о себе письмо.

Ваш И. Бабель"

Письма Бабеля датированы 17 апреля, первое известное письмо Гехта из Москвы Марии Тарасенко — 30 апреля: "Я сдал для журнала (ежемесячник) Ингулову одну вещь небольшую. Это и очерки в "Огоньке" дают мне возможность держаться здесь. У Сережи дела обстоят хуже. Одними стихами здесь даже Асеев и Пастернак не живут. Нужно быть газетчиком и журналистом. Сереже это не удается". После непродолжительного пребывания в Москве один из друзей вернулся в Одессу (второй остался завоевывать столицу).

Первая публикация С. Гехта в журнале "Огонек" 6 мая — очерк "Одесса". Вот и пригодились записка Бабеля. Практически в каждом номере журнала появляется очерк или рассказ Гехта, в крайнем случае — перевод с еврейского. Стихи он, похоже, после переезда в Москву перестал писать.

"Я нигде не служу, ибо не хочу. Предлагали кое-какие должности по газетам — отказался. Но работаю много. Успел уже хорошо зарекомендовать себя в лучших журналах и деньги вообще — в пределах, конечно, добываю легко" (из письма к Г. Адлер от 15 сентября 1923). Правда, Эмиль Миндлин вспоминал о тех временах: "Печатались в газетах и еженедельниках, но это нисколько не избавляло нас от мучительного безденежья. Гонорары были ничтожны. Стоило получить гонорар — и даже у бережливого Гехта он улетучивался с пугающей быстротой".

Публиковался он в знаменитой газете "Накануне" (с легкой руки В. Катаева), в "Гудке" вместе с Ю. Олешей, И. Ильфом, М. Булгаковым.

Сохранялся круг общения — к 1923 почти все начинавшие в Одессе поэты и прозаики перебрались в Москву. Этим же годом принято датировать предисловие И. Бабеля к планировавшемуся сборнику семи одесских писателей. Начинает он характеристику авторов с Гехта: "<...> Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и неизведанной никем другим <...>". Гехт был спутником Бабеля в его шатаниях по Москве. Знако-

мая его с Есениным, Бабель сказал: "Это мой сын". В шутке этой большая доля правды — уж литературным отцом Гехта Бабель, бесспорно, был. Ильф подтрунивал в письме к Генриетте: "Гехт бредит письмом и Бабелем. Письма все нет, а Бабеля слишком много".

В 1927 году вышли сразу две книги С. Гехта: повесть "Человек, который забыл свою жизнь" и сборник рассказов "Шмаков и Пранайтис".

К 1928 году Гехт был женат на Вере Михайловне Синяковой. О семье Синяковых писала Лиля Брик: "Синяковых пять сестер. Каждая из них по-своему красива. Жили они раньше в Харькове, отец у них был черносотенец, а мать человек передовой и безбожница. Дочери бродили по лесу в хитонах, с распущенными волосами и своей независимостью и эксцентричностью смущали всю округу. В их доме родился футуризм. Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев". Портрет Веры писали Бурлюк и Маяковский.

В. Хлебников в поэме "Синие оковы" писал о Вере:

О, Синяя!.....

Ваши семнадцать лет какою звездочкой сверкали.

С 1928 по 1939 у Гехта вышли одиннадцать книг, наверное, самая экзотическая из них о жизни Палестины — "Пароход идет в Яффу и обратно" (1936).

Во время Великой Отечественной войны Семен Гехт стал военным корреспондентом газеты "Гудок", где начинал работать в юности.

Весной 1944 г. он был арестован. Так как дело из архива НКВД в Одессе недоступно, приходится ограничиваться воспоминаниями родных и современников. Они связывали воедино два ареста — С. Гехта и С. Бондарина. По словам Г. Адлера: "Их [Бондарина и Гехта. — **А. Я.**] взяли по одному делу — хоть служили они в разных местах. Сергей Александрович был военным журналистом на флоте". Эту версию подтверждал и Саул Боровой: "Бондарин и Гехт в конце войны были арестованы. Якобы — по глупости Гехта, который чем-то громко возмущался и привел в свидетели Бондарина".

Сидевший в лагере переводчик Л. Шерешевский: "Гехт, как и другие, ничего о своем деле не говорил. Я знал только, что вместе с ним осужден был и писатель Сергей Бондарин, что они были военными корреспондентами, ездили в только что освобожденную от захватчиков Одессу и вскоре попали под решение Особого совещания". Сам Бондарин писал в дневнике, что причиной ареста стало письмо его сослуживца по Черноморскому флоту, журналиста Улина Сталину, о том, "...что, де, с писателями обращаются неразумно, недостойно, заставляя их мыслить на уровне репортеров...". Его арестовали 3 марта 1944 года.

Последняя из обнаруженных фронтовых публикаций С. Гехта "Сын Одессы" в газете "Красная звезда" датирована 11 апреля (на следующий день после освобождения Одессы). Семен Гехт успел до ареста побывать в освобожденной Одессе, встретился с некоторыми из участников литературного кружка. По воспоминаниям родных, в библиотеке

им. М. Горького, читал подшивки газеты "Молва", выходившей в Одессе во время оккупации. Это и послужило причиной ареста. Гехт был приговорен к 10 годам лагерей (по другим данным — к 8), С. Бондарин — к 8.

Летом 1945 Семена Григорьевича отправили в подмосковный лагерь при экспериментальном заводе МВД. "На нем была офицерская гимнастерка, поверх которой надет штатский пиджак, его облысевшая голова покрыта была темной кепкой, из-под козырька которой глядели какие-то отрешенные глаза". Лагерь славился довольно либеральным отношением к заключенным, дважды в месяц (в выходные) там устраивались литературные вечера. Гехт вел неофициальный литературный семинар (среди заключенных было много молодых литераторов). Принимались передачи — в них Вера Михайловна вкладывала и свежие литературные журналы, которые давал ей В. Гроссман. После ареста мужа она жила в семье Н. Асеева.

Летом сорок шестого за отказ давать показания на соседей по барaku Гехт попал в Коми АССР, где были известные строгим режимом лесные лагеря под поселком Вожагель.

"<...> уже будучи известным писателем, стал жертвой навета, — он изучил профессию лесоруба, был разносчиком молока в детских яслях, сторожем в парке".

После освобождения и реабилитации Гехт, в отличие от Бондарина, который еще на поселении начал вести дневник и потом писал "в стол" лагерные "Капкаринские записки", вычеркнул эти годы из памяти.

"Гехт и в самом деле довольно печален, хотя и слыл прежде записным застольным весельчаком, что ли... Если не весельчаком, то болтуном. Его известное происшествие [т.е. арест. — **А. Я.**] помяло больше, чем других, он очень постарел", — писал Бондарин в 1960 их одесской приятельнице Татьяне Стах.

В 1959 году Гехт побывал в Одессе, встретился там с друзьями юности и родными.

С. Гехт написал еще четыре книги: "Будка соловья" — о жизни леспрохмоза (бесспорно, основанную на лагерных впечатлениях, но ни словом о лагерях не напоминавшую); "Три плова", "В гостях у молодежи".

Он был очень болен, здоровье его подорвали лагеря. Почти полгода провел Гехт в больнице. Паустовский привозил из Парижа редчайшие лекарства, но и они лишь ненадолго останавливали болезнь. В разговоре с врачом Паустовский сказал, что Гехта необходимо спасти, невозможно представить литературу без него. Ту же фразу он повторил в некрологе: "...ушла молодость нашего поколения".

В Советском Союзе книги Гехта не переиздавались, в 1983 г. в Иерусалиме вышла книга "Простой рассказ о мертвецах и др. рассказы".

Алена ЯВОРСКАЯ

Семен Гехт — Генриетте Адлер

1

15 сентября 23

Милый друг, Генриетта!

Ваше письмо я получил пятью днями позже, чем следовало. Это случайность, которая более не повторится.

Я очень рад, что вы ответили сейчас же, не оттягивая времени. Я только теперь обретаю право на отдых и работу. Все время я метался в горячке и тревоге.

Уезжая из Одессы, я не снялся с учета, здесь же три месяца не был нигде прописан — пахло обидными неприятностями. Ныне все это великолепно улажено. Я вполне легален, у меня все бумаги и пр.

На сегодняшний день (простите за излишние пожалуй детали, но ведь я пишу о себе — так установлено) я не имею отдельной комнаты. Она будет у меня только через неделю или (в крайнем случае) через 12 дней.

За комнату приходится уплатить сразу слишком солидные деньги и не удивительно, что произошла столь долгая заминка.

Я нигде не служу, ибо не хочу. Предлагали кое-какие должности по газетам — отказался.

Но работаю много. Успел уже хорошо зарекомендовать себя в лучших журналах и деньги вообще — в пределах, конечно, добываю легко.

Я сейчас связываюсь с одним хорошим театром, буду писать пьесу, веселую комедию, очень веселую — непременно! А вы грустите.

Но я не могу писать ободряющих, утешающих слов, ибо нет ничего глупее, чем утешать человека, который грустит. Но мне было (надо сознаться) больно, когда я читал эти полуотвлеченные, полупессимистические (плохое слово, зато со смыслом) строки.

В Москве — бабье лето. Но по утрам уже легкие морозы и к вечеру надо одевать пальто. Снега, пожалуй, уже на носу. Что ж, тем лучше. Есть такая восточная (полуперсидская, полужеврейская) поговорка: "Все к лучшему — вообще и это к лучшему — в частности". Какая жуткая и вместе с тем крепкая-крепчайшая поговорка.

Кстати: вам письмо передала Тоня. Я вручил его ученику Одесск. акад. Фурману, так как не знал вашего точного адреса. Тони я в Москве не видел. Мы с Илей были у нее дважды — не нашли.

В ожидании вашего письма (совсем по-канцелярски — что ж)

Гехт

им. М. Горького, читал подшивки газеты "Молва", выходившей в Одессе во время оккупации. Это и послужило причиной ареста. Гехт был приговорен к 10 годам лагерей (по другим данным — к 8), С. Бондарин — к 8.

Летом 1945 Семена Григорьевича отправили в подмосковный лагерь при экспериментальном заводе МВД. "На нем была офицерская гимнастерка, поверх которой надет штатский пиджак, его облысевшая голова покрыта была темной кепкой, из-под козырька которой глядели какие-то отрешенные глаза". Лагерь славился довольно либеральным отношением к заключенным, дважды в месяц (в выходные) там устраивались литературные вечера. Гехт вел неофициальный литературный семинар (среди заключенных было много молодых литераторов). Принимались передачи — в них Вера Михайловна вкладывала и свежие литературные журналы, которые давал ей В. Гроссман. После ареста мужа она жила в семье Н. Асеева.

Летом сорок шестого за отказ давать показания на соседей по барaku Гехт попал в Коми АССР, где были известные строгим режимом лесные лагеря под поселком Вожагель.

"<...> уже будучи известным писателем, стал жертвой навета, — он изучил профессию лесоруба, был разносчиком молока в детских яслях, сторожем в парке".

После освобождения и реабилитации Гехт, в отличие от Бондарина, который еще на поселении начал вести дневник и потом писал "в стол" лагерные "Капкаринские записки", вычеркнул эти годы из памяти.

"Гехт и в самом деле довольно печален, хотя и слыл прежде записным застольным весельчаком, что ли... Если не весельчаком, то болтуном. Его известное происшествие [т.е. арест. — **А. Я.**] помяло больше, чем других, он очень постарел", — писал Бондарин в 1960 их одесской приятельнице Татьяна Стах.

В 1959 году Гехт побывал в Одессе, встретился там с друзьями юности и родными.

С. Гехт написал еще четыре книги: "Будка соловья" — о жизни леспромхоза (бесспорно, основанную на лагерных впечатлениях, но ни словом о лагерях не напоминавшую); "Три плова", "В гостях у молодежи".

Он был очень болен, здоровье его подорвали лагеря. Почти полгода провел Гехт в больнице. Паустовский привозил из Парижа редчайшие лекарства, но и они лишь ненадолго останавливали болезнь. В разговоре с врачом Паустовский сказал, что Гехта необходимо спасти, невозможно представить литературу без него. Ту же фразу он повторил в некрологе: "...ушла молодость нашего поколения".

В Советском Союзе книги Гехта не переиздавались, в 1983 г. в Иерусалиме вышла книга "Простой рассказ о мертвецах и др. рассказы".

Алена ЯВОРСКАЯ

Семен Гехт — Генриетте Адлер

1

15 сентября 23

Милый друг, Генриетта!

Ваше письмо я получил пятью днями позже, чем следовало. Это случайность, которая более не повторится.

Я очень рад, что вы ответили сейчас же, не оттягивая времени. Я только теперь обретаю право на отдых и работу. Все время я метался в горячке и тревоге.

Уезжая из Одессы, я не снялся с учета, здесь же три месяца не был нигде прописан — пахло обидными неприятностями. Ныне все это великолепно улажено. Я вполне легален, у меня все бумаги и пр.

На сегодняшний день (простите за излишние пожалуй детали, но ведь я пишу о себе — так установлено) я не имею отдельной комнаты. Она будет у меня только через неделю или (в крайнем случае) через 12 дней.

За комнату приходится уплатить сразу слишком солидные деньги и не удивительно, что произошла столь долгая заминка.

Я нигде не служу, ибо не хочу. Предлагали кое-какие должности по газетам — отказался.

Но работаю много. Успел уже хорошо зарекомендовать себя в лучших журналах и деньги вообще — в пределах, конечно, добываю легко.

Я сейчас связываюсь с одним хорошим театром, буду писать пьесу, веселую комедию, очень веселую — непременно! А вы грустите.

Но я не могу писать ободряющих, утешающих слов, ибо нет ничего глупее, чем утешать человека, который грустит. Но мне было (надо сознаться) больно, когда я читал эти полуотвлеченные, полупессимистические (плохое слово, зато со смыслом) строки.

В Москве — бабье лето. Но по утрам уже легкие морозы и к вечеру надо одевать пальто. Снега, пожалуй, уже на носу. Что ж, тем лучше. Есть такая восточная (полуперсидская, полужеврейская) поговорка: "Все к лучшему — вообще и это к лучшему — в частности". Какая жуткая и вместе с тем крепкая-крепчайшая поговорка.

Кстати: вам письмо передала Тоня. Я вручил его ученику Одесск. акад. Фурману, так как не знал вашего точного адреса. Тони я в Москве не видел. Мы с Илей были у нее дважды — не нашли.

В ожидании вашего письма (совсем по-канцелярски — что ж)

Гехт

Тоня — Антонина Тренке, дочь одесского архитектора Вольдемара Тренке. В 1920 — одна из участниц "Коллектива художниц". Позднее уехала в Москву, в 1924 семья эмигрировала во Францию. И. Ильф встретился с ней в Париже. Открытка с рассказом о встрече хранится в семейном архиве А. Ильф. Г. Адлер говорила, что позднее Тоня жила в Америке.

Иля — Илья Ильф.

22 ноября

Милая Генриетта!

Я сейчас на почтамте. Замерзшая рука с трудом выводит буквы. Холодновато.

Я смотрел вчера вечером "Капризы мисс Мей" с Мери Пикфорд. И что же? В некоторых местах маленькая Пикфорд похожа на вас. Это нашел не я, а Иля. Он пришел позавчера вечером.

— Гехт, — сказал он, — вы хотите увидеть сейчас Генриетту?

— ??

— Отправляйтесь на Арбатскую площадь в кино б. Художественный.

— Ах, — протянул я, догадываясь, — вот что...

— Да, — ответил он тоном полпреда, раздувая ноздри, — вот оно что!

Я не побежал к Арбатским воротам, потому что было уже около 12 и кончался последний сеанс.

Вчера я просидел зато весь вечер. У меня теперь уйма забот о всевозможных регистрациях и я бегаю затравленной крысой по Москве.

Я успел уже подружиться с двумя редакциями, теперь я имею дело с другими тремя редакциями — Москва — провинция большая и жить в ней весьма забавно.

Милая, дорогая, родная Генриетта, ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся, Иля и я.

Катаев захлестывал Мусю экспансивными поцелуями (он это делает с 4-х часов дня до часу ночи — публично).

Иля сидел мрачный — нет писем и все такое. Я сидел тоже мрачный — день был чересчур неприятный. И вот — легкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть, ящик свистнул, почтальон ушел.

— Друзья, письмо! — сказал Катаев.

— Это от мамы! — крикнула Муся.

— Это мне! — процедил сквозь зубы Иля.

А я молчал.

Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнес вяло.

— Это для Гехта.

А я-то был рад. Я обладаю (на двадцать коп.) пророческим даром. Чу- десно, Генриетта!

Я хотел бы, что это письмо не было вами получено, ибо это означало бы...

Это означало бы, что вы выехали, что вы в пути, что вы миновали Кру- ты и Нежин, что вы пересекаете Черниговщину, что ваш состав ползет, замедляя ход, по слабым мостам, через Десну, через маленькую, узкую Дес- ну — ах, Десна, дни мои, слезы мои!

Но если вы еще там, на ул. Петра Великого, в темном двореке, где ка- менные плиты и дикий виноград, если вы еще там, напишите точнее, по- подробнее о вашем переезде сюда, в Москву.

Милая, дорогая, родная Генриетта, целую вас и жду ответа.

Гехт

...с Мери Пикфорд — Пикфорд (1893-1979), популярная американская актриса, одна из звезд немого кино.

Муся — очевидно, жена В. Катаева.

...на ул. Петра Великого — Г. Адлер жила на улице Петра Великого, д. 25.

Семен ГЕХТ

Шмаков и Пранайтис*

Если хотите избежать скандала и побоев, садясь играть на толкучке в шашки, условливайтесь заранее. Скажите просто: "Я играю с фукой", или: "Я играю без фуки. Идет?".

И тогда начинайте кампанию. Выдвигайте боковые по диагонали или пускайте в ход все передние, или освобождайте скорее дамочное поле, чтоб не закрыть себе ходу, потом — как хотите. Но условие прежде всего. А то вы подвинули шашку и ждете, чтобы противник ее побил, тогда вы съедите у него три штуки подряд и залезете в дамки прямо на косое поле — и вдруг окажется, что сосед не берет: я, мол, играю с фукой, и все ваши планы разбиты.

Федор Шмаков был таким ненадежным человеком. С фукой у него всегда дело обстояло неважно, и на веку его бывало все — и скандалы, и побои. Садовническому надзирателю истории эти так надоели, что он однажды устроил облаву на толкучку и конфисковал все шашки. Постра- давшие подали кассацию районному. Районный сказал надзирателю, что конфисковать запрещено, надо бороться иначе, и сделал ему выговор по нисходящей линии. Надзиратель выслушал мораль с недоумением, но шашки вернул.

*Рассказ из книги "Шмаков и Пранайтис", 1927.

Засядут эти толкучники с утра, и конца не видно. Уже милиционер себе глотку отсвищет, пора разогнать рынок, а толкучники сверлят друг друга и сверлят. Потом унесут шашки в пивную, там продолжают, пока служащие не попросят освободить помещение.

— Три часа ночи, товарищи. Скоро опять откроем.

Перед пасхой много народу ходило на толкучку. Не то, что с Краснохолмской или Таганки, — из-под Симонова монастыря приходили покупать одежду. Федор Шмаков торговал штанами, все были на один фасон: пуговицы сзади, как у матросов, и добротный клеш, разглаженный по последней довоенной моде. Пранайтис продавал сапоги на железных гвоздях, с короткими голенищами и резиновыми ушками. Настоящих фамилий этих двух толкучников никто не знал. Садовнические евреи — есть и такие — прозвали Федора Шмаковым, а Станислава — Пранайтисом. Первого за то, что не любил евреев и поляков, второго за ненависть к тем же евреям и русским. Толкучка не любит настоящих фамилий. Каждая кличка, будь она сто раз неудачна, прилипает к человеку на всю жизнь. Так и остался Федор — Шмаковым, а Станислав — Пранайтисом.

На этот раз они сели играть в шашки в час дня. К этому времени Шмаков расторгнулся немного, и у него осталось всего девять пар штанов. Пранайтису не везло, и все шесть пар сапог так и остались у него на плече. Пасхальные покупатели искали сапоги с длинными голенищами, чтобы повыше коленки загибались, а Пранайтисовы еле икры обтягивали.

— Как дела, пся крев? — спросил Шмаков.

— Фортуна, кацап, в отпуск ушла, — уныло ответил Пранайтис, показав на нетронутый товар.

— Играем сегодня?

— Финансы подгуляли, пан холира.

— По полтиннику. Идет?

— И полтинники долго жить приказали, — совсем в русском духе ответил Пранайтис. Он родился в России и о Польше знал только из газет да писем от какой-то краковской тетки. Друзья пикировались еще немного, потом решили играть на товары. Возник вопрос, как оценить каждую вещь. Шмаков предложил вещь против вещи. Он ставит штаны, Пранайтис — сапоги.

— Хитрый ты, кацап, — сказал Пранайтис, — только, что у поляка в пятке, то русская голова в себе не уместит. Клади три пары.

— Тебя, видно, тетка с Ротшильдом прижила, пся крев, — ответил Шмаков, — жила ты, любого Мошку перещеголяешь.

Остановились, наконец, на двух парах штанов за одну пару сапог. О фуке друзья не говорили вовсе. В этом году фука считалась старомодной и на толкучке была в загоне. Играть с фукой было все равно, что танцевать сейчас в обществе танго или читать Потапенко.

Уместились они играть в железном ряду. Приспособили для сидений два бака, а шашки положили на травку. Шмакову выпали белые, и кампанию открыл он. Толкучники окружили их со всех сторон, налезая друг на друга. Образовалось два этажа зрителей. Никто не вмешивался и не подсказывал, за непрошенные советы на рынке били морду и остракировали на долгий срок.

Шмаков выдвинул боковую шашку в левый угол. Пранайтис пошел соседней, угрожая съесть. Шмаков защитил, Пранайтис перешел на правый угол. Шмаков подставил, если Пранайтис возьмет, будет выигрыш на одну. Пранайтис взял, только другой шашкой — чистый обмен. Шмаков пустил в ход среднюю шашку. Пранайтис задумался.

Начало, как видите, самое обыкновенное, трудно еще сказать, на чьей стороне перевес. Публика была недовольна. Ни атака Шмакова, ни защита его противника не нравились ей. Досада выражалась молча, не надо расстраивать, опасно к тому же.

— Ну-с, шляхетська язва, — сказал Шмаков, — двигай. Долго думать будешь, голова усохнет.

— Сухой поляк лучше свежего кацапа, — сказал Пранайтис и сделал ход.

— Еще Польша не згинела, — сказал Шмаков и съел шашку.

— Да здравствует долой, — сказал Пранайтис и пошел левой.

— Пилсудска крев, — сказал Шмаков и освободил первое поле.

Это был ложный и неудачный шаг. Пранайтис подставил две шашки. Шмаков радостно побил их и, побив, ужаснулся. Пранайтис сразу срезал четыре и пролез в дамки.

— Ставь дамку, — торжественно сказал он, потер руки и посмотрел на толпу. Та сочувственно качала головой и бросала иронические взгляды в сторону Шмакова. Шмаков покраснел и опустил голову ниже. Он продумал минут пять. Поляк равнодушно курил сигарку, вяло мял табак, медленно прикуривал и выпускал дым зигзагами.

— Наклали вам в Киеве, — сказал, наконец, Шмаков и поставил шашку так, что дамка оказалась съеденной.

— Били мы вас под Варшавой, — ответил Пранайтис и пролез еще раз в дамки.

Все шашки Шмакова оказались запертыми. Он смотрел и не верил. Пранайтис встал, давая этим понять, что игра окончена. Шмаков думал

еще, стараясь на толпу не смотреть. Потом он с досадой смешал шашки и протянул Пранайтису две пары штанов.

— Бери, пся крев. Давай следующую.

Пранайтис бережно свернул штаны и впихнул их в голенища сапог, перекинутых через плечо.

Следующая партия была более значительной. К самому концу у Пранайтиса осталось две шашки. Шмаков имел четыре. Чувствуя близкую победу, он играл легко, стараясь меняться. Подставил одну черную (сейчас черными играл он) и взял белую. Противник выдыхался. Один необдуманный шаг и — пожалуйста парочку сапог с короткими голенищами, железными гвоздями и резиновыми ушками. Можно еще взять назад штаны.

Шмаков задумался, что взять: штаны или сапоги — и потерял одну шашку. От смущения он поспешил к дамочному полю и загубил остальные. Пранайтис протянул руку за новыми двумя парами штанов.

— Шляпа, — не удержался в толпе мальчуган и получил несколько тумачных. Возмущенные зрители изувечили его и вышвырнули из своей молчаливой беспристрастной среды.

— Продолжаем? — спросил Пранайтис.

— А ты думал конечно, пся крев? — сердито сказал Шмаков, — Устал ан, что ли? Рученьки болят?

— Поляк никогда не устает, это кацапы ленивые, — ответил Пранайтис и начал расставлять шашки, себе белые и противнику черные.

— Я пошел.

Шмаков взялся за шашку справа, но сейчас же поставил ее на место и почесал затылок. Потом снова взял эту шашку и еще более решительно поставил на прежнее место.

— Давай в поддавки.

Шмакову пришлось сделать дамку, но одним легким маневром он избавился от нее, подсунув еще в придачу одну шашку. Положение его улучшилось. Стоило только освободить дамочное поле и поляк — хочешь не хочешь — проглотит все без остатка. Он разгорячился и предложил Пранайтису:

— Хочешь двойную ставку? Выиграешь — получишь четыре пары штанов. Идет?

Пранайтис подумал и согласился.

— Клади сюда, — сказал он.

Публика притащила еще один бак. Пранайтис бросил туда две пары сапог, а Шмаков четыре пары штанов. Игра продолжалась. Шмаков сейчас же испугался, когда заметил, что поляк сам лезет в дамки. Такое безу-

мие в поддавках всегда опасно. И, действительно, вышло нечто очень каверзное. Пранайтис подсунул дамку. Шмаков съел. Пранайтис подсунул оставшиеся шашки, и Шмаков побил все, кроме одной, которую Пранайтис в начале игры запер в уголок. Заставить ее двигаться нельзя было. Шмаков смешал свои шашки и выругался, пряча глаза от публики. Пранайтис сгреб все, что было в баке.

Публика стала понемногу расходиться. У Шмакова осталась всего одна пара штанов. Азарту мало, да и торговлей надо позаняться. К Шмакову подошел из толпы покупатель. Он потрогал штаны, осмотрел подкладку и спросил:

— Сколько?

Шмаков не ответил сразу, он не понял даже, чего хочет этот человек. С досадой одернул штаны и сказал:

— Отваливай.

— Я продам, — предложил Пранайтис, взмахнув восемью парами штанов, — приличные штаны, гражданин!

Шмаков схватил Пранайтиса за руку и стиснул ее.

— Не смей, пся крев. Игра не кончена. Давай еще одну партию.

— Капитала не вижу.

— Ставь штаны за штаны.

— Ладно, — сказал Пранайтис, — в поддавки опять?

— Нет, в шашки. Белые мои.

Удивленный покупатель ушел. Шмаков перевернул доску, поплевал на нее и что-то про себя шепнул.

— Колдуешь? — спросил Пранайтис, расставляя фигурки.

Шмаков ничего не ответил и выдвинул среднюю шашку. Пранайтис пошел встречной. Потом Шмаков подставил... Впрочем, начало это было похоже на все шашечные начала. Пранайтис не думал вовсе и передвигал фигурки бесшумно. Шмаков думал долго и стучал шашками, сотрясая доску. Он успел уже потерять две шашки впустую, а тут еще поляк подставил свою черную так, что если побить — будет полный разгром.

Шмаков сделал вид, что не замечает, и сделал посторонний ход. Пранайтис поставил его фигурку на прежнее место и сказал:

— Ты бери. Слеп, что ли?

— А я не возьму.

— Как не возьмешь?

— Тебе же, холира, лучше. Фука достанется.

От удивления Пранайтис даже слегка приподнялся и посмотрел на противника в упор.

— Ты, что, кацап, мошенничать вздумал?
— Сам ты, пся крев, мошенник. Бери фуку, коли дают.
— Неумытая морда, — вскричал поляк, — кто же сейчас с фукой играет? С луны свалился?

— Так мы условились. Ей-богу, условились. Как садились, я сказал: "С фукой, значит", а ты смолчал. Стало, согласен. Зачем молчал?

— Ничего ты, каторга, не сказал. Дурачком прикидываешься.
— Сказал, ей-богу, сказал. Что ж ты, польская колбаса, русскому человеку не веришь?

— Врешь, холира, — вскричал Пранайтис и отшвырнул доску с шашками, — я больше не играю.

Шмаков пронзительно взвыл и отпустил соседу оплеуху. Тот замахнулся доской. Шмаков ухватился за бак. Публика бросилась их разнимать.

— Он со мной неправильно играл, — кричал Шмаков, — он мне должен все вернуть. Я в милицию заявлю. Ограбил.

И заплакал даже. Пранайтис растерянно взглянул на публику. На многих лицах нельзя было прочесть ни возмущения, ни сочувствия. Шмаков бросился отбирать у поляка штаны. Тот стал уходить. Шмаков побежал за ним, схватил по дороге дикий камень, замахнулся, но публика удержала его и обступила со всех сторон. Пранайтис позвал на помощь. Толкучка загудела.

Этот галдеж услышал милиционер. Сам один он прискакать не решился и кликнул подмогу. Неистовый его свисток привлек еще двух милицеевских с соседних постов. Начался допрос. Шмаков, рыдая, жаловался, что поляк ограбил его. Пранайтис кричал, что кацап — мошенник и хочет его, Пранайтиса, убить. Милицеевские арестовали обоих.

Надзиратель приказал запереть каждого в особую камеру и начал следствие. Дело грозило затянуться, весь Железный ряд рвался в свидетели. Все видели, все слышали и всем не терпелось поговорить об этом вдоволь. Надзиратель выбрал более скромных, всего десять человек. Пятеро из них защищало Шмакова и пятеро — Пранайтиса. Надзиратель назначал очные ставки. Ничего не получалось. Каждый говорил свое.

Порешили от них избавиться и передать дело в Садовнический народный суд.

В нарсуде дело откладывалось со дня на день. Свидетели постоянно оказывались пьяными. Их привозили на извозчиках и под конвоем. Кое-кто из них скрылся вовсе, опасаясь протоколов, и слушание продолжалось недолго. Остатки обвинения говорили свое, остатки защиты — свое, судья звонил в колокольчик и пил воду. Через два часа суд вынес такое решение:

— Приговорить обоих подсудимых, Федора Каменщикова и Станислава Белецкого, к штрафу в десять рублей.

Услышав свои настоящие фамилии, Шмаков и Пранайтис удивились. Поляка растрогало даже такое вежливое обращение.

Последнюю неделю поста надзиратель рапортовал районному о состоянии толкучки. "За истекшие дни произошло несколько схваток между Шмаковым и Пранайтисом".

Надзиратель убеждал районного конфисковать шашки. "Ничего с ними иначе не поделаешь. Народ тихий, а как до игры дойдет, забудет все на свете. Поножовщины бывают".

В это время курьерша принесла чай и связку свежих писем. Районный подсчитал сначала, сколько всего, записал в журнал, потом обреза ножиком конверты и стал читать. Надзиратель перелистывал в ожидании уголовный кодекс. Гадая, он открывал каждый раз новую страницу. Все было в кодексе — и самогон, и спирт, и контрабанда, и дерзкий цинизм, и порча проводов, не было только шашек, и злосчастные фуки нигде не упоминались.

— Петя, — сказал районный, — прочитай вот это письмо. Надзиратель посмотрел на подпись и улыбнулся.

— Канительная публика, товарищ начальник, — заметил он и принял за чтение:

"Милиция дремлет, как в заметках пишется, и не знает, что Федор Шмаков (Каменщик) с толкучего рынка есть большая опасность в государстве. Это вредный элемент, вам подтвердят посудники, вот уже два года, как торгует краденым. Штаны у него только для отвода, и те гражданам принадлежат, которые пострадали. А часы откуда? Есть и золотые, и с цепочками, и монограммами. У него своя малина на Зацепе в Стремянном переулке, где Институт Карла Маркса, бывших коммерческих наук. Предупреждаю, что складные ворота — на улице колодец, только воды нет. Вот примета: если поломанное ведро у колодца, значит, сегодня собрание. В достоверности расписываюсь, прошу имя держать в секрете. Станислав Белецкий (Пранайтис)".

Надзиратель радостно посмотрел на районного.

— Прикажете арестовать, товарищ начальник?

— Пришей к делу, — ответил районный.

— А распоряжение когда?

— Какое распоряжение?

— Насчет ареста.

Районный улыбнулся довольной улыбкой.

— Погоди, Петя, горячий ты у меня.

И, порывшись в столе, районный вытащил большую толстую папку. Он протянул ее надзирателю.

— На вот папку, Петя. Загляни в документ за номером 17, входящий. Читай вслух.

"Желая оказать пользу государству (советскому) и милиции, доношу о безобразном поведении Станислава Пранайтиса (Белецкого), который, как всем известно, расспросите в обувном ряду, со всеми ворами заодно работает и фальшивые деньги распространяет, сапоги у него для отвода глаз, и те краденые, хоть и на один фасон. Ворует он целыми пачками, и случай на Даниловке с инвалидной кожевенной мастерской к нему прямое отношение имеет"...

— Довольно, — сказал районный, — остальное неинтересно. Итого, Петя, приказываю тебе взять под строгое наблюдение данные факты. Распространяться не рекомендуется. И виду не показывай.

— Точно так, — ответил надзиратель и записал в блокнот какие-то адреса.

Здесь мы прекращаем историю о Шмакове и Пранайтисе. Скоро начнется судебная канитель. У Шмакова есть уже свои свидетели, и у Пранайтиса — свои. Пусть возятся с ними районный и нарсуд, они за это казенное жалованье получают. Мы только хотим сказать, что, садясь играть на толкучке в шашки, обязательно условливайтесь. Скажите просто: "Я играю с фукой", или: "Я играю без фуки. Идет?".

И тогда только открывайте кампанию.



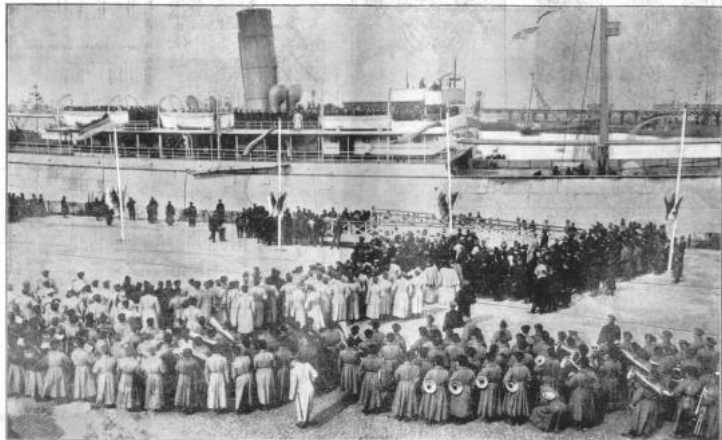
НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
 Душа старой Одессы 276

Второй лист № 142 / 1904 г. Суббота, 20-го марта.

ОДЕССКІЙ ЛИСТОКЪ

Прибытіе въ Одессу героевъ „Варяга“ на пароходѣ „Малайя“ 19-го сего марта.



Второй лист № 64 1903 г. Среда, 9-го марта.

ОДЕССКІЙ ЛИСТОКЪ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ.

Почетный старшина 1-го разряда
М. Н. ДРАГОМИРОВЪ.

Почетный старшина 1-го разряда
О. А. МАКШЕЕВЪ.

Ея Императорское Высочество
Государыня Императрица
Александра Феодоровна
съ Наслѣдникомъ Царства Россіи Александромъ Николаевичемъ.

Душа старой Одессы

К 210-летию Одессы нам предстоит долгожданная встреча с книгой очерков и воспоминаний Александра Михайловича Дерибаса (1856-1937), которые печатались в газете "Одесский листок" и других многочисленных периодических изданиях города после выхода его книги "Старая Одесса" (1913).

Напомним, что А.М. Дерибас был историком, краеведом, библиографом, журналистом и в своих литературных работах сумел живо воскресить историческое прошлое Одессы: ее быт, нравы, обычаи, типы жителей, дать биографии отдельных деятелей. Книгу недаром стали называть "Библией Одессы". Сам автор писал: "Книга о "Старой Одессе" написана мною легко, фельетонно, без всякой системы, без всякой хронологии и без всякой претензии на ее историческое значение. Мне просто хотелось передать другим мои личные переживания, мою личную привязанность к родному городу. И меня, поэтому, не могло не удивить и не порадовать то общее сочувственное отношение, которое встретила моя книга у одесских старожилов. Вышло так, как будто я сказал о старой Одессе то, что многие давно хотели сказать о ней сами, как будто я в своей книге был простым выразителем общего любовного отношения одесситов к своему славному и милому прошлому..."

Интерес к своей истории у нас не угас до сих пор, тем более что в этих очерках сохраняется неповторимая аура любви и ностальгии по ушедшему, и трудно не согласиться с автором, когда он пишет: "...Черпая хорошее из оставшегося еще во мне родника старой Одессы, я проливаю это хорошее в новую жизнь".

Однако если первую книгу Дерибаса можно найти и прочитать (она дважды репринтно переиздавалась за последние десять лет), то последующие материалы были собраны автором и должны были войти во 2-е дополненное издание, которое готовилось в 30-е годы для издательства "Academia". Издание книги не состоялось, рукопись попала в архивы ЦГАЛИ.

Несколько лет назад сотрудники ОГНБ им. М. Горького предприняли подвижническую попытку собрать очерки А.М. Дерибаса по газете "Одесский листок" и другим одесским газетам и журналам, ныне представляющим библиографическую редкость. Многие из этих изданий не доступны сегодня читателям из-за ветхости и изношенности. Удалось собрать более 110 очерков, в которых автор снова возвращается к эпизодам из ранней истории Одессы, ее неповторимому развитию, описывает какие-то новые бытовые особенности города. Много и интересно пишет о театре и актерах — он был всю свою жизнь увлечен этим видом искусства.

Драматичны по своему звучанию очерки Дерибаса, появившиеся после 17-го года. Это документальные свидетельства очень непростой жизни Одессы с постоянно меняющейся властью, с появлением совершенно новых реалий в жизни старой Одессы.

Сегодня мы представляем вашему вниманию отрывки из очерков Дерибаса, написанных в разные годы; в частности, о популярной газете "Одесский листок", в которой он сотрудничал много лет вплоть до ее закрытия в 1919 г., а также очерк "Новый тип читателя", который мы нашли в газете "Станок", выходившей в Одессе в начале 20-х гг.

Татьяна ЩУРОВА

Начало "Одесского листка"

Одесса, основанная в 1794 году, насчитывает всего 117 лет существования, из коих последние сорок лет, т. е. больше одной трети, занимает своей общественной просветительной деятельностью "Одесский листок". Одесса быстро выросла и многое пережила. Но наиболее трудным и сложным периодом ее жизни было именно ее последнее рокалетие.

Сорок лет тому назад. 1873 год. Это первые дни после введения в Одессе великих реформ, нового суда, института мировых судей, нового Городового положения. Это дни зарождения крупных политических организаций, дни хождения интеллигенции в народ, дни раскрепощения науки. Дни, когда в самой Одессе сказался резкий перелом между прошлым и настоящим.

Еще не написана история "средних веков" Одессы. Года тусклые, бесцветные после блестящего первого периода ее жизни. Года уныния после неудач крымской кампании. Года, в которые молниеносно врезался великий манифест 1861 года, после которого наступила во всей России и в Одессе эпоха Возрождения.

Если перенестись мыслью в шестидесятые годы Одессы, то сколь наивными покажутся нам, в сравнении с нынешним временем, прежние одесситы! Не было еще в нашем городе ни гранитных мостовых, ни днестровского водопровода, ни канализации, ни газового освещения. Не было и железной дороги от Одессы до Киева.

Не любопытно ли вспомнить, как толпа одесситов сбегалась со всех сторон города на Приморский бульвар — усеивала всю монументальную лестницу, чтобы присутствовать при маневрировании на Приморской улице первого в Одессе железнодорожного поезда? Когда раздался свист паро-



воза, то все одесситы вздрогнули в каком-то мистическом ужасе.

А годы, когда впервые начал функционировать новый суд! Торжественное открытие первой сессии окружного суда в доме Стембок-Фермора (ныне Диалегмено). Суд, г л а с н ы й суд, публика в суде. Присяжные поверенные Вейнберг, Пасовер, Тиктин. А переполненные любопытствующей публикой камеры мировых судей! Возмущение одесских хозяек тем, что теперь нельзя будет держать в строгости прислугу: сделаешь ей выговор, а она тебя к мировому!

А студенчество! В домашней одежде, с суковатыми палками в руках, в длинных волосах, горячие, волнующиеся! А собрания молодежи, чтение Писарева, Михайловского, Бокля, Щедрина, Дарвина, Спенсера! А нигилисты и нигилистки! Как все это далеко от нас!

Конец шестидесятых годов в Одессе был исполнен общественного подъема. Старая Одесса переломила. Отошли в область предания дореформенные суды, дореформенная дума. Железная дорога связала Одессу с Киевом. И не было уже надобности, как прежде, при поездке в Киев, во избежание столкновения с почтосодержателями и трясками на перекладных, избирать путь туда через Херсон по Днепру.

Вместе со своим перерождением Одесса, однако, потеряла и всю первобытную своеобразность. Когда поднимают вопрос о том, почему и когда старая Одесса стала ином, почему исчезла ее жизнерадостность, то ответа на это надо искать в реформах, обновивших ее строй... Как это ни кажется парадоксальным, но это так.

Не надо забывать, что в дореформенной Одессе существовало до 1857 года порто-франко, т. е. право беспоплатной продажи в черте Одессы всех привозимых из-за границы товаров. Все было дешево, и можно было легко устраивать свою жизнь с комфортом на европейский лад. Жизнь в Одессе до эпохи реформы была более замкнутой и поэтому более интимной. А с приездом сюда чиновников судебного ведомства и с наплывом, благодаря железной дороге, иногородних гостей коренные одесситы стали менее общительными. Они предоставили доминирующую роль в своих общественных делах новому пришлому элементу.

Насколько старая Одесса была настигнута врасплох реформами и как она была мало приспособлена к новой жизни — об этом можно судить по настроению одесской прессы. Единственные органы староодесской прессы "Одесский вестник" и "Journal d'Odessa" почти не реагировали ничем на совершавшиеся вокруг них события. Статьи их были по-прежнему сухими, бесстрастными, мало чуткими и неинтересными. Они с трудом разбирались в вопросах новой общественной жизни.

Большой переворот в жизни Одессы произвело введение нового Городского положения 1870 года, а газеты едва откликнулись на это. Они ограничились отчетами о заседаниях новой думы и кое-какими статьями по городскому хозяйству. Чувствовалось, что вместе с новым строем, вместе с подъемом общественности в Одессе должны были возникнуть здесь и органы общественного мнен-

ния, органы печати, в которых допущенные к самоуправлению одесситы могли бы открыто обсуждать действия своих избранников, высказывать свои бытовые нужды, разрабатывать планы нового благоустройства родного города.

Жизнь Одессы осложнилась, обогатилась. Надо было дать ей такое же отражение в прессе.

В ночь на 2-е января 1873 года уничтожен пожаром старый Городской театр. Рухнул древнегреческий фронтон театра, свидетеля первых светлых дней Одессы. Многие, многие одесситы с глубокою печалью вздохнули, глядя на разрушение их сценической святыни. В этом пожаре многие видели нечто символическое. Рухнул прежний мир. На его развалинах пусть воздвигнется другой. Но будет ли он так же мил сердцу одессита?

Разбредлась труппа русских актеров. Возникли новые театры в цирках "Эрмитаж" и Сура. Сам Николай Карлович Милославский поселился в гостинице "Франция" и оставался в ожидании возможности возобновить свою сценическую деятельность. В числе молодых людей, завсегдатаев театра, окружавших Милославского, был Василий Васильевич Навроцкий.





В том же 1873 году возникла впервые в Одессе мысль об издании "Одесского листка объявлений". Если вспомнить, как скудно было поставлено тогда дело о посредничестве между спросом и предложением по торговым и обывательским нуждам, то станет понятным — почему появление впервые в Одессе даже такого малозначительного с виду органа печати, как Листок объявлений, мог произвести сенсацию. Но он находился в слабых руках, пока на него не обратил внимания В.В. Навроцкий. Еще совсем новичок в общественной жизни Одессы, Василий Васильевич уловил, однако, сразу нить ее нового направления. Сам жаждущий общения с деятелями возрождения города, избранного им, как вторая родина, он начал с самой практической стороны. Он начал с облегчения внешней общности Одессы путем распространения объявлений по всем родам ее коммерческой деятельности.

Живой, исполненный жизнедеятельности, новый редактор-издатель "Одесского листка объявлений" сразу влил в него практический смысл и ту бодрость, которая с тех пор в течение долгих лет никогда не покидала его.

Объявления, бывшие в прежней одесской

прессе робкими и тусклыми, ярко запестрели на столбцах новой газеты. Сначала она раздавалась бесплатно и вывешивалась на заборах, привлекая внимание любопытных и нуждающихся в том или ином деле, потом издатель назначил за нее небольшую плату...

Редактор был сам и составителем, и чуть ли не наборщиком своей газеты. Впрочем, Василий Васильевич не только в начале своего издания, но и во все время своего руководства "Листком" работал в нем лично, не покладая рук. Он и умер на своем посту, за редакционную работу.

Но объявления имели только практическое, коммерческое значение, а одесситы нуждались еще в другом общении между собою. Им необходима была осведомленность о деятельности города и его обывателей на всех ступенях ее общественной жизни. Одесситы нуждались в органе, в котором были бы отражение и иллюстрация ее повседневной жизни. И В.В. Навроцкий, чутко поняв эту нужду, создал в своем "Листке объявлений" хронике...

Он первый создал в Одессе тип репортера и по своему обыкновению сам же исполнял его обязанности. Наивны были первые обывательские заметки в хронике "Одесского листка объявлений", но мало-помалу они приняли более оживленный, более осмысленный и более значительный характер...

Если бы за "Одесским листком объявлений" не было бы других заслуг, как только создание газетной хроники, так и за это одно он имел бы право на признательность одесситов. Ведь эта хроника была началом широкой общественной гласности в Одессе и материалом для сознательного отношения граждан к деятельности их представителей.

В "Листке объявлений" стали появляться заметки о городском хозяйстве, о деятельности ад-

министрации, рецензии о театре, драматическом и оперном. Появились новые газетные силы, новые люди... Возникла полемика.

Жизнь Одессы росла и развивалась. В 1875 году возобновился "Новороссийский телеграф" под редакторством М.П. Озмидова. Направление его сразу определилось. Возникла борьба двух воззрений. "Одесский вестник", хотя имел такого сильного боевого сотрудника, как барон Икс, но по традиционной инертности проявлял слишком мало жизненности. Чувствовалась потребность в большей бодрости, в большей отзывчивости, и "Одесский листок объявлений" взял на себя заполнить этот пробел. Василий Васильевич набирался все большей энергии и мало-помалу поднял

Василий Васильевич Навроцкий

Тяжело иногда писать "Старую Одессу". Тяжело, когда приходится говорить как об отошедших в прошлое о тех, кто еще так недавно жил среди нас, заражая всех вокруг себя своим вечно бодрым, вечно деятельным настроением.

— А вы бы написали что-нибудь, — говорил мне Василий Васильевич, — про начальное введение в Одессе мирового института: напомнили бы о Савиче, Великанове, Доксе, Перебиносове. Или описали бы торжественное заседание в день открытия действий одесского окружного суда: председатели Евреинов, Крыжановский, прокурор Самофалов, адвокаты Вейнберг, Пассовер. А то посвятили бы несколько фельетонов прежним городским общественным деятелям: Новосельскому, Чихачеву, Яхненко, Чижевичу, Велькоборскому. Или почему не поговорить о прежнем театре: о Милославском, Келлере, Форкатти? А Озмидов, а Пашков? А градоначальник Зеленый?

свою маленькую, почти ничтожную вначале газету, на высоту влиятельного органа печати.

Все в нем находило отклики. К его голосу стали прислушиваться. Перекочевали к нему крупные сотрудники. Перешел к нему неутомимый и неугомонный С.Т. Герцо-Виноградский.

Так возникла в Одессе большая, влиятельная и приобретающая широкую известность во всей России газета, переименованная в 1880 году в "Одесский листок", 40-летний юбилей которого мы — сотрудники покойного Василия Васильевича, празднуем ныне, радуясь теперешнему ее процветанию как достойному завершению честной деятельности ее скромного начинателя.

1913



— Но, позвольте, Василий Васильевич, — нельзя же все сразу.

— Э! Зашли бы вы ко мне, я вам продиктовал

бы такие мемуары, что куда вам с вашей "Старой Одессой"!

— Зайду с удовольствием, но когда?

— В том-то и беда, что у меня никогда не бывает времени.

И Василий Васильевич прервал беседу и поторопился по своим издательским делам.

Весь пропитанный одесской жизнью, в центре всех ее общественных событий, знакомый решительно со всеми мало-мальски интересными людьми Одессы, осведомленный из первоисточника обо всех новостях, живой, отзывчивый, человеколюбивый Василий Васильевич был "ходячею Одессою". Вокруг него, на прогулке его с собакою, у Фанкони, на скамейке на Дерибасовской, на бульваре, собирались многие его друзья. Но он был очень мало говорлив и совершенно не словоохотлив. Он не любил делиться своими сведениями с отдельными лицами. У него был свой орган, свой "Одесский листок", через посредство которого он говорил со всеми одесситами сразу. Узнав какую-нибудь важную новость, Василий Васильевич берег ее в глубочайшей тайне до появления ее в его газете. И, Боже! Как он гордился и радовался, если никто раньше "Листка" не сообщал этой новости читателям.

Все знать и делиться со всеми — таков был его девиз. Василий Васильевич ничего не оставлял для себя, да и от своих сотрудников требовал, чтобы они отдавали газете все дочиста, что они имели в запасе. Ни разу за 38 лет существования при нем "Листка" он не пришел в редакцию спокойный. Всегда быстрою походкою, с целым ворохом газет, корреспонденций, газетных вырезок и присланных статей, он порывисто обходил всех сотрудни-

ков, всех двигая, всех пробуждая, всех призывая к работе на завтрашний номер и тогда только немного успокаивался, когда удостоверился, что вся редакция в движении и, как стража на посту, бодрствует.

Создав из ничего, из бесплатного листка объявлений, крупнейший на юге России орган печати и сделавшись из бедного труженика состоятельным человеком, Василий Васильевич, в основных чертах своего характера, остался до конца жизни все таким же скромным и симпатичным человеком, каким он приехал в Одессу.

Неоднократно в своей "Старой Одессе" я говорил о тех "чужаках", о тех приезжих к нам иногородних лицах, которые постепенно органически сроднялись с Одессой и отдавали ей, как второй родине, все свои силы, все свои труды. Василий Васильевич, приехавший к нам из Малороссии, был одним из наиболее ярких их представителей. Мало кто больше его любил Одессу.

Многих привлекала Одесса как центр возможного обогащения. Но В. В. искал в Одессе не богатства, а труда. Менее всего к нему подошла бы характеристика дельца. Сам проживший между дельцами и много от них пострадавший, он по натуре был совершенно не способен к аферам. Он честно повел честное дело, и развитие "Листка" было заслуженною наградою его личного неусыпного труда на благо одесситов.

Исчезла яркая, живая, жизнерадостная личность с нашего современного, довольно-таки тусклого горизонта, и обогатилась ею галерея светлых и симпатичных деятелей старой Одессы.

1912

О старом тепле и холоде

В Одессе никогда не было дров. Многие старые дома совсем не имели комнатных печей. На зиму в большие холода парадные комнаты наглухо закрывались. Все ютились в столовых и спальнях, и на кухне. В кухнях с их большими русскими печами, в которых постоянно пылал огонь или тлела зола, всегда было тепло. И хозяева дома любили приходить на кухню, чтобы под предлогом беседы по хозяйству с прислугой хоть немножко погреть себя. В особенности любили это дети, залезавшие на лежанку кухарки и с наслаждением пропекавшие свои бока о стены печки. Очень неприятно было возвращаться потом в свою холодную постель.

К зиме и холоду старые одесситы относились как к чему-то неприятному, ненужному и преходящему. В план устройства их жизни зима не входила таким необходимым элементом, как на Севере. Вся постройка была рассчитана на несменяемое лето. Когда же наступали морозы, то одесситы очень им удивлялись, как непрошеным гостям... Сердитые, недовольные греки, итальянцы, французы закутывались в шали, халаты, надевали на себя по два, по три сюртука, стараясь спрятаться в самих себя, и так, дрожа и стуча зубами, ждали с нетерпением, чтобы вернулось в их город теплое, горячее солнце.

Казенные здания и казармы отапливались бурьяном. Его собирали с лета в целые скирды. Пустыри, заросшие сорною травой, имели в прежнее время большую ценность. А такие непроходимые чащи кустарника, как прежнее Куликово поле, в котором действительно охотились на куликов (а иногда и на волков), представляли собой неистощенный запас топлива.

Многие дома в старой Одессе были покрыты



соломой (даже первая соборная церковь во имя св. Николая имела соломенную крышу). И эта солома в трудные дни срывалась с крыши и шла на топливо, а летом заменялась свежей.

Старый одесский ветер, такой же капризный и порывистый, как его нынешнее поколение, часто срывал эти крыши, разметая солому по всему городу.

В богатых домах для обогрева спален употреблялись чаны с горящим спиртом. То же самое делалось и в театральных уборных. Публике же предоставлялось отогревать себя рукопожатиями.

У менее состоятельных жителей носили по комнатам металлические блюда с горячим песком.

Но лучшим средством против холода считалось принятие внутрь чего-нибудь горячительного. Водка водкой, чай чаем, но принималась еще и обыкновенная горячая вода с сахаром и с лимоном. Блажен, кто мог прибавить к этому рому.

На ночь пили ромашку.

С особенной заботливостью ухаживали старые одесситы за своими гостями. Не рассчитывая на комнатное тепло, они покрывали свои постели пуховиками, предварительно нагрев простыни, для чего растирали их особого вида закрытой жаровней или пучком соломы, а иногда и просто дышали на них своею внутреннею теплотою.

Но, конечно, прежние люди были ближе друг к другу, жили теснее и теплее. Вся семья собиралась гораздо чаще у горячей лампы. Интимнее были разговоры и чтение хороших книг. Согревали себя и воспоминаниями.

Но лампы были масляные. Свечи были салные или восковые. Но свет этих ламп и свечей был так ослепителен, что для ламп придумывались особые водяные глобусы, а для свечей особые раскрашенные экранчики и абажуры. Зоркие были глаза у прежних людей.

Не забудем про камин. Они давали тепло ненадолго, но когда разгорались, то веселили тело, а когда тлели, то успокаивали душу.

Фельетон

Не знаю, почему забросили этот род писания. Ведь фельетон в газете, как цветок в степи. Усталый путник сорвет его, надышится его ароматом и пойдет бодрее вперед.

Говорят, фельетон слишком дорог для нашего времени. Это может сказать только тот, кто думает, что тяжелой поступью можно идти скорее.

Мой отец, писавший в пятидесятых годах прошлого века в одесской французской газете "Journal d'Odessa", утверждал, что слово "Feuilleton" такого же происхождения, как "Jeanneton". Как говорят: "Jeanne, Jeannette et Jeanneton", так говорят: "Feuille, Feuillette et Feuilleton". И в слове "Feuilleton" есть столь же милого, интимного и задушевного, как и в образе поэтической простушки "Jeanneton".

В фельетоне можно говорить то, чего не скажешь в передовой статье. Там надо знать, о чем говорить, здесь можно этого не знать. В фельетоне

А потом пошли комнатные синие изразцовые печи с дребезжащими дверцами и с накопленными сажей выюшками. В них было больше жизни, нежели в нынешних герметических. И какой уютный страх они навевали, когда стонали вместе с ветром!..

Были ли в старой Одессе большие морозы? О, да. Помните ли вы водовозов с фантастически обледенелыми бочками? Помните ли вы доходившее до горизонта ледяное поле моря?

Но морозы эти были наносными. Они рождались не в Одессе. Одесса считала родным только свое солнце.

1919

можно писать так, как пишется, а не так, как надо писать. Отсюда искренность и правдивость хорошего фельетона.

Я в последние дни ношу очки, но они постоянно падают с моего носа. Я никак не могу привыкнуть к ученому тону. Вот почему я попрошу у читателя позволения побеседовать с ним иногда в фельетонном стиле.

Мы так сильно состарились в последние дни! И совершенно забыли про мудрое правило, что никогда не поздно быть молодым.

Встречаю ученого, спрашиваю про его работу, машет рукою: "Какие теперь работы!". Спрашиваю писателя, жалуется, что не пишется. Интересуюсь у поэта, скоро ли выйдут в свет его новые стихотворения, он сердится и язвит: "Вы не встречались ли где-нибудь на улице с моею музою?". Спрашиваю у мыслителя — "У него, — заявляет он, — источник мыслей".

— Ну, а вы, господа философы, спириты, теософы, узнали ли вы что-нибудь новое из потустороннего мира?

— Ох, батенька, дайте очнуться от мира здешнего.

И так повсюду. Даже молодежь перестала быть молодою. И мне хочется сказать всем усталым, состарившимся раньше времени: "Скорее, скорее беритесь вновь за свои работы! Скорее, скорее воспряньте духом!". Слишком большая честь для нехороших людей, чтобы мы долго сохраняли в себе причиненное ими нам зло.

Вам, вдовам и сиротам, братьям и сестрам невинно замученных людей — что я могу сказать? Ваше горе слишком велико, чтобы можно было утешить его словами. Ни мести, ни возмездия не осушат проливаемых вами слез — одно могу вам пожелать: пусть не примешивается в вашем сердце к чувству нанесенной вам обиды чувство злобы к обидчику. Дело правосудия свершится, и понесут заслуженную кару те, кто в своем зверском иступлении перестали видеть в человеке человека. Но вам не нужно вспоминать о них. Пусть в вашу болеющую душу придет милосердие. Только оно может успокоить вас и облегчить.

А вы, зрители из лож, партера и галерки, смотревшие на происходившие у нас кровавые ужасы, как на плохо разыгранную трагедию, вы, поправившиеся в своих домашних очагах, которые вы никогда раньше так не ценили, вы, вступившие в компромисс со своей совестью и устроившиеся более или менее тепло в разных мальчишески-коммунистических учреждениях, вы, съездившие от страха, как бедуины во время самума, в ожидании, что стихия успокоится, и в этом ожидании растерявшие свои чувства, свои мысли, свои творческие силы, — что вы, собственно, испытали такого, что давало бы вам право на малодушное бездействие теперь?

Любопытное явление. Я сужу по себе. Произошла катастрофа, перевернувшая всю нашу

жизнь вверх дном. Мы все перенесли величайшие тревоги, и в результате не осталось от этого и следа. Я знаю: вы мне напомните о национализации банков, о разгроме промышленности, о дороговизне хлеба, о разрухе в общественной жизни и т. д., и т. д. Но я не говорю о наших внешних потрясениях. Я думаю, что и они скоро улягутся: стоит только лучше наладить наши строительные силы. Я говорю о нашем внутреннем, душевном складе. Он остался незбылемым, как море после бури.

Кровь и грязь не липнут к душе.

И в этом лучшее подтверждение безумия свершившегося. Больше всего зла большевики причинили самим себе. Они запрудили всякой мерзостью не нашу душу, а свою. Они повергли в прах своего собственного бога. Где их лучшие лозунги? Где их заветнейшие идеалы? Они сами кровавыми руками зарыли их там, в чрезвычайке, в общую могилу.

О, да, с этой точки зрения нам надо более пожалеть их, нежели себя.

Так о чем же вам, оставшимся в живых и не причастным к творившимся ужасам, скорбеть? В особенности нет у вас основания к малодушию, унынию. Если у вас не было раньше никаких душевных сил — то чего от вас требовать? Бог с вами. Пребывайте по-прежнему в ничтожестве. Но если у вас был хоть малейший источник энергии, то скорее, скорее за работу! Из малых щелей в горах бьют великие ключи. Только не мешайте себе, и из вас пробьется и вдохновение, и творческая сила, и гражданское достоинство. И вместо ничем не оправдываемого прозябания вы посильно послужите великому делу возрождения нашей родины.

За работу же, за работу!

Я начал в фельетонном стиле, а закончил в скорбных нотах. Но и в скорби есть легкость, когда она поднимается ввысь.

II

Альфонс Карр в своих "Осах" давно рекомендовал журналистам: если надо поставить фонарь на неосвещенной улице, то пишите об этом не один раз, а каждый день, пока улица не будет освещена. Но еще до него Катон старший следовал этому правилу, ежедневно требуя в Римском сенате разрушения Карфагена.

Не по примеру ли их наши местные журналисты и поэты с такой настойчивостью добиваются закрытия всех одесских игорных притонов? Во всяком случае, их гражданское мужество заслуживает всяческой похвалы и поддержки. Так и следует поступать людям строгой нравственности. Пишите, продолжайте писать и в статьях, и в стихах, пока яд картонного разврата не будет окончательно уничтожен.

А после того возьметесь за борьбу со спекуляцией. Всю силу вашего таланта, публицистического и поэтического, употребите на то, чтобы негодяи от торговли перестали взвинчивать цены на товары в ущерб народу и голодающему населению.

Когда же вы этого достигнете, не премините обрушиться на язву фарса и кафешантана. Ведь эти веселые учреждения, хотя и не разоряют людей материально, но вконец оплошляют человеческую душу. И я не знаю, что менее вредно для нравственности: увлекаться ли картонным азартом или глупо хохотать на глупом фарсе.

Пишите, пишите ежедневно, настойчиво, не жалея своих перьев и талантов. И в результате ваших усилий я предвижу близкий день, когда в нашем милом городе не будет более ни игорных притонов, ни спекуляции, ни фарсов, ни кафешантанов. И тогда одесситы станут такими же разумными и чистыми, как бичевавшие их журналисты.

Одно меня смущает: почему вы начали свою кампанию против игорных домов с обращения

к администрации? После этого вы потребуете, пожалуй, облавы на спекулянтов или цензуры на фарс. Я боюсь, как бы не вышло так, что наш город будет очищен от разврата не вами, собственно, а мерами полиции, и что весь ваш публицистический пафос может быть сведен к чисто обывательскому воплю о помощи: "Караул!".

Администрация может, конечно, закрыть все игорные клубы, заключить в тюрьму всех спекулянтов, а в фарсы и кафешантаны командировать для наблюдения за приличием репертуара чинов государственной стражи. Вспомните Париж и его полицию нравов. Если вы бывали в "Moulin Rouge", то не могли не обратить внимания на то, как специальные пристава тщательно осматривают "dessous" тех "Grille d'egout", "La Gluc", "Pomme d'Ari" и других особ с более или менее выразительными кличками, которые жаждут принять участие в танцевании знаменитого парижского кадриля. Этот осмотр охраняет целомудрие тех юных старичков, которые, скромно восхищаясь хореографическим искусством, могли бы быть смущены некоторыми неожиданностями при особенно рискованных пируэтах.

Если бы наша администрация сочла неудобным, во имя принципа свободы, закрывать клубы только по подозрению, что они могут впоследствии сделаться притонами, то она могла бы в каждом клубе, где производится картонная игра, учредить на счет игроков особую должность блюстителя порядка игры с правом прекращения ее азартности и с предоставлением соответствующего протокола со всеми его законными последствиями.

Но неужели наши публицисты серьезно думают, что можно одними мерами администрации уничтожить зло азарта, спекуляции и разврата? Когда Катон добивался разрушения Карфагена, он не думал, конечно, что для достижения этой цели

достаточно будет постановления сената. Он стремился поднять весь римский народ на борьбу с его злейшим врагом.

А наши притоны различного наименования — это тот же Карфаген, и никакие одесские сенаты его не разрушат, пока сами одесские граждане не пойдут против него борьбою.

Что такое администрация? Это власть, осуществляющая волю лучшей части населения данного государства или данного города. Плох тот город, в котором администрация действует самостоятельно или прислушивается только к голосу отдельных публицистов, вместо опоры на подлинную волю населения.

А что же мы, граждане Одессы, делаем, чтобы в нашем городе не было разврата? В чем, собственно, может помочь нам администрация, если мы в деле борьбы с заедающими нас язвами не идем дальше газетных статей?

Новый тип читателя

"Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты". Эту несколько переиначенную поговорку можно было применить еще недавно ко всякому посетителю книжной лавки. Но теперь появился новый тип "читателя":

— Есть у вас картины Третьяковской галереи? — спрашивает субъект невзрачного и мало интеллигентного вида.

Ему поддают большие фолианты с великолепными гравюрами. Он покупает их все, не торгуясь, и тут же укладывает в большой мешок...

— А это что у вас там, на верхней полке?

— Это семнадцать томов французской энциклопедии Ларусса.

— Я их покупаю тоже, но возьму только завтра.

Все, все эти ненавистные нам развратники, игроки, спекулянты, завсегдатаи кафешантанов и т. д. — это наш брат, наши знакомые, наши сослуживцы, наши дети и, будем откровенны, во многих случаях, это мы сами.

Вот если бы вместо кричания "караул" мы присмотрелись бы ближе к тому, что делается у нас дома и на службе, или даже в наших, стоящих выше всяких подозрений, общественных собраниях, мы легко убедились бы, что для борьбы с развратом надо начинать не с обращения к администрации, а с обращения к себе.

Наше спасение — в здоровой общественной самодеятельности.

И если верно изречение, что те народы счастливы, которые не имеют истории, то столь же несомненно, что тот город блажен, в котором администрации нечего делать.

1919



И субъект приходит на следующий день с тачкой и забирает купленные книги, присоединив к ним еще два прекрасных географических атласа, еще одну коллекцию картин великих итальянских мастеров и роскошную Библию с рисунками Доре...

Продавец книг в восторге от клиента, спрашивает:

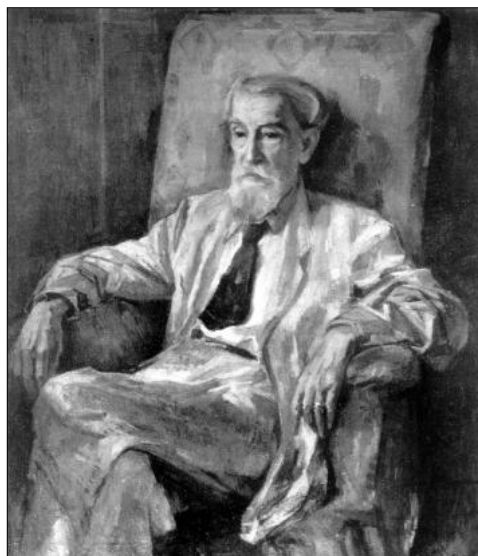
— Вы коллекционер?

И субъект отвечает:

— Нет, я папиросник.

Оказывается, что наиболее роскошные издания по искусству, благодаря толстым переплетам и картонной или веленовой бумаге, составляют лучший материал для гильз и поэтому стоят, на вес, гораздо дороже их художественной ценности.

Пойдем вслед за этим своеобразным "читателем" и его тачкой в его лавку. Там, за перегородкой, лежат целые груды великолепных изданий, масса журналов, большие кипы нот и книг, и между ними много библиографических редкостей.



Со всех книг сорваны переплеты, картины изрезаны на тонкие полоски, страницы, смотря по их толщине и качеству, скручены в мундштуки или гильзы. Ни одного целого листка не осталось от когда-то живой книги.

Ваше сердце обливается кровью, вы возмущаетесь совершающимся вандализмом, вы кричите:

— Варвар! Ведь ты убиваешь душу этих книг!

Но "читатель" отвечает вам:

— Зачем же вы заворачиваете душу в папиросную бумагу?

1921

АХ, ОДЕССА

Алексей СУХОРУКОВ

Как хорошо уже было 290

Александр МАРДАНЬ

Обрывки строчек 293

Илья РУДЯК

Эр рэт аф идиш 294

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол 297

Как хорошо уже было

Вы живете в Одессе, в тихом облупленном дворе с тополями и голубятней. Вам десять лет. Вы неприлично худой и лопоухий, имеете веснушки и характер и сегодня можете спать до самого завтрака.

Утро полно замечательных запахов, а вы, открыв рот, спите на сбитой постели, пока на кухне не обрушится крышка с кастрюли, и бабушка не попробует поднять ее, горячую, без тряпки.

Вы проснулись.

Теперь по коридору, мимо матрасика с сопящим Чапой, в узкую высокую уборную с рычащим унитазом. Чуть после — на кухню, к толстому медному кранику, бьющему в руки кривой сильной струей. Полотенце прочь — сберегите холодные капли для Чапы, вздорного животного, страдающего ожирением и ночными кошмарами. От него — бегом в комнаты, к воскресному столу и первому за день подзатыльнику.

Молодая картошка с маслом и нелюбимым укропом, толстенькие оладьи со сметаной и чашка компота с черешней на дне.

Черешню суньте за щеку и бегите на балкон, на прохладный, в трещинах, цемент. Перегнитесь через перила и мокрой, с мякотью, косточкой стреляйте вниз, в окно, за которым Алик Кантор страдает над ленивыми варениками. Алик роняет вилку, получает по шее, а вы, пригнувшись, ныряете в комнату, где тоже получаете по шее, потому что вам уже давно пора быть одетым.

Майка, шорты, сандалии, — и по гулкой чугунной лестнице вниз, во двор, под синее, перечеркнутое бельевыми веревками небо. Здесь можно остановиться, оборвать зеленую виноградную гроздь и посмотреть на не высавшихся котов. Коты слоняются по двору, осторожно заглядывая под колонку, где шлепают по луже толстые голуби. Голуби крутят головами и живо интересуются вашим поведением. Так вы занимаете друг друга, пока не выйдет мама и не поведет вас через сумрачную, с запахами, подворотню на улицу и дальше вниз, к морю.

Вы плететесь по пляжу, выбрасывая фонтанчики песка из сандалий. Ваше место под пирсом, между подстилкой малолетнего бандита Славика с маман и испачканным лиманской грязью мужчиной. Мужчину зовут Коля.

- Коля, вы лечитесь? Я вижу на вас грязь... Вам помогает?
- Конечно, мадам... От загара...

Стелите подстилку, бросайте на песок сандалии, стягивайте с себя майку с шортами.

- Славик, куда пошел ногами по чужой подстилке?!
- Купаться, мама!

Славик прав, идемте купаться.

Втянув живот и поднимая локти, войдите в воду и ныряйте. У дна цапните носом песок и скользите в мутной прохладе, сколько хватит дыхания. Потом поплавайте с криком и брызгами и вернитесь к пирсу. Сидите здесь, пока мама не погонит вас из воды. Немного поспорьте с ней и выходите из воды с синими губами и скандалом.

Падайте животом на горячий песок. Полежите, обняв трясущиеся плечи. Высохните. Повернитесь на спину и, когда песок сам станет сыпаться с груди, опять лезьте в воду. Купайтесь, валяйтесь в песке, воюйте с дерзкими пыльными воробьями, опять купайтесь, пока не затошнит от проглоченной воды и мама не позовет вас обедать.

Борщ в банке, котлеты на хлебе с маслом, бутылка с квасом и мокрый, в розовых пятнах, бумажный кулек с вишней.

Теперь положите стриженую голову на горячий мамин бок, закрывайте глаза и проваливайтесь в дрему. Если, конечно, вам не мешает скандал рядом:

- Славик! Почему ты вышел из воды в чужих плавках?!

Вы очнетесь, когда страшно закричит дядя Коля, который тоже уснул и которого Славик успел закопать в песок.

Поднимайтесь и ступайте в воду. Смойте в море сонную одурь, тайком сполосните плавки и выбирайтесь на берег — собираться.

Пройдите по пляжу, поднимитесь по перекошенной лестнице, оденьтесь, подпрыгивая на горячем асфальте, и идите домой.

— Шлюпка пятого квадрата! У вас там нарушитель заплыва! Ликвидируйте его, немедленно!

Наконец, ваш двор. Между окнами повис сизый котлетный чад, а на втором этаже вопит Кантор-старший:

- Я же говорил, что это у вас! Это ваши котлеты, Велечка, сгорели, наконец!.. Дома напейтесь компота и падайте на диван — до вечера.

Вечером несите во двор звенящий велосипед и поезжайте кататься. Стоя на педалях, прокатитесь вокруг рынка, мимо кинотеатра, сквера и дальше — в город. Возвращайтесь поздно, когда у подворотни усядется кружок сутулых юношей в кепках, курящих и обильно сплевывающих под себя. Мама давно волнуется, ужин остыл, — получайте по шее, кушайте и отправляйтесь спать.

Ночь. Раскрытая постель — как теплая ванна. По коридору, стуча когтями, гуляет Чапа. За балконной дверью храп и стоны в открытых темных окнах. Вы спите.

Вы спите. У вас хороший сон для ваших сорока лет, нервов и болезней. Сегодня вы имеете квартиру в блочном доме, грязную одесскую зиму и созревающую грыжу. За тридцать лет вы смогли сделать то, что, говорят, сделать невозможно — вы разучились ездить на велосипеде. У вас растет сын — бандит, а его маман имеет характер, достойный этой жизни. Денег у вас нет.

Проснитесь. Выйдите в коридор. Покурите в тишине. Съешьте на кухне белую горькую таблетку. Вернитесь в комнату, ложитесь, закрывайте глаза и слушайте меня снова:

"Вы живете в Одессе, в тихом облупленном дворе с тополями и голубятней..."



Обрывки строчек

* * *

...Ну как вам объяснить, что такое "эвфемизм"? Вот в строчке "вышли мы все из народа" слово "народ" — эвфемизм...

* * *

...Когда он понял, что ложиться спать нужно с красивыми, а просыпаться с добрыми, времени на сон уже не осталось...

* * *

...Фраза "первый и последний этажи не предлагать" осталась в социализме...

* * *

...В нашей жизни всегда есть место глупости. Например, древняя арабская глупость: прав тот, кто отвечает последним...

* * *

...Любовный треугольник: море любит сильных, а сильные любят поесть...

* * *

...Японцы уже изобрели прибор, который переводит лай собак. Сейчас работают над языком политиков...

* * *

...Он садился за компьютер с таким же видом, как Емельян Пугачев брал для чтения вслух свои указы...

* * *

...Оказалось, что выдавливать из себя демократа намного легче, чем раба...

* * *

...Путешествуя по Италии, главное не спутать Венецию с Винницей, карпаччо с гаспаччо, а их обоих с каприччио, скажем, Николо Паганини...

* * *

...Люди, обладающие умом, зарабатывают деньги. Люди, обладающие жестоким сердцем, зарабатывают много денег. Люди, совмещающие в себе эти два качества, зарабатывают очень много денег...

Ночь. Раскрытая постель — как теплая ванна. По коридору, стуча когтями, гуляет Чапа. За балконной дверью храп и стоны в открытых темных окнах. Вы спите.

Вы спите. У вас хороший сон для ваших сорока лет, нервов и болезней. Сегодня вы имеете квартиру в блочном доме, грязную одесскую зиму и созревающую грыжу. За тридцать лет вы смогли сделать то, что, говорят, сделать невозможно — вы разучились ездить на велосипеде. У вас растет сын — бандит, а его маман имеет характер, достойный этой жизни. Денег у вас нет.

Проснитесь. Выйдите в коридор. Покурите в тишине. Съешьте на кухне белую горькую таблетку. Вернитесь в комнату, ложитесь, закрывайте глаза и слушайте меня снова:

"Вы живете в Одессе, в тихом облупленном дворе с тополями и голубятней..."



Обрывки строчек

* * *

...Ну как вам объяснить, что такое "эвфемизм"? Вот в строчке "вышли мы все из народа" слово "народ" — эвфемизм...

* * *

...Когда он понял, что ложиться спать нужно с красивыми, а просыпаться с добрыми, времени на сон уже не осталось...

* * *

...Фраза "первый и последний этажи не предлагать" осталась в социализме...

* * *

...В нашей жизни всегда есть место глупости. Например, древняя арабская глупость: прав тот, кто отвечает последним...

* * *

...Любовный треугольник: море любит сильных, а сильные любят поесть...

* * *

...Японцы уже изобрели прибор, который переводит лай собак. Сейчас работают над языком политиков...

* * *

...Он садился за компьютер с таким же видом, как Емельян Пугачев брал для чтения вслух свои указы...

* * *

...Оказалось, что выдавливать из себя демократа намного легче, чем раба...

* * *

...Путешествуя по Италии, главное не спутать Венецию с Винницей, карпаччо с гаспаччо, а их обоих с каприччио, скажем, Николо Паганини...

* * *

...Люди, обладающие умом, зарабатывают деньги. Люди, обладающие жестоким сердцем, зарабатывают много денег. Люди, совмещающие в себе эти два качества, зарабатывают очень много денег...

Ночь. Раскрытая постель — как теплая ванна. По коридору, стуча когтями, гуляет Чапа. За балконной дверью храп и стоны в открытых темных окнах. Вы спите.

Вы спите. У вас хороший сон для ваших сорока лет, нервов и болезней. Сегодня вы имеете квартиру в блочном доме, грязную одесскую зиму и созревающую грыжу. За тридцать лет вы смогли сделать то, что, говорят, сделать невозможно — вы разучились ездить на велосипеде. У вас растет сын — бандит, а его маман имеет характер, достойный этой жизни. Денег у вас нет.

Проснитесь. Выйдите в коридор. Покурите в тишине. Съешьте на кухне белую горькую таблетку. Вернитесь в комнату, ложитесь, закрывайте глаза и слушайте меня снова:

"Вы живете в Одессе, в тихом облупленном дворе с тополями и голубятней..."



Обрывки строчек

* * *

...Ну как вам объяснить, что такое "эвфемизм"? Вот в строчке "вышли мы все из народа" слово "народ" — эвфемизм...

* * *

...Когда он понял, что ложиться спать нужно с красивыми, а просыпаться с добрыми, времени на сон уже не осталось...

* * *

...Фраза "первый и последний этажи не предлагать" осталась в социализме...

* * *

...В нашей жизни всегда есть место глупости. Например, древняя арабская глупость: прав тот, кто отвечает последним...

* * *

...Любовный треугольник: море любит сильных, а сильные любят поесть...

* * *

...Японцы уже изобрели прибор, который переводит лай собак. Сейчас работают над языком политиков...

* * *

...Он садился за компьютер с таким же видом, как Емельян Пугачев брал для чтения вслух свои указы...

* * *

...Оказалось, что выдавливать из себя демократа намного легче, чем раба...

* * *

...Путешествуя по Италии, главное не спутать Венецию с Винницей, карпаччо с гаспаччо, а их обоих с каприччио, скажем, Николо Паганини...

* * *

...Люди, обладающие умом, зарабатывают деньги. Люди, обладающие жестоким сердцем, зарабатывают много денег. Люди, совмещающие в себе эти два качества, зарабатывают очень много денег...

Эр рэт аф идиш

М. Ю.

Мои Фамилия имя и отчество: Срулевич Моисей Юделевич. Представляете, как это звучит для русского уха? И особенно если ты после школы попадаешь в погранвойска. Единственный еврейский юноша на весь округ. При переключке фамилия вызывала взрыв смеха. Старшина Войтенко выговаривал строю, что нехорошо смеяться над фамилией солдата... Срулевича (смех перерастал в гогот), и с удовольствием повторял ее снова (гомерический хохот).

Значительно позже я понял, почему меня с пятым пунктом призвали служить в ведомство КГБ: в 18 лет я имел 187 роста и 90 веса.

Загребел бы я в какую-то Коми АССР охранником в лагерь.

Спасло чистописание. Я был прирожденным каллиграфом. Вот такое редкое сочетание "Дяди Степы" и "Графа Мышкина". И тут я был нарасхват.

Оформлял красные уголки, выписывал удостоверения, грамоты...

Вскоре перевели меня из Измаила в Одессу.

Писал адреса в обком, в Киев и даже лично Андропову по случаю его шестидесятилетия.

Одесса! Почти три года беззаботной и неповторимой уже потом жизни.

Оставалось время и на море, и на танцы в парке Шевченко, и на театры, особенно оперетту.

В те годы был взлет славы Михаила Водяного.

А теперь — к чему веду рассказ.

Читаю на афишных тумбах: "Певица Нехама Лифшицайте. Еврейские песни". Мне, племяннику дяди Эзры Шварца, кантора нашей Джуринской синагоги, да не пойти?! Когда еще выпадет такой шанс?

Отправляюсь за несколько дней до начала гастролей за билетом, а они все проданы.

Пришлось попросить моего начальника посодействовать.

— Заговорила родная кровь, Срулевич.

— Давно не слышал ничего на еврейском.

Позвонил он в филармонию. Представляю, какой там стоял переполох.

Билет, притом бесплатный, в центре первого ряда, ждал меня в кассе.

Выгладил я свою синюю форму (костюма ведь у меня не было), начистил до блеска ботинки, надраил на фуражке кокарду и отправился на концерт.

Такое собрание евреев я увидел впервые. И каких евреев!

Музыкантов в бабочках, художников с длинными волосами, старых меломанов с аккуратно подстриженными бородками.

А женщины!!!

Я среди всех выглядел "синей вороной".

Но передо мной расступались, шушукались за спиной, вымученно улыбались.

Соседка слева, дородная мадам с пенсне на носу, застыла, когда я сел рядом, и косила глазами не переставая. Сосед справа, старичок, опирался на палку с набалдашником в виде льва и раскланивался со многими: "Здравствуйте, добрый вечер, доброго здоровьечка!". Все обращались к нему: "Доктор Циклис!".

А завидя меня рядом, быстро-быстро ретировались. Он же, подняв высоко голову, смотрел на меня с удивлением.

Мое присутствие создало напряженное состояние в зале.

До меня доносилось:

— В зале кагебэшник.

— Он следит за доктором Циклисом.

Все взоры были обращены на меня.

Я почувствовал себя ништ гит.

Как разрядить обстановку? Не могу же я встать и сказать им, что я такой же еврей, как и вы, что я помню до сих пор песни на идиш, что я пришел насладиться музыкой.

Я попросил у соседки программку. Она неохотно протянула ее мне.

Я стал читать вслух: "Варнычкес", "Ломир зих ибербейтн", "Шир а гаширим"...

— Ир рэт аф идиш?

— Авадэ, конечно.

— Эр из а ид, эр рэт аф идиш! — крикнула она, вставая.

По залу от первого до последнего ряда прошла волна:

— Эр рэт аф идиш!

...Нехама Лифшицайте была на высоте в ударе. Пела она замечательно. Чистый голос, великолепное произношение, выразительные руки!

В перерыве меня затащили в буфет и накормили досыта — "голодненького, бедненького еврейского солдата".

После концерта доктор Циклис повел меня с собой за кулисы и представил певице.

На сцене она казалась мне высокой, а здесь — красавица-подросток. Я попросил надписать открытку.

— Впервые вместо показаний даю чекисту автограф. Такое бывает
нор ин Адес, — пошутила она.

Полковник Булыгин спросил меня на следующий день:

— Ну, как тебе "Варнычкес"?
— Вкусные, товарищ полковник.
— Наши там были. Отчет имею. А что она написала тебе на открытке?
— "На добрую память, с любовью Нехама."
— Красавец (с ударением на последний слог), иди, пиши по-
здравление Щербицкому с присвоением ему звания Героя Социали-
стического Труда.

Такая была мелиха!

Чикаго



"Городок" — пятый угол

Власти, которые мы выбираем...

* * *

У губернатора берет интервью тележурналист.

Т. Господин губернатор, и последний вопрос. На чем вы хотите со-
средоточить внимание в вашей предвыборной кампании?

Г. На экологии. Я все время говорю, что с экологией надо что-то де-
лать. Здоровье жителей нашей области под угрозой! Во время социологи-
ческого опроса 80% людей заявило, что они страдают от слабоумия.

Т. Да, но они заявили, что они страдают от вашего слабоумия...

* * *

Мэр и корреспондент с микрофоном.

К. А сейчас мы в гостях в городе Грязнопрудном. Мы беседуем с мэ-
ром города Грязнопрудного господином Петрищевым. Мы знаем, что вы
очень заботитесь об экологии вашего родного города.

М. А как же! Как грится, забота у нас такая, и нету других забот!

К. Мы слышали, например, что вы приложили много усилий для
улучшения качества воды.

М. Это вообще в первую очередь! Год назад мы провели анализ во-
ды, и оказалось, что в ней 157 вредных бактерий и 5 смертельных! Поэто-
му мы стали добавлять по 100 килограммов хлорки на тонну воды!

К. Неужели 100 килограммов?!

М. Да первое время мы вообще по 200 сыпали! Потому что для меня
здоровье граждан — первое дело! Но вот уже два дня, как мы перестали до-
бавлять хлорку вообще!

К. Поздравляю! (*Берет стакан, нюхает и пьет воду.*) Действитель-
но, нет никакой хлорки!

М. Конечно, нет! Она у нас уже два дня как кончилась!

* * *

*Театральная ложа. Слышны три звонка, шум собирающегося зала, на-
стройка оркестра. В ложе появляются и садятся двое солидных мужчин.*

1-й (тоскливо). Господи, как я ненавижу оперу!

— Впервые вместо показаний даю чекисту автограф. Такое бывает
нор ин Адес, — пошутила она.

Полковник Булыгин спросил меня на следующий день:

— Ну, как тебе "Варнычкес"?
— Вкусные, товарищ полковник.
— Наши там были. Отчет имею. А что она написала тебе на открытке?
— "На добрую память, с любовью Нехама."
— Красавец (с ударением на последний слог), иди, пиши по-
здравление Щербицкому с присвоением ему звания Героя Социали-
стического Труда.

Такая была мелиха!

Чикаго



"Городок" — пятый угол

Власти, которые мы выбираем...

* * *

У губернатора берет интервью тележурналист.

Т. Господин губернатор, и последний вопрос. На чем вы хотите со-
средоточить внимание в вашей предвыборной кампании?

Г. На экологии. Я все время говорю, что с экологией надо что-то де-
лать. Здоровье жителей нашей области под угрозой! Во время социологи-
ческого опроса 80% людей заявило, что они страдают от слабоумия.

Т. Да, но они заявили, что они страдают от вашего слабоумия...

* * *

Мэр и корреспондент с микрофоном.

К. А сейчас мы в гостях в городе Грязнопрудном. Мы беседуем с мэ-
ром города Грязнопрудного господином Петрищевым. Мы знаем, что вы
очень заботитесь об экологии вашего родного города.

М. А как же! Как грится, забота у нас такая, и нету других забот!

К. Мы слышали, например, что вы приложили много усилий для
улучшения качества воды.

М. Это вообще в первую очередь! Год назад мы провели анализ во-
ды, и оказалось, что в ней 157 вредных бактерий и 5 смертельных! Поэто-
му мы стали добавлять по 100 килограммов хлорки на тонну воды!

К. Неужели 100 килограммов?!

М. Да первое время мы вообще по 200 сыпали! Потому что для меня
здоровье граждан — первое дело! Но вот уже два дня, как мы перестали до-
бавлять хлорку вообще!

К. Поздравляю! (*Берет стакан, нюхает и пьет воду.*) Действитель-
но, нет никакой хлорки!

М. Конечно, нет! Она у нас уже два дня как кончилась!

* * *

*Театральная ложа. Слышны три звонка, шум собирающегося зала, на-
стройка оркестра. В ложе появляются и садятся двое солидных мужчин.*

1-й (тоскливо). Господи, как я ненавижу оперу!

2-й. Сегодня будет балет, классика, прекрасная музыка.

1-й. Ой, господи... Еще лучше. Скука смертная.

2-й. Почему же? Вы получите большое удовольствие, у нас есть несколько виртуозов.

1-й. Бросьте, какое можно получить удовольствие от балета? (*Оживишись.*) Вот мне вчера порнушку одну принесли – вот это удовольствие! Вот это была классика! А уж виртуозы там! Представляете, собралось 10 человек, и тут одна...

2-й. Чшшш, начинается! (*Поднимается.*) Дамы и господа! Сегодня у нас в театре министр культуры! Поприветствуем! (*Аплодирует.*)

1-й поднимается и солидно кивает.

Мы едем, едем, едем!

* * *

В скромной квартире доктор у постели больного старика. Слышен звук автомобильной сигнализации. Доктор подбегает к окну.

Д. Нет, не моя.

С. Вы на машине? Я тоже много лет откладывал деньги на машину.

Д. И что, так и не собрали?

С. Почему, собрал.

Д. Ну и отлично. Будет еще у вас машина, не сомневайтесь!

С. Так я и не сомневаюсь. Я собирал на катафалк...

* * *

Двое на улице возле памятника Ленину с вытянутой рукой.

1-й. Смотри, а этот памятник Ленину не снесли.

2-й. Зачем его сносить – он же пользу приносит. Его просто переименовали и все.

1-й. И как же он теперь называется?

2-й. Он называется "Владимир Ильич Ленин показывает левый поворот".

* * *

Машина чуть не сбивает прохожего.

П. Кто так ездит?! Мозгов у тебя нет! Ты идиот, кретин, дебил!!!

Из-за руля машины выходит женщина и строго смотрит на прохожего. Тот смущается.

П. Ой, простите ради бога! Я, конечно, не должен был так говорить. Извините. Я должен был сказать – идиотка, кретинка, дебилка!!!!

Театр уж полон, ложи блещут...

В пустом зале за режиссерским столиком сидит режиссер.

Р. Стоп! Спасибо. Кто там следующий на роль Гамлета? Пожалуйста!

На сцене появляется актер в костюме Гамлета. Он поднимает череп.

А. (*смотрит на череп*). Бедный Йорик! Я знал его...

Смотрит на режиссера. Режиссер молчит.

А. (*смотрит на череп*). Бедный Йорик! Я знал его!

Смотрит на режиссера. Режиссер молчит.

А. (*смотрит на череп*). По-моему, это бедный Йорик...

Р. Спасибо! Очень органично и точно. Никаких сомнений!

А. Правда? (*Снова смотрит на череп.*) А я уже начал думать, что обозначился...

* * *

В вестибюле театра муж и жена.

М. (*оглядываясь по сторонам*). Никогда не думал, что в театре сейчас так мало народу!

Ж. Тихо ты, невежа! Иди сдай мою шубу, а я пошла в зал.

Проходит полчаса. Муж заходит в зал, садится рядом с женой.

Ж. Шубу сдать – полчаса нужно? Где ты был все это время?

М. Да шубу твою сдавал! Никогда не думал, что в ломбарде сейчас так много народу...

* * *

У рояля пианист во фраке и рабочий сцены в комбинезоне.

П. Ну, уважаемый, вы меня сегодня просто поразили! На этом рояле играли Лист, Шопен и Горовиц... Но так, как вы, на нем еще не играл никто. Никто!

Р. (*смущенно*). Я тебе, лауреат, так скажу. Мне что твой Шопен, что Васька-осветитель. У меня для всех ответ простой... (*На рояле разложены домино, он бьет по нему камнем.*) Рыба!

Все-таки кто-то кое-где у нас порой...

В кабинет полковника входит майор.

М. Товарищ полковник, в отдел экономической контрразведки поступила важная информация! Некая гражданка Ротшильд Розалия Семёновна 54 лет периодически звонит некоему Рокфеллеру Ефиму Борисовичу, пенсионеру, и говорит ему одну и ту же фразу: "На Нью-йоркской бирже паника!". Думаю, надо с этим разобраться.

П. Не надо. Мы с этим делом разбирались пять лет и только потом установили, что она, оказывается, таким образом сообщает своему любовнику, что ее муж сегодня задерживается на работе!

М. Ха-ха! Кто бы мог подумать!

П. Да, такого вначале никто и предположить не мог. Столько версий проверили, и все насмарку! А потом все очень смеялись... Правда, была одна странная мелочь...

М. Какая мелочь?

П. Дело в том, что каждый раз на следующий день после ее звонка на Нью-йоркской бирже действительно начиналась паника...



ПУТЕШЕСТВИЕ

Сергей ОСТАШКО

Под андреевским флагом с девизом "Авось" ...302

Под андреевским флагом с девизом "Авось"

Появление корреспондента на судне всегда вызывает настороженность. В зависимости от мнительности капитана она обычно базируется в диапазоне от "Чего ему тут нужно?" до "И кто это под меня копает?". И первые несколько дней рейса экипаж с напряжением присматривается, как бы это сухопутное чудо чего-нибудь не учудило. Пристальному вниманию подвергаются любые поступки журналиста: "Почему это он на завтрак вышел вовремя, а на обед опоздал на 5 минут?", "Интересно, что это он нащелкал со вспышкой в машинном отделении?", и, наконец, "Чего это он поперся на мостик в 2 часа ночи?".

Лед, как правило, начинает таять после того, как ты во время ежедневного чая читаешь в кают-компании свои первые даже еще не материалы, а пока только впечатления. Они обычно вызывают снисходительные смешки, а также кучу комментариев и советов, которые и означают, что тебя постепенно начали принимать за своего.

Бывают и несколько неожиданные следствия этих коллективных чихов. На следующую ночь, после того, как был обнародован "Этюд в навигационных огнях", стармех, или по морской терминологии "дед", старый морской волк, полжизни проплававший в машинном отделении, специально вознесся на мостик, чтобы проверить, насколько все так красиво, как описал "этот корреспондент".

Впрочем, тесный контакт между "мариманами" и прессой на пассажирских судах редкость, слишком короток круизный рейс, слишком часты заходы, и слишком много соблазнов подстерегает прикомандированных корреспондентов в средиземноморских портах и ночных судовых барах.

Круиз "Одесса-культура-200", организованный в 1994 году в честь 200-летия Одессы, не был исключением из этого правила. И "более углубленное ознакомление с трудом моряков" заменялось общением со 160 деятелями культуры Одессы, находящимися на борту теплохода "Тарас Шевченко", и участием во всевозможных культурологических акциях, выставках, концертах, официальных приемах, которые устраивались в каждом из посещаемых городов. Из репортажей с восторженным описанием красот Афин, Неаполя, Флоренции, Рима,

Марселя, Барселоны и других можно было бы составить отдельную книгу, если бы десятки, а то и сотни подобных книг о подобных круизах уже не были составлены, напечатаны и разданы авторами своим друзьям и знакомым.

Вспомнил же я этот круиз из-за одной неожиданной встречи, которая, как оказалось, имеет отношение к яхте "Юрий Гагарин". На этой яхте под командованием Анатолия Даниловича Кириченко мы с моим другом, тоже капитаном, но уже команды КВН "Джентльмены ОГУ", Славой Пелишенко прошли от Одессы до Астрахани, а потом описали свои впечатления в книге "Хождение за два-три моря".

К сожалению, репортаж об этой встрече затерялся в архивах газеты "Моряк", а при многочисленных устных пересказах появилось столько новых подробностей, что сегодня уже трудно отделить правду от вымысла. Поэтому я заранее приношу извинения героям моего повествования за возможные искажения фактов и вольную интерпретацию событий.

Дело было в Марселе. Обзор окрестности с высоты достопримечательностей и достопримечательности с высоты окрестностей, я возвращался на судно. Путь пролегал через старый порт в центре города — глубоко вдающуюся в сушу лагуну, окруженную со всех сторон впадающими в нее горными ручьями улиц. Очевидно, в память о тех временах, когда в эту лагуну заходили только экологически чистые суда, старый порт был отдан на откуп яхтам. Избитая метафора "лес мачт" как нельзя лучше подходила к открывшейся передо мной картине, вызывая дополнительные ассоциации с затопленными стволами в Цимлянском водохранилище. Только на верхушках цимлянских "мачт" сушились не флаги иностранных государств, а в лучшем случае подштанники местных колумбов.

Вдруг в многоцветье вымпелов и стягов мне увиделось нечто нарушающее стройность шеренги триколов. И только подойдя поближе, я понял, что "нарушитель спокойствия" — это не подвешенный боком французский флаг, а самый настоящий символ российской государственности.

Русский флаг в Марселе? Мимо этого я пройти не мог и через две минуты уже стоял перед копией старинной каравеллы, уменьшенной до размеров рыбачьего баркаса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий абзац — описание яхты — читатель, не связанный с морем может смело пропустить, так как он написан исключительно для того, чтобы показать, что автор кое-что смыслит в морской терминологии. Искушенные же мореходы могут с удо-

вольствием прочесть его, чтобы уличить автора, что он смыслит все-таки не все. И так...

Обрубленная корма с чеканной накладной надписью "Авось", прямоугольные окна кормовой надстройки вместо иллюминаторов, открывающиеся не по горизонтали, а по вертикали, наподобие старинного орудийного порта, две мачты, раскрепленные пеньковым стоячим такелажом с деревянными юферсами — системой двух блоков, с помощью которой обтягиваются ванты и штаги. Рангоут на передней мачте — фоке — явно предназначен для прямого парусного вооружения, на задней — бизани (или гроте, так как она выше) — для гафельного: кроме гика, к которому крепится нижняя шкаторина паруса, вверху имеется еще и гафель, для крепления верхней. (Кстати, из-за наличия двух, а не трех мачт, судно правильнее было бы назвать бригантиной, но почему-то у большинства сухопутных читателей высокая кормовая надстройка ассоциируется именно с каравеллой.) Бушприт выдается вперед чуть ли не на половину длины судна, а под ним — носовая фигура, очевидно богини Авось, если у древних была богиня с таким легкомысленным именем.

Честно говоря, я до сих пор не знаю, откуда появилось у яхты такое необычное название "Авось". Я даже не помню, спрашивал ли я об этом, или ответ просто выветрился из моей памяти, но сейчас мне почему-то кажется, что здесь не обошлось без знаменитого девиза русский мореходов: "Под российским андреевским флагом с девизом "Авось".

Эй, на судне, есть кто живой?

В ответ на этот возглас из каюты показалось человеческое существо лет полутора отроду, живо вызвавшее в памяти образ, созданный незабвенным Киплингом. Единственное различие состояло в том, что волки, воспитавшие средиземноморского Маугли, были, скорее всего, морскими. По цвету кожи чадо вполне могло бы сойти за потомка каких-нибудь мавританских пиратов, и только выгоревшая добела всклокоченная пакля волос и нос картошкой выдавали явно славянское происхождение.

В мгновение ока дите на четвереньках добралось до борта, вскарабкалось по вантам, обозрело окрестности и, не удовлетворясь внешним видом пришельца, возвестило об этом голосом пароходного гудка:

— Маа-маа!

Из каюты выглянула миловидная молодая женщина и, увидев меня, улыбнулась:

— Да вы заходите, не бойтесь, он у нас смиренный.

Если снаружи яхта напоминала каравеллу, то изнутри она была похожа на шкаф. Красное дерево здесь и не ночевало, хотя мест для ночлега — сделанных из того же шкафа — было предостаточно. Аккуратно застеленная койка во всю ширину кормы, блистающий чистотой штурманский стол, старинные барометр, хронометр и кренометр (так и не удосужился узнать, как называется прибор для измерения крена) мирно сосуществовали с современной рацией и цветным телевизором, служащим одновременно и монитором компьютера. Строгий морской порядок в каюте слегка диссонировал с вольно расположившимися на горизонтальном системном блоке ПК детскими игрушками. Впрочем, и они имели морское происхождение. Одетый с тельняшку причальный кранец с пришитыми усами был, очевидно, хозяином, к которому пришли гости: несколько раковин и морских звезд, поломанный секстан и, почему-то, велосипедный насос.

— Вот поросенок, опять "официальный прием" расставил, — улыбнулась мать. — Нас позавчера пригласил мэр Марселя, и мы его с собой взяли — не с кем было оставить.

На наши голоса откуда-то из недр судна в каюту посунулась чумазая — явно только от мотора — голова.

— Извините что в таком виде, — представилась голова, — Антон.

— Сергей, газета "Морьяк".

— Ой, вы моряк, а вы в моторах понимаете? — обрадовалась хозяйка и, спохватившись, тоже представилась, — Валерия.

К сожалению, в моторах я понимал мало. Мое знакомство с ними ограничилось умением включать и выключать тракторный дизель Т-40 на "Юрии Гагарине", причем выключать у меня получалось существенно лучше, чем включать.

— Жалко, — огорчился Антон, — придется ждать Мишу, а то мы бы вас покатали.

— А под парусами нельзя? — затаил дыхание я, боясь спугнуть удачу.

— А как вы из этого ковша под парусами выберетесь? Тут и под мотором-то не очень.

Когда Антон умылся и окончательно спустился в каюту, стало ясно, что он молодец. Если его внешность, в общем-то, соответствовала названию яхты, то по возрасту он никоим образом не мог быть убеленным сединами шкипером этого старинного судна.

— Все правильно, — подтвердила хозяйка, — это мой муж, он в экипаже второй год. А капитан — папа, он сейчас в Ленинграде, добывает карты и разрешение на проход Суэцкого канала.

— Значит, яхта построена в Питере, — я, как мне казалось незаметно, приступил к выполнению своих профессиональных обязанностей.

— Да не совсем. Вообще-то, наша "Авось" в своей прошлой жизни была рыболовецким баркасом на Байкале.

Забавная все-таки профессия — журналист. В любое время, в любом виде ты — на работе. И когда в руки идет интересный материал, ты забываешь и об обеде, ждущем на судне, и об экскурсии в замок Иф, которую обещала устроить "только для журналистов" бывшая одесситка, а ныне супруга известного французского мецената и покровителя искусств, и даже о вечернем приеме одесской делегации мэром Марселя.

Попивая чаек и легкое французское вино (кстати говоря, страшная кислятина), мы сидели в каюте, и я внимал удивительной истории.

Лет семь назад со дна Байкала был поднят рыболовный баркас. Специалисты, осмотрев бранные останки, дали заключение, что на дрова он уже не годится — слишком мореным оказался корпус. О восстановлении плавсредства вообще речи не шло — пробоины такого размера умели чинить только в Древней Греции. Остов долго валялся на берегу, пока не попался на глаза абсолютно сухопутному человеку, строителю по профессии Валерию Гладкову. И у него вдруг возникла сумасшедшая идея, которая оказалось судьбою.

Как водилось в застойные времена, за сто рублей и бутылку водки у строителей удалось откупить списанную с баланса лет двадцать назад материальную ценность. И началась работа, которая заняла долгих пять лет.

История умалчивает, сколько сил, средств и времени, отнятого у тихих семейных радостей, ушло на восстановление лодки. Также канули в лету слова и выражения, которые наверняка адресовала новоявленному судостроителю его жена Татьяна. И уж точно никто не может сказать, осталась ли в нынешней конструкции лодки хоть одна дощечка от когда-то грозного средства производства байкальских рыбаков.

Всему приходилось учиться буквально с нуля. Не было ни опыта, ни чертежей, не у кого было даже спросить совета. Прибайкалье если и славилось своими строителями, то только не судо-, а журнал "Катера и яхты", регулярно публикующий материалы о самодельных яхтах, был далеко, и практически помочь, простите за тавтологию, не мог.

Мало кто из окружающих верил, что Валерию удастся осуществить свою мечту, а когда мечта, созданная скорее с соблюдением строительных ГОСТов, чем многовекового опыта корабелов, все же закачалась на бай-

кальской волне, — что ему удастся вывести ее в плавание. Но и тут они ошиблись. В первый же год "Авось" обошла вокруг Байкала, и оказалось, что судно обладает еще и мореходными качествами. Священное море стало тесно для бывшего строителя и его детища.

Весь следующий год был посвящен великому переселению — в Ленинград. Большинство людей наверняка в курсе, с какими хлопотами связана смена места жительства, даже в пределах одного города. Здесь же предстояло не только перевезти на несколько тысяч километров всю большую семью со взрослыми детьми, их женами, мужьями, вещами и мебелью, но и передислоцировать судно длиной более десяти метров и водоизмещением около девяти тонн. Ангара, Енисей, Обь, Кама, Волга, Волго-Балтийский канал, Нева — только реками, не считая двух перевозок по железной дороге, было пройдено расстояние, превышающее радиус Земли.

Переселение отняло все силы и средства и, казалось бы, можно годик отдохнуть, обустроиться. Но отдых Валерий Гладков понимал по-своему. Уже на следующий год яхта "Авось" с портом приписки Санкт-Петербург умудрилась замкнуть кольцо вокруг Европы — морями снаружи и реками изнутри.

— Подождите, — вернулся я и из полусказочного путешествия с Байкала вокруг Европы, куда отправила меня своим рассказом Валерия, дочь Валерия, — но ведь для такого путешествия нужны деньги. Где вам удалось их найти?

— А вон, — морячка показала висящую на стене в глубине каюты картину. Вначале я принял ее за сюрреалистический офорт Босха, но теперь, приглядевшись, понял, что это двадцатидолларовая купюра в рамочке под стеклом. — С этими двадцатью долларами прошлой весной мы выходили из Питера. Первоначальный запас продуктов на лодке был, а дальше — авось вывезет.

Слово "авось" Валерия произнесла явно без кавычек, обозначая им не название лодки, а характерное состояние русской души.

Зарабатывали, как могли: подряжались на разные работы, продавали самодельные сувениры, проводили экскурсии по яхте. Использовались любые возможности. Сувенирами становилось все: ракушки, поднятые со дна, сосновые шишки, раскрашенные гуашью под "тельняшку боцмана". Подбитый из подводного ружья электрический скат с обрубленным хвостом был продан доверчивому бельгийцу в качестве средиземноморской камбалы.

В Бискайском заливе "Авось" попала в жесточайший шторм и буквально чудом, с поломанной мачтой, добралась до Бордо. На берегу оказалось, что мачта восстановлению не подлежит, а денег на новую, увы, нет. И тогда появилась гениальная идея. От обломка мачты отпиливались сантиметровые кругляши, в середину среза вклеивалась фотография яхты и это "произведение искусства" продавалось в качестве памяти о шторме, наделавшем, кстати, много бед на побережье.

— Эти европейцы — ну чистые дети, — рассказывала Валерия, — они каждый сувенир примеряли к мачте и, убедившись, что он отрезан именно с этого места, готовы были платить любые деньги "за подлинность".

Вырученных средств хватило не только на мачту, но и на комплект стареньких парусов, взамен порванных.

Появление лодки "под старину" в любом порту вызывало огромный интерес. Когда яхта пришла в Дувр, она стала у причала какой-то верфи. В обед местные докеры вышли покурить, увидели "Авось" и пришли с экскурсией. Не осталось ни одного каната, ни одной детали стоячего такелаж, которую потомственные корабельщики, цокая языком и качая головой, не потрогали бы своими руками.

Осмотр затянулся надолго. На все профессиональные вопросы приходилось отвечать жестами — знание английского тогда, в самом начале путешествия, оставляло желать лучшего. Языковой барьер удалось преодолеть, только когда гости вернулись в док, и с помощью словарей удалось расшифровать их заключительную фразу: "We shall come later" — "Мы придем позже". Через полчаса прибежал хозяин верфи. Точно так же, как и его работники, он, щелкая языком и качая головой, облазил всю лодку и, бросив "I will come later", удалился. Разница между "will" и "shall" ускользнула от начинающих российских лингвистов, но тон, каким это было сказано, не оставлял сомнений: они еще встретятся.

Когда судовой колокол верфи возвестил об окончании рабочего дня, на лодку потянулась представительная делегация. Впереди шествовал хозяин, бодро давая интервью одновременно нескольким телекомпаниям и репортерам. Их сопровождала группа, как оказалось, переводчиков, каждый из которых знал несколько слов по-русски, а все вместе призваны были обеспечить взаимопонимание между двумя еще недавно антагонистическими мировоззрениями. А замыкали процессию докеры, окруженные свитой жен, детей, родственников и знакомых. В руках у женщин были узелки с провизией такого внушительного вида, что если бы эти продукты в свое время доставили на

"Санта Марию", Колумбу и его матросам не пришлось бы питаться солониной даже на обратном пути.

Репортаж о торжественной встрече необычного судна обошел все телеканалы и первые полосы газет, и все время, пока "Авось" стояла в Дувре, отбоя от гостей не было. Простоять пришлось даже дольше, чем предполагалось, так как докеры договорились с шефом, что они берут отпуск за свой счет, а их работу сделают (и соответственно получают зарплату) эти загадочные русские. Хозяин, естественно, был не против, так как такую рекламу в масштабах Соединенного Королевства он не получал никогда.

Подобные встречи с различными вариациями ожидали "Авось" практически во всех портах захода.

— Эту рацию нам подарили голландцы, а компьютер — один испанский кабальеро, как он сам представился, потомок Христофора Колумба, — продолжает рассказывать хозяйка. — А видеодвойку мы просто нашли на свалке на Сицилии. Оказалось, что мафиози не в состоянии заменить шнур питания.

Впрочем, не все встречи были приятными. В одном итальянском порту яхта нарушила какие-то местные правила, несанкционированно зайдя чуть ли не на военную базу НАТО. Лодку арестовали, и вдруг при проверке документов выяснилось, что судно вообще не имеет права нести российский флаг. Согласно морскому праву (а может, и надуманным еще советским законам) судно должно раз в полгода зайти в свои территориальные воды. Для "Авось" искомые полгода истекли два месяца назад, и теперь, в принципе, ее не должны были пускать ни в один порт.

Почти две недели яхта находилась буквально между небом и землей, так как на море она находится не имела право. У трапа неотлучно стоял карабинер, закрывая глаза на действия местных жителей, подкармливавших экипаж (см. выше), а власти слали телеграммы по всему маршруту следования, чтобы выяснить, какая именно страна первой допустила нарушение. Выяснить это так и не удалось, и, в конце концов, было принято соломоново решение. Капитану яхты был присвоен статус "Человек моря", и "Авось" разрешили плавать где угодно и чуть ли не под каким угодно флагом.

— А еще у нас был случай на острове Лесбос, — перебивает Антон. — Один грек подрядил нас на сколачивание ящиков. Отработали день, в самую жару, на солнцепеке. Хозяин за нами заехал, отвез в рыбный ресторанчик, заказал какие-то местные блюда и сказал, что сейчас вернется. А там, оказывается, принято долго ждать заказа. Видно, пока

клиент пьет пиво, эти самые рыбные блюда не только готовят, но и еще вылавливают в море. И вот, сидим уже минут сорок, грека нет, и мы начинаем гадать, хватит ли нам денег, чтобы рассчитаться за то пиво, которое уже выпили. И тут появляется хозяин и вручает конверт. Я засовываю его в задний карман джинсов, а он показывает: "Пересчитай". "Да ладно, чего там, мы вам верим", — показываю я. "Нет, пересчитай". Начинаю считать и вижу, что, вроде, свое мы уже получили, а в конверте еще куча купюр. Смотрю вопросительно, он кивает — считай дальше. Короче, в конверте оказалось денег вдвое больше, чем договаривались. А грек смеется: "Я посмотрел, сколько вы наворотили за день, — наши за неделю столько не сделают".

— А сколько человек у вас в экипаже? — спрашиваю я.

— Когда как, — снова вклинивается в разговор Валерия. — Отец, братья, невестки. Маму приобщили, она у нас заслуженный мореход. Друзья, знакомые, но эти вырвутся на две-три недели — и назад. В прошлом году я не могла плавать — рожала, зато теперь здесь всей семьей. Пусть малыш к морю привыкает.

— А кстати, где он? — неожиданно вспомнил я. Наше общение продолжалось уже больше часа, и я вдруг сообразил, что с тех пор, как поднялся на борт, не видел дитя стихии.

— Спит в сетке под бушпритом. Это его любимое место, — ответил заботливый отец, и я вспомнил "дельфиний театр" на "Тагарине". — Да вы не волнуйтесь, если что случится, мы об этом услышим.

Как бы в подтверждение, в борт яхты что-то стукнуло, сверху послышалось шлепанье четырех ладошек по палубе, и пароходный голос возвестил: "Мии-шаа".

— Наши велосипедисты вернулись, — сказала Валерия, — вечно они перед девчонками лихачат и вовремя затормозить не могут.

В каюту с человеческим детенышем на руках спустились два парня. Через дверь было видно два видавших виды велосипеда "Старт-шоссе", прислоненных к фок-мачте. Яхта "Авось" явно поворачивалась ко мне новой гранью.

— Ну как, удалось? — спросил Антон.

— Не хочет нас брать, боится чего-то. А говорят, времена изменились.

— А может вон, корреспондент, поможет.

История велосипедистов оказалась такой же сюрреалистической, как и все, связанное с яхтой "Авось". За полтора года до нашей встречи два украинских хлопчика из Винницы решили поехать в Европу. Наскоро спра-

вив заграничные паспорта — благо дело в постсоветские времена это стало легче — и отремонтировав старенькие велосипеды, они пересекли украинско-польскую границу.

Что послужило официальным основанием пересечения, для меня так и осталось невыясненным. По одной версии, это было приглашение от якобы польских якобы родственников, по другой — купленные в какой-то занюханной турфирме путевки, причем фирма канула в лету еще до внесения полной стоимости уже выданных путевок. Третья версия была связана с неким глобальным велопробегом по местам боевого и трудового бездорожья и разгильдяйства. В подтверждение ее мне демонстрировали полуистертую заметку из газеты "Вечерняя Винница" с фотографиями то ли со старта искомого велопробега, то ли с рейкьявикской встречи Горбачева с Рейганом. Последнюю, самую секретную версию мне поведал Миша вечером, уже перед самым отходом судна. Согласно ей, все сказанное ранее чистая ерунда, а на самом деле они с Андреем (так звали его друга, и это имя я вспомнил точно, в отличие от собственно мишиного) тайно ночью пересекли украинско-болгарскую границу. В эту версию я верю меньше всего, так как, насколько мне известно, Украина если и граничила когда-нибудь с Болгарией, то это было во времена монголо-турецкого ига.

Скорее же всего все изложенные мне варианты — вымысел, цель которого дезинформация заезжего корреспондента — "иди знай, что он здесь вынюхивает" — и нежелание раскрывать свое "окно" на границе. Достоверно одно. К моменту встречи с яхтой "Авось" ребята колесили по Европе уже больше года. Я бы не мог назвать ни одной европейской страны, включая Ватикан и княжество Лихтенштейн, с которой у ребят не были связаны те или иные воспоминания.

— А как же границы? — спросил я, когда прошло первое удивление, и мои журналистские интересы переключились с морского туризма на вело.

— Что границы? Это у нас с этим проблемы, а здесь... — сам того не замечив, Андрей, говоря о Европе, использовал наречие не "там", а "здесь". — Подъезжаешь к КПП, когда паспорт предъявишь, когда так тебе махнут: проезжай, мол, не задерживай людей. А кое-где и КПП не было. Стоят себе два столба — и тишина.

— Но вам же нужно было на что-то жить. И где-то ночевать.

— Палатка у нас всегда с собой. Летом — вообще нет проблем, да и зимы в Европе теплые. А насчет питания и прочего — зарабатывали потихоньку, руки-то у нас тоже всегда с собой.

Оказалось, ребята умеют практически все: стенку оштукатурить — пожалуйста, грядку прополоть — будьте любезны. Осенью в Баварии во время сбора урожая их буквально передавали от фермера к фермеру — пригодился опыт советских колхозов. Были и другие заработки. Миша прекрасно играл на гитаре, а Андрей — в шахматы. Оказалось, что в Центральной Европе у людей очень популярна эта старинная игра, и люди готовы подтверждать свою любовь достаточно солидными ставками.

— Что мне, кандидату в мастера, стоит десяток партий выиграть и одну — в начале — проиграть, — делился впечатлениями Андрюша. — А вот Мишка в Барселоне своими переложениями русско-украинских мелодий на испанский манер вообще фуор производил.

На яхту велосипедисты попали случайно, за два месяца до нашей встречи. В одном из портов Северной Франции ребят обокрали, причем так, что кроме документов и велосипедов у них не осталось ничего. Расстроенные, они вышли на набережную и, так же как и я, углядели российский флаг, поднялись на яхту. И после получасового чаепития услышали от капитана: "Ребята, хватит вам педали крутить, давайте с нами".

— А что, может, и вы дальше — с нами, — неожиданно предложила мне Лера, — через два дня вернется папа, и мы снимаемся на Палермо. А дальше Кипр, Израиль, Египет. К осени пройдем Суэцкий канал, а там Индийский океан, тепло, тропики.

Честно говоря, более заманчивого предложения я не получал за всю свою жизнь. А что, если...

Но тут оказалось, что предложение Валерии носит не только бескорыстный характер.

— Понимаете, два дня назад Андрей звонил в Винницу и узнал, что заболела мать. Ему нужно срочно домой, денег на билеты нет, а тут ваше судно. Он сегодня ездил к капитану, просился хоть матросом, хоть поваренком, но тот — ни в какую. Так, может быть, вы пересядете на яхту, а он — на ваше место?

И тут у меня в мозгу вдруг начала выстраиваться сумасшедшая, но вполне реальная логическая цепочка. "Круиз — не в счет, это командировка. Отпуск за этот год у меня не использован, и он как раз в августе. С отделом кадров я договорюсь, с редактором тоже, он за такой материал мне все простит. Если не отпустит надолго, то через месяц-полтора мы будем в Стамбуле, а там — через день "челноки" из Одессы. А что, если..."

— Поехали к капитану, — решительно сказал я.

Капитаны бывают разные. Одни даже в самые глухие времена — стоя не боялись ради дела нарушить закостенелые параграфы советских инструкций и самостоятельно принимали решения, на согласования которых могли уйти недели. Это они прокладывали новые фарватеры, категорически не рекомендованные нашим судам, это они, чтобы уложиться в график, поднимались в тумане без лоцмана по Миссисипи и получали за это звание Ллойдовского капитана. И именно они, обвешанные кучей выговоров, тем не менее, составляли гордость советского торгового флота. А были другие, для которых параграф превыше всего. Они не открывали новых земель, не попадали в критические ситуации. Их послужной список был кристально чист. Но любили и уважали все почему-то тех, первых.

Капитан теплохода, на котором я плыл, к сожалению, относился ко второй категории. Он прославился тем, что после отмены института помполитов и крушения социалистической системы два года собственноручно составлял "тройки" для увольнения экипажа в иностранном порту. Я с ним впервые столкнулся за два года до того, во время первого КВН-круиза. Тогда, каким-то чудом узнав, что в команде Джентльменов ОГУ есть корреспондент "Моряка" (на судне и переборки имеют уши), пригласил меня к себе и, даже не угостив чашечкой кофе, два с половиной часа выяснял, какой именно криминал я ищу на его теплоходе.

Андрею явно не повезло. Будь на судне любой другой капитан, с которым мне доводилось плавать, вопрос был бы решен за 10 минут. Здесь же не помогли ни хвалебные слова из прошлых публикаций, ни обещания хвалить и впредь. Даже заверения по телефону начальника отдела кадров ЧМП, что завтра на судне будет официальный факс с согласием на нашу рокировку, не смог его поколебать: "А если мы сегодня снимемся, а вы до завтра что-то натворите, отвечать кто будет?". Эта же формулировка — "отвечать кто будет?" — и послужила официальным поводом отказа просто взять на борт парня, у которого на родине заболела мать. Только начало фразы было другим, хотя и похожим: "А если вы здесь что-то натворили, и вас разыскивает Интерпол..."

Яхта "Авось" приехала провожать меня всем экипажем. Даже маленький Глеб, прикорнув на плече у мамы, уютно посапывал в унисон нашим "досвиданиям". И именно тут, у трапа, неожиданно и выяснилось, что наша встреча имеет отношение и к "Юрию Гагарину". Валерия вдруг хлоп-

нула себя по лбу и спросила: "Вот вы из Одессы и говорили, что ходили на яхте. А не знаете ли вы такого капитана — Кириченко?".

— Данилыча? А вы его откуда знаете? Встречались где-то? — спросил я, прикидывая, что когда "Гагарин" пришел в Ленинград, остов яхты "Авось" еще покоился на дне Байкала, а в прошлом году Данилыч вообще не выходил дальше Очакова.

— Да нет, мы о нем в книге прочли, судя по всему, — наш человек, — и достала из сумки зачитанный до дыр экземпляр нашей со Славой книги "Хождения за два-три моря".



ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений и Валентина ГОЛУБОВСКИЕ

"В единственном доме" 316

"В единственном доме"

Там за ее спиной пророчащих и спорящих,
 Хохочущих в дыму, в единственном доме,
 Слетевшихся на свет полуночное сборище,
 Как больше никогда, как больше ни к кому.

Все, кто бывал на Успенской, 7, в этих строчках Юрия Михайлика из стихотворения "Памяти Ксаны Добролюбской" узнают Потерянный рай одесских шестидесятых годов...

Мы появились в этом доме, когда Константина Павловича Добролюбского уже не было на этом свете, но дух просвещения, книжности, интеллигентности — его наследство — поселился здесь навсегда. Он обитал в старинных книжных шкафах, в которых хранились редчайшие издания. Их можно было не только рассматривать с замиранием сердца, но и брать домой — не очень свойственная многим библиофилам щедрость. Этот дух обитал во всем, но, прежде всего, в самих Добролюбских.

Книжность сочеталась с иронией, добром, щедростью, какой-то, на первый взгляд, веселой безалаберностью быта.

Хранительницей этого очага после Константина Павловича оставалась Элеонора Исидоровна — "баба Нора", к которой относились с любовной иронией, вроде бы серьезно не воспринимали, со смехом выслушивали ее воспоминания о Цюрихе, о предреволюционной эмиграции, о "каком-то Ленине", с которым не хотели общаться...

Но когда Элеонора Исидоровна занимала свое неизменное место во главе большого овального стола, за которым собиралась не только семья, но и многочисленные друзья ("Спасибо, Элеонора Исидоровна, я уже обедала!" — "Ах, Валечка, вам и в третий раз не грех пообедать!"), было ясно, кто в доме старший. Не только по возрасту, но и по тайному, не признававшемуся вслух, авторитету. Особенно ясно это стало после ее ухода.

Кажется, что двери в этом доме не закрывались никогда, как всегда на столе стояла какая-нибудь снедь, для прибывавших, влетевших в дом гостей. Да, собственно говоря, мы все себя чувствовали в этом доме близкими, любимыми, всегда маленькая комнатка ("Крысиная") была в распоряжении бездомных либо засидевшихся особенно поздно друзей. Мы тоже не раз становились ночными постояльцами "Крысиной", хоть так и не поняли, откуда ее название — с существами, давшими название комнатке, слава Богу, ни разу не столкнулись.

А может, и в этом названии проявилась вечная любовь всех Добролюбских, а особенно Ксаночки, к моментальной иронической реакции, к шутливым прозвищам. В Андрюшиной комнате висело наставление, сочиненное Ксаночкой: "Пока ты играешь в кегли, сын Алексеева-Попова умнеет!". "Лучший комплимент, который мне говорят — какой у вас красивый брат!", — смеялась Ксаночка, обожавшая своего брата.

Олег Константинович был "Извергом", Мария Гавриловна — Мума (Мура и мама соединились в одном имени), кошку звали Юмà, в честь единственной доступной в Союзе французской газеты "Юманите". Леня Королик заслуженно носил имя Красавчик. Постоянно бывавшая в доме пожилая приятельница, а может, родственница, носила добродушное и уютное имя "Аптека". Маленький Олег, сын Алеши и Стеллы Ивановых (еще один родной дом нашей юности!), требовавший от всех нас многочасового чтения, получил от Ксаны ласковое имя "Чудовище". Которое он носил все свое детство. Знакомая с кем-то из новых гостей, Юра протянул руку и представился: "Михайлик". "Механик?" — переспросил гость, и долго Ксаночка звала Юру Механиком.

В Олеге Константиновиче сохранялась какая-то профессорская благодетельность, способность к детскому удивлению, даже некоторая наивность. Среди многочисленных Ксаночкиных поклонников оказался молодой парень, сантехник из ЖЭКа. На его предложение выйти за него замуж насмешница Ксана сказала: "Я-то не против, но попроси разрешения у моего отца". Парень долго готовился, наконец позвонил, дверь открыл Олег Константинович. Молодой человек долго мялся, не произнося ни слова. Олег Константинович решил, что сантехник что-то делал в доме, и с ним не расплатились. Вытащил деньги, протянул сантехнику. Тот взял деньги, повернулся и ушел. Так закончилось еще одно сватовство. А было их немало...

Мария Гавриловна была веселой, ироничной, смешливой. Она была непременной участницей всех наших розыгрышей, бегала с нами в кино и при этом оставалась тактично отсутствующей.

Волнения в доме Добролюбских. В гости должен приехать из Франции племянник Марии Гавриловны Мишель со своей семьей. Их поселили в "Красной". Небреженный советский сервис предлагал французским родственникам завтракать в "Лондонской". Удивлению французов не было предела. (Как, в пижаме?) К посещению парижан готовились основательно. Нам эта большая профессорская квартира казалась прекрасной с ее столовой, окно которой выходило в "фонарь", Ксаночкина комната, отделенная от кухни окном, которое расписал под витраж Саша

Ануфриев, кабинет... Даже Крысиная, даже привидения — жаркими летними ночами открывались дверцы книжных шкафов, и поскрипывали половицы паркета.

В доме не было ни малейшего намека на роскошь, только аристократический дух свободомыслия, душевной щедрости и терпимости. И тут приехали французы. Ирония не изменила Добролюбским. Ксана со смехом живописала явление родственников. Первую же фразу, вылетевшую из уст племянника Марии Гавриловны: "Мура! (с французским ударением на втором слоге). Неужели ты здесь живешь?!". Парижские и одесские представления о профессорской квартире были уж очень несхожими!

Но не только одесские друзья обожали этот дом. Так же к нему относились и многочисленные московские и питерские друзья.

Евгений Рейн, читавший "Рождественский романс" Иосифа Бродского и зычным голосом рассказывавший невероятные истории о Раковском, авторе исторических романов, о его беседе по телефону с товарищем Сталиным. Невероятно артистичный Рейн проигрывал свои апокрифические истории с невозмутимым лицом, а все слушатели задыхались от смеха.

Роман Каплан рассказывал о поездках в Таллинн, где в знакомых домах, естественно, все говорили по-эстонски. Как хозяин дома, чувствуя смущение, намекал, что его питерский друг не знает эстонского языка. Невозмутимые таллинцы вежливо кивали головами и тут же переходили на немецкий язык.

Пустая затея — перечислять всех, бывавших в этом доме. Столичных гостей удивляло отсутствие здесь провинциальности, многие писатели, которые стали широко или просто известны в последние годы — от Хаксли и Дос Пассоса до Жаботинского, например, были нам знакомы по парижским, довоенным рижским эмигрантским изданиям. Мы ездили на Московские кинофестивали, чтобы увидеть фильмы Феллини и Антониони, ездили посмотреть выставки и московские спектакли. В наглухо закрытой стране мы использовали любую возможность читать, смотреть, слушать...

Так прошла юность. А потом — потом не стало Ксаны. Как приступ боли — о ней стихи Юры Михайлика.

Памяти Ксаны Добролюбской

Назад, во времена, когда она, грассируя,
Кричит тебе: привет — распахивая дверь
И возникая в ней, — не то чтобы красивая —
Сияющая вся, как некому теперь.

Там за ее спиной слоистый дым нетающий,
Лабораторный спирт, разбавленный на треть,
Странноприимный дом, прибежище, пристанище,
Как некуда потом, как некуда и впредь.

Там за ее спиной пророчащих и спорящих,
Хохочущих в дыму, в единственном доме,
Слетевшихся на свет полуночное сборище,
Как больше никогда, как больше ни к кому.

Останется лишь то, что навсегда отнимется,
Не сбудется лишь то, что всем нам поделом.
Ей умирать одной — она была любимицей.
Ей замерзать во тьме — она была теплом.

Никто не знает дня, покуда счетчик щелкает,
Но если вправду есть дверь, за которой свет, —
Там девочка стоит с мальчишескою челкою
И, рассыпая "р", кричит тебе: привет.

Казалось, мы все знали об этом доме, о его обитателях. Юность Андриюши ("Гадюши", как называла его Ксаночка), теперь уже Андрея Олеговича, проходила на наших глазах. Но оказалось, что в доме была тайна, о которой не знали не только мы, но и домочадцы — наши ровесники. Эта тайна — рукопись Константина Павловича, размышления о том, что было, помогающее понять, что будет. Последний урок истории, проведенный К.П. Добролюбским.

Как хорошо, что внук Константина Павловича Андрей и его правнучка Юлия стали историками, как умно, тонко и интересно они прокомментировали рукопись, доставшуюся им в наследство. И как важно, что в год 210-летия Одессы эта рукопись становится книгой, приходит к одесситам.

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Андрей ДОБРОЛЮБСКИЙ

Из истории педагогического университета 8

Олег ГУБАРЬ

Под углом в 45 градусов 32

Александр КОЦИЕВСКИЙ

Дома моего детства 37

Андриан ОРЖЕХОВСКИЙ

"Мы, одесситы, сидим, словно в мешке..." 46

Владимир КАТКЕВИЧ

Жуков и пианино "Гольц-Гейтман" 63

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ

Папина "невеста" 68

ПРОЗА

Сергей РЯДЧЕНКО

Человек для субботы 73

Григорий РОЗЕНБЕРГ

Камера-обскура 158

Родион ФЕДЕНЕВ

Фрегат 171

Дуня ЕЛЕНСКАЯ

Два рассказа 192

ПОЭЗИЯ

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

Вдогонку книге стихов 202

Аркадий ГУРОВИЧ

Королевство любви 208

Полина ТАРАНЕНКО

Герой Нашего Времени 212

Александр МАРДАНЬ

Лишние билеты 214

Эвелина ШАЦ

Это было в Одессе 216

Елена ПАЛАШЕК-СТОРОЖУК

Бабочки на счастье 218

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Верить на слово – не пристало Богу 223

Елена ШЕЛЕСТОВА

Подводное течение жизни... 224

Феликс КОХРИХТ

Когда Дед был молодым 233

Анатолій ГЛУЩАК

На прощання з Юрієм Коваленком, художником і поетом 234

Феликс КОХРИХТ

Лирическая величина Ельца 236

Михаил ГОЛЬДШТЕЙН

Воспоминания 240

ПУБЛИКАЦИИ

Бенедикт САРНОВ

Скуки не было 252

Алена ЯВОРСКАЯ

По составу крови 261

Семен ГЕХТ

Шмаков и Пранайтис 267

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЦУРОВА

Душа старой Одессы 276

АХ, ОДЕССА

Алексей СУХОРУКОВ

Как хорошо уже было 290

Александр МАРДАНЫ

Обрывки строчек 293

Илья РУДЯК

Эр рэт аф идиш 294

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол 297

ПУТЕШЕСТВИЕ

Сергей ОСТАШКО

Под андреевским флагом с девизом "Авось" 302

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений и Валентина ГОЛУБОВСКИЕ

"В единственном доме" 316